Е. КЮРИ

Мария Кюри

Е. КЮРИ

Мария КЮРИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
| Е. Ф. КОРША |
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ПРОФЕССОРА В. В. АЛПАТОВА

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ



МОСКВА
АТОМИЗДАТ
1976

530.4
К-99
УДК 539.16(092.44)

Кюри Е.
К-99 Мария Кюри. Пер. с франц. Изд. 4-е. М., Атомиздат, 1976
328 с., 0,5 л. илл.

Ни одна женщина-ученый не пользовалась такой известностью, как Мария Кюри. Ей было присуждено десять премий и шестнадцать медалей. М. Кюри была избрана почетным членом ста шести научных учреждений, академий и научных обществ. Так, в частности, она была почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, с 1912 г. — членом Института экспериментальной медицины в Петербурге, с 1914 г. — почетным членом научного института в Москве и с 1926 г. — почетным членом Академии наук СССР.

Биография Марии Кюри написана ее младшей дочерью Евой, журналистом по профессии. Книга вышла в свет на французском языке в 1937 г. и выдержала во Франции более ста изданий. Помимо этого, она переведена на двадцать пять языков и в переводах иногда выходила в десяти—двенадцати изданиях на одном языке. Книга уже трижды издавалась на русском языке (в 1967, 1968 и 1973 гг.).

Наши читатели с большим интересом прочтут эту книгу.

530.4+53(09)

К $\frac{20401—112}{034(01)—76}$ БЗ—19—8—1976

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Мария Кюри — знаменитый физик и химик — вместе со своим мужем Пьером Кюри положила начало новой эре в истории человечества — эре изучения и использования атомной энергии.

Предлагаемая книга по праву завоевала симпатии советских читателей. Каждое ее издание расходится в недельные сроки. В букинистических магазинах книга чрезвычайно редка. Попав в личную библиотеку читателя, она крепко приживается, так как ее приятно перечитывать время от времени.

Ни одна женщина-ученый XX века не пользовалась такой популярностью на всем земном шаре, как Мария Кюри.

Мария Кюри — первая женщина дважды лауреат Нобелевской премии — высшей международной почести, которой отмечается труд ученых. Таких наград не удостаивался до наших дней ни один ученый мира. Мария Кюри была избрана почетным членом ста шести различных научных учреждений, академий и научных обществ. Так, в частности, она была почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, с 1912 года — членом Института экспериментальной медицины в Петербурге, с 1914 года — почетным членом Научного института в Москве и с 1926 года — почетным членом Академии наук СССР.

Мария и Пьер Кюри, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри... История науки всех времен и всех народов не знает примера, чтобы две супружеские пары в двух последовательных поколениях внесли столь большой вклад в науку, как семья Кюри. В 1903 году старшее поколение Кюри — Мария и Пьер — получают Нобелевскую премию за открытие явления радиоактивности, а через тридцать два года, в 1935 году, их дочь Ирен вместе со своим мужем Фредериком Жолио-Кюри также получают Нобелевскую премию по физике за исследования в той же области.

Нередко можно слышать вопрос о том, кто был гениальнее: Пьер или Мария? Кому принадлежит бо́льшая роль в сделанном открытии? Читатель книги сам сможет убедиться в праздности этого вопроса. Истинная наука — это дело коллективного труда людей, и определить долю отдельных ученых в итогах научных исследований — задача чрезвычайно трудная и подчас ненужная.

Хотелось бы отметить следующее. Мария Кюри пережила своего мужа на двадцать восемь лет, и за это время в значительной степени ее трудами учение о радиоактивности выросло в новую отрасль физики и химии. Благодаря ее организаторской деятельности, радиоактивность нашла широкое применение в медицине, в первую очередь в лечении рака.

Чрезвычайный интерес и уважение к двум поколениям Кюри-ученых объясняется еще и их высокими моральными качествами. Пьер и Мария могут считаться примером того бескорыстного служения науке, той беззаветной преданности своему призванию, о котором писал наш великий физиолог академик И. П. Павлов в письме к советской молодежи. Эта преданность науке привела к тому, что жизнь обоих поколений Кюри была в прямом смысле принесена ей в жертву. Мария Кюри, ее дочь Ирен и зять Фредерик Жолио-Кюри умерли от лучевой болезни, возникшей в результате многолетней работы с радиоактивными веществами.

Вот что пишет М. П. Шаскольская (1966 г.) в биографии Фредерика Жолио-Кюри (Серия «Жизнь замечательных людей»): «В те далекие годы, на заре атомного века, первооткрыватели радия не знали о действии излучения. Радиоактивная пыль носилась в их лаборатории. Сами экспериментаторы спокойно брали руками препараты, держали их в кармане, не ведая о смертельной опасности» (с. 266), и далее: «К счетчику Гейгера поднесен листок из блокнота Пьера Кюри (через 55 лет после того, как в блокноте вели записи. — *В. В. А*), и ровный гул сменяется шумом, чуть не грохотом. Листок излучает радиоактивность, листок как бы дышит ею, излучение действует

на счетчик, показания счетчика переходят в звук... Фредерику пришло в голову: но если столь сильна радиоактивность листка, то он должен действовать на фотопластинку так, как действовала когда-то урановая руда у Беккереля... В полной темноте Фредерик положил листок на несколько минут на фотопластинку, а затем проявил ее... Пластинка почти вся почернела... Радиоактивные следы, невидимые глазом, подействовали на пластинку. Но что это? Среди черных пятен ясно проявился отчетливый след — след пальца, державшего листок пятьдесят пять лет тому назад, пальца, столь часто касавшегося радиоактивного препарата, что даже через полстолетия обнаружился его снимок. Чей это палец? Пьера или Марии?.. В глубоком волнении Фредерик вспоминает изъязвленные, всегда прикрытые пальцы Марии Кюри».

В конце прошлого века большой популярностью пользовалась книга французского историка науки Г. Тиссандье «Мученики науки», русский перевод 1880 года. С полным правом к современным мученикам науки можно отнести Марию Кюри, ее дочь Ирен и зятя Фредерика.

Говоря о духовном облике Марии Кюри, мы не можем вполне удовлетвориться ее служением науке и практике в отрыве от социальных проблем.

Вырвавшись из мрачных условий существования поляков под властью царской России, Мария Кюри продолжала считать, что только одно национальное освобождение принесет счастье народу. Она не смогла понять, что помимо национального гнета и порабощения одних народов другими на земле существует еще и гнет капиталистической системы, тормозящей свободное развитие человеческой личности.

Но это понял ее зять — Фредерик Жолио-Кюри. Всей своей жизнью он внес коррективу в узкое понимание роли служителя науки. Он совместил в своем лице выдающегося ученого и прогрессивного деятеля, он понимал, что будущее человечества зависит не только от прогресса науки, но и от ликвидации эксплуатации человека человеком.

Предлагаемая читателям книга написана младшей дочерью Марии Кюри — Евой, писателем, журналистом по профессии. Книга впервые вышла в свет на французском языке в 1937 году и выдержала во Франции свыше ста изданий. Помимо этого, она переведена на двадцать пять языков и в переводах иногда выходила в десяти — двенадцати изданиях.

В 1959 году издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» был выпущен сокращенный перевод этой книги.

В мировой литературе мало жизнеописаний, которые так захватывали бы читателя, как биография Марии Кюри. Образ незабвенной Марии Кюри, истинной героини в борьбе за науку, ученой, преодолевшей огромные трудности и жизненные тяготы, послужит прекрасным примером и для нашей советской молодежи.

Профессор
доктор биологических наук
В. В. Алпатов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МАНЯ

Сегодня воскресенье, в гимназии на Новолипской улице царит тишина Под каменным фронтоном высечена надпись на русском языке: «Мужская гимназия». Парадный вход закрыт, и вестибюль с его колоннами походит на забытый храм. Жизнь ушла из светлых залов, опустели ряды черных парт, изрезанных перочинными ножами. Извне доносится лишь благовест к вечерне в соседней церкви да временами тарахтенье проехавшей по улице телеги. За чугунной оградой переднего двора растут четыре кустика сирени, чахлых, запыленных, но теперь они в цвету, и праздный прохожий удивленно оборачивается в сторону двора, откуда так неожиданно пахнуло сладким ароматом. Только конец мая, а уже душно. В Варшаве солнце так же деспотично, как и мороз.

Но что-то нарушает воскресное затишье. В правом крыле гимназии — там, где живет учитель физики и субинспектор Владислав Склодовский, — слышны глухие перекаты какой-то таинственной возни. Что-то похожее на удары молотком, но беспорядочные, неритмичные. За стуком следует треск разрушаемой неведомой постройки, приветствуемый детским визгом. Потом опять звуки ударов... И тут же короткие приказы на польском языке:

— Эля! Нет снарядов!

— В башню. Юзеф... Целься в башню!

— Маня, отойди!

— Да я принесла кубики.

— Ого-го-го!

Опять шум разрушения и грохот деревянных кубиков по натертому паркету... Башни — нет. Возгласы усиливаются, опять летят снаряды, во что-то попадают...

Поле битвы — большая квадратная комната с окнами на внутренний двор гимназии. В четырех углах стоят детские кроватки. Четверо детей от пяти до девяти лет играют в войну и оглушительно визжат. Дядя, любитель виста и пасьянсов, подарил на рождество младшим Склодовским игрушку—«Юный строитель». Он, конечно, не предвидел, какое употребление найдет его подарок. Обнаружив в большом фанерном ящике рисунки — образцы для построек, Юзеф, Броня, Эля, Маня несколько дней послушно сооружали по ним мосты, церкви, замки; но очень скоро все эти строительные блоки, балки нашли себе другое применение: дубовые колонны превратились в пушки, кубики — в снаряды, а сами архитекторы стали полководцами.

Юзеф на животе ползет вперед и методично продвигает свои пушки по направлению к врагу. Даже в пылу борьбы его лицо сохраняет серьезное выражение, подобающее военачальнику. Он самый старший и самый знающий из детей, к тому же единственный мужчина. Вокруг него лишь девочки, одинаково одетые в праздничные платья с плоеными воротничками и темные фартуки.

Надо отдать им справедливость: все девочки — отличные бойцы. Глаза союзницы Юзефа Эли пылают. Эля злится на свои шесть с половиной лет: ей бы хотелось бросать кубики подальше, посильнее; отсюда зависть к восьмилетней Броне, пухленькой, цветущей блондинке с густыми волосами, которые все время разлетаются, когда Броня усиленно жестикулирует и мечется, защищая свои войска, расставленные на полу между двумя окнами.

Малюсенький адъютант в фартучке с оборками возится на стороне Брони, подбирает кубики, скачет галопом между батальонами; он весь увлечен делом, щечки его горят, губы высохли от неистового крика, от радостного смеха.

— Маня!

Застигнутый врасплох ребенок останавливается набегу, выпускает из рук фартучек, и запас кубиков сыплется оттуда на пол.

— Что здесь происходит?

Это вошла в комнату самая старшая из молодых Склодовских — Зося. Хотя ей нет еще двенадцати лет, но среди про-

чих малышей она может считаться уже взрослой. У нее мечтательные серые глаза, пепельные волосы зачесаны назад и свободно спадают на плечи.

— Мама говорит, что ты играешь слишком долго.

— Но я нужна Броне... Я подношу ей кубики!

— Мама сказала, чтобы ты шла к ней.

Минуту Маня стоит в нерешительности, потом берет сестру за руку и с достоинством выходит. Четырех лет отроду трудно воевать, поэтому ребенок, выбившись из сил, не так уж неохотно покидает поле битвы. Нежный голос в соседней комнате зовет ее к себе, перебирая ласкательные имена:

— Маня... Манюша... моя Анчупечо...

Ни у кого не было столько уменьшительных имен, как у Марии, самой младшей, общей любимицы в семье. Обычное уменьшительное для нее — «Маня», особо нежное — «Манюша», а «Анчупечо» — шутливое прозвище, данное ей еще в колыбели.

— Моя Анчупечо, какая ты взъерошенная, как ты раскраснелась.

Две тонкие, очень бледные, очень худые руки завязывают растрепанные ленты фартучка, приглаживают короткие вьющиеся волосы, открывая упрямое личико. Постепенно ребенок отходит, успокаивается.

* * *

Маня питает к матери безграничную любовь. Ей кажется, что нет на свете существа красивее, добрее и умнее, чем ее мать.

Госпожа Склодовская происходила из шляхетской семьи, где была старшей дочерью. Отец ее, Феликс Богуский, принадлежал к многочисленному в Польше мелкопоместному дворянству. Собственное имение было слишком бедно, чтобы жить на его доходы, поэтому Богуский волей-неволей служил управляющим имениями у более богатых. Его женитьба носила романтический характер: влюбившись в девушку небогатую, но более знатного происхождения, он ее похитил и, несмотря на сопротивление родителей красавицы, женился на ней тайно. Прошли годы... Соблазнитель стал робким, хилым стариком, а его возлюбленная — сварливой бабкой.

Из шести детей этой семьи будущая Склодовская была самой уравновешенной и самой развитой. Ни одно свойственное славянкам «своеобразие» не портило ее. В ней не было ни взбалмошности, ни возбужденности, ничего «слишком». Она получила прекрасное образование в варшавской школе на Фрет-

ской улице и, решив посвятить себя преподаванию, стала учительницей в той же школе, а затем и директрисой. В 1860 году учитель Владислав Склодовский сделал ей предложение и приобрел в ее лице отличную жену. У нее нет денег, но есть свое собственное обеспеченное положение, а главное — она хорошего рода, благочестива, деятельна, к тому же музыкантша: играет на рояле и прелестным томным голосом поет современные романсы. В довершение всего она красавица. Фотографический портрет времени ее бракосочетания передает нам красивое лицо, тяжелую прическу из заплетенных кос, чудесно очерченные брови, спокойный взгляд и таинственные серые глаза продолговатого разреза, как у египтянок.

Это, как говорится, хорошая пара. Склодовские тоже принадлежат к мелкой знати, разоренной политическими злосчастьями Польши. Колыбель рода — Склоды — представляет скопище ферм в сотне километров к северу от Варшавы. Несколько семейств, происходящих из поместья Склоды и родственных между собой, носят фамилию Склодовских. По распространенному обычаю крупный феодал — владелец известной местности — давал право своим вассалам на его родовой герб.

Единственным занятием этих семейств было земледелие. Но в эпоху смут имения обеднели и распылились. Если в XVIII веке предок Владислава Склодовского владел сотнями гектаров и мог жить с удобствами, а его прямые потомки — еще в довольстве, то это уже стало невозможным Юзефу Склодовскому, отцу учителя. Юзеф решил улучшить свое незавидное положение и поддержать честь фамилии, которой гордился. Он пошел по учебной части. После драматических перипетий в связи с польским восстанием и войной мы застаем его в Люблине — на посту директора мужской гимназии. Он стал первым интеллигентом в этой ветви Склодовских.

И семья Богуских, и семья Склодовских имели многочисленное потомство: в первой — семь, во второй — шесть детей. Из них вышли школьные учителя, один поверенный, одна монахиня. Но были фигуры и эксцентричные. Один из братьев госпожи Склодовской — Хенрик Богуский — так и остался неисправимым дилетантом в жизни, воображая себя созданным для гениальных и опасных приключений, а беспечный Здзислав Склодовский — брат учителя гимназии, любитель хорошо пожить и отчаянная голова, менял одну роль на другую: был и студентом в Петербурге, и повстанцем во время Польского восстания, и провансальским поэтом во время своего изгнания и, наконец, по возвращении в отечество устроился нотариусом в провинции, все время пребывая на грани разорения и богатства.

В обеих семейных линиях живут бок о бок натуры романтические и характеры ровные, спокойные; люди благоразумные и странствующие рыцари.

Родители Марии Кюри относились к числу благоразумных. Отец по примеру своего родителя получил высшее образование в Петербургском университете, затем вернулся в Варшаву и стал преподавать математику и физику. Мать хорошо ведет женский пансион, где учатся девочки из лучших городских семейств. Уже восемь лет живет чета Склодовских во втором этаже дома на Фретской улице. По утрам, когда учитель переступает порог своей квартиры с окнами во двор, где легкие балкончики идут гирляндой от окна к окну, передние комнаты уже гудят от болтовни юных созданий, ожидающих первого урока.

Но в 1868 году Владислав Склодовский получает место преподавателя и субинспектора мужской гимназии на Новолипской улице. Его супруга уже не может одновременно и жить в казенной квартире, полагавшейся мужу по новой его должности, и вести пансион, и в то же время воспитывать пятерых собственных детей. Не без грусти передала Склодовская пансион в другие руки и распростилась с Фретской улицей, где за несколько месяцев до этого события, 7 ноября 1867 года, родилась Мария Кюри — малютка Маня.

* * *

— Ты спишь, Анчупечо?

Приткнувшись на скамеечке у материнских ног, Маня отрицательно качает головой:

— Нет, мама... я ничего.

Склодовская еще раз проводит тонкими пальцами по лбу своей дочурки. Девочка не знала большей материнской ласки, чем это касание родной руки. Насколько помнит себя Маня, мать никогда ее не целовала. Для нее высшее блаженство — те минуты, когда можно притулиться к этой задумчивой женщине и по чуть заметным признакам — одному слову, улыбке, любящему взгляду — чувствовать себя под покровом огромной материнской нежности и бдительной заботы о ее судьбе.

Девочке непонятна жестокая необходимость той сдержанности и самоизоляции, на какую обрекает себя мать. Госпожа Склодовская тяжело больна. Первые признаки чахотки обнаружились при рождении Манюши, и вот уже целый год болезнь явно прогрессирует, несмотря на лечение. Всегда бодрая, тщательно одетая, эта мужественная христианка продолжает вести жизнь заботливой хозяйки и производит обманчивое впечатление вполне здоровой Но она строго придерживается

двух правил: иметь для своих нужд отдельную посуду и никогда не целовать своих детей. Маленьким Склодовским ужасная болезнь матери дает знать о себе очень немногим: отрывистыми звуками сухого кашля из другой комнаты, горестной тенью на лице самого Склодовского и коротенькой фразой, добавленной к их молитве перед сном: «Господи, верни здоровье нашей маме».

Еще молодая женщина встает с места и тихо отстраняет от себя прильнувшую к ней дочь.

— Оставь меня одну, Манюша... У меня есть дело.

— А можно остаться у тебя? Мне... мне можно почитать?

— Лучше бы ты пошла в сад. Такая хорошая погода!

Всякий раз, как Маня касается вопроса самостоятельного чтения, чувство какой-то особой робости заливает краской ее лицо.

Прошлым летом Броня, живя в деревне, нашла, что очень скучно учить азбуку в одиночку, тогда она решила «играть в учительницу» с Маней. Несколько недель обе девочки занимались тем, что раскладывали в неком порядке, часто произвольном, буквы алфавита, вырезанные из картона. И вот, когда однажды утром Броня, запинаясь, стала читать родителям по складам какой-то простой текст, Маня не выдержала, взяла книгу у нее из рук и почти бегло прочла первую строчку открытой страницы. Польщенная внимательным молчанием слушателей, она продолжала эту увлекавшую ее игру. Но вдруг остановилась в испуге. Взгляд на изумленные лица родителей, взгляд на обидчивую гримасу Брони... сразу какие-то бессвязные, невнятные слова, затем безудержное рыдание... и чудо-ребенок превратился в четырехлетнюю малютку, которая заливалась горючими слезами, лепеча жалобно и виновато:

— Простите... Простите... Я не нарочно... Я не виновата.... Броня тоже не виновата! Просто это очень легко!

Маня пришла в отчаяние от мысли, а вдруг ее никогда не простят за то, что она выучилась читать без спросу?

После этого знаменательного чтения девочка хорошо усвоила и большие, и маленькие буквы, а если не сделала новых замечательных успехов, то лишь потому, что родители, как опытные и осторожные педагоги, старались не давать ей книг. Они боялись этой скороспелости в их дочери, и стоит Мане протянуть руку к одному из альбомов с крупной печатью, лежавших повсюду в доме, как родительский голос говорит ей: «Ты бы поиграла в кубики... А где твоя кукла?.. Спой мне такую-то песенку». Или, как сегодня. «Лучше бы ты пошла в сад...»

Маня взглядывает на дверь, ведущую в соседнюю комнату. Грохот рассыпающихся по паркету кубиков и крики, только

слегка приглушенные стенкой между комнатами, убеждают Маню, что там она едва ли найдет себе товарища для прогулки по саду. Не больше надежды и со стороны кухни, откуда долетают звуки непрерывной болтовни и шумной работы у плиты, свидетельствующие о приготовлении ужина.

— Я пойду за Зосей.

— Как хочешь.

— Зося... Зося-а!

Сестры рука об руку пересекают луговину, где они каждый день играют «в салки» или «в жмурки», идут вдоль здания гимназии и, растворив деревянную, источенную червем калитку, проникают в сад. От лужаек с хилой травой, стиснутых каменными стенами, все же попахивает землей, деревней...

— Зося, а скоро мы поедем в Зволу?

— Нет, не скоро. Не раньше июля. А ты разве помнишь Зволу?

Благодаря поразительной памяти Маня помнит все: ручей, где прошлым летом она и сестры барахтались целыми часами; «мыло», которое они делали из грязи, пачкая свои юбочки и фартучки, а потом куски этого «мыла» раскладывали для сушки на доске, известной только им одним... Старую липу, куда взбирались иногда сразу шесть-семь заговорщиков, включая кузенов и друзей, а Маню с ее еще слабыми ручонками и коротенькими ножками втаскивали общими усилиями. Самые толстые сучья устилали холодными ломкими листьями капусты, а в таких же капустных листьях, запрятанных в дуплах, хранились запасы вишен, крыжовника и нежной сырой морковки.

А хутор Марки с его жарким амбаром, где Юзеф учил таблицу умножения, а Маню зарывали в сыпучее жито! А папаша Шиповский, который так весело щелкал кнутом, сидя на козлах брички! А лошади дяди Ксаверия!

Эти дети города имели возможность упоительно проводить летние каникулы. Из их разросшегося рода только одна ветвь стала городской, и почти в каждой губернии можно было найти каких-нибудь Склодовских или Богуских, которые обрабатывают кусок земли. Хотя их усадьбы не роскошны, но там всегда найдутся комнаты, чтобы приютить на лето учителя гимназии с семейством. Несмотря на скромные условия жизни, Маня еще не знает малозавидного пребывания на «дачах», в которых поселяются жители Варшавы. Летом эта дочь интеллигентов становится или, вернее говоря, вновь превращается силой врожденных, глубоко заложенных склонностей в простую деревенскую девчонку.

— Ну, побежим... Давай на спор — я раньше добегу до конца сада! — весело кричит Зося.

— Мне не хочется бегать. Лучше расскажи мне что-нибудь...

Никто в этой семье, даже сам учитель и его жена не умеет рассказывать так, как Зося. Ее богатое воображение придает житейским происшествиям волшебные, сказочные черты. Кроме того, Зося умеет сочинять маленькие комедии и с увлечением сама же представляет их, восхищая сестер и брата. Этим талантом она подчиняет себе Маню, и, несмотря на то что четырехлетней малютке порой бывает трудно улавливать само развитие сюжета, Маня то заливается неудержимым хохотом, то вся дрожит от фантастических перипетий в рассказе Зоси.

Наконец девочки возвращаются домой. По мере приближения к гимназии Зося идет все медленнее и понижает голос. Создаваемый и тут же передаваемый рассказ далеко еще не кончен, однако Зося внезапно прерывает свое повествование. Поравнявшись с правым крылом гимназического здания, где надо проходить мимо окон, затянутых одинаковыми занавесками из жесткого гипюра, дети сразу замолкают.

Там, за занавешенными окнами, обитает существо, ненавистное и страшное семье Склодовских: директор гимназии господин Иванов, представитель царского правительства в этом учебном заведении.

* * *

Жестокая судьба для поляка — быть в 1872 году «русским» подданным и в то же время принадлежать к польской интеллигенции с ее терзаниями, среди которой зреет возмущение, а гнет навязанного рабства чувствуется еще острее, чем в других сословиях.

Как раз сто лет тому назад жадные и грозные соседи ослабшей Польши решили погубить ее. Пруссия, Россия, Австрия расчленили страдальческую Польшу и в три приема поделили между собой свою добычу. Поляки восстали против угнетателей, но все напрасно: оковы, делавшие их узниками, стали еще теснее. После героического восстания 1831 года царь Николай I предписал для «русской» Польши суровые меры наказания. Патриотов сажали в тюрьмы, толпами отправляли в ссылку, а их имущество конфисковывали.

В 1863 году новое восстание, и снова катастрофа. Против царских винтовок повстанцы шли с косами, дубинками и пиками. Полтора года отчаянных боев... И вот на баррикадах Варшавы стоят пять виселиц с телами повешенных вождей восставшей Польши.

Со времени этой драмы пускаются в ход все средства, чтобы подчинить Польшу, которая не хочет умирать. В то время как мятежники, закованные в кандалы, бредут в снежную Сибирь, целая волна руссификаторов — служащих полиции, чиновников, учителей — вливается в страну. Их задача: следить за поведением поляков, преследовать их религию, запрещать крамольные книги и газеты и постепенно отучать от родного языка. Короче говоря, убивать душу целого народа.

В каждом учебном заведении Польши гнездится глубокий антагонизм, который под наигранной любезностью противопоставляет побежденных победителям. Господин Иванов на Новолипской улице в особенности ненавистен. Он безжалостен к польским учителям, обязанным преподавать на русском языке. В своем служебном рвении директор Иванов, хотя и был большим невеждой, лично просматривал сочинения гимназистов, выискивая «полонизмы», которые проскальзывали иногда у мальчиков из младших классов.

Его отношение к Склодовскому заметно охладело с того дня, когда субинспектор, защищая одного из учеников, спокойно заявил: «Господин Иванов, если ребенок и допустил ошибку, то, разумеется, по недосмотру. Ведь вам и самому случается, притом довольно часто, делать ошибки в русском языке. Я убежден, что вы, так же как этот ребенок, делаете их не нарочно...»

* * *

Когда Зося с Маней пришли домой из сада и пробирались в отцовский кабинет, госпожа Склодовская шила ботинки. Никакой труд она не считала зазорным для себя. С тех пор как материнские заботы и болезнь принудили ее сидеть дома, она выучилась сапожному ремеслу, и благодаря этому ботинки, которые так быстро снашивают дети, обходятся Склодовским не дороже стоимости кожи. Жизнь дается нелегко...

— Эта пара — для тебя, Манюша. Увидишь, какие они выйдут миленькие!

Маня смотрит, как материнские руки вырезают подошву и продергивают дратву. Отец сидит в любимом кресле рядом с матерью. Хорошо бы забраться к нему на колени, развязать галстук, тщательно затянутый ровным бантом, покрутить каштановую бородку, завершающую слегка обрюзгшее лицо, на котором играет такая добрая улыбка... Но нет! Уж очень скучный разговор у взрослых! «Иванов.... полиция... царь.... ссыл-

ка... заговор... Сибирь...» Ежедневно со времени своего появления на свет Маня слышит эти слова. Инстинктивно она сторонится и отдаляет необходимость осознать их.

Ребенок весь уходит в детские мечты и сразу отвлекается от своих родителей, от их дружеской беседы, в которую вторгаются по временам или скрипучий звук ножниц, режущих кожу, или удары молотка, вгоняющего гвоздь. Подняв носик, она ходит туда-сюда по комнате, иногда останавливается, чтобы взглянуть на предметы, особенно ей милые.

Рабочий кабинет отца — самая красивая комната в квартире Склодовских, во всяком случае самая интересная для Мани. Большой французский секретер красного дерева и кресла эпохи Реставрации, крытые неизносимым красным бархатом, внушают ей почтение. Все эти вещи такие чистенькие, так блестят! Когда Манюша подрастет и пойдет в школу, ей отведут место за большим отцовским письменным столом, вокруг которого все дети усаживаются после обеда и готовят уроки к завтрашнему дню. В глубине кабинета на стене висит величественный портрет какого-то епископа в массивной золоченой раме, приписываемый, впрочем только Склодовским, кисти Тициана, но Маню он не очень привлекает. Гораздо больше занимают ее часы на бюро — блестящие, пузатые, отделанные ярко-зеленым малахитом, а также столик, привезенный из Палермо в прошлом году ее двоюродным братом: верхняя плоскость столика служит шахматной доской, причем клетки сделаны из разноцветного мрамора с прожилками. На этажерке стоит саксонская чашка с изображением добродушной физиономии Людовика XVIII. Мане тысячу раз твердили, чтобы она даже не прикасалась к этой чашке, поэтому она старательно обходит этажерку и останавливается перед самыми дорогими ей вещами.

Это, во-первых, стенной барометр с позолоченными стрелками на белом циферблате. По определенным дням отец прилежно его чистит и выверяет в присутствии заинтересованных детей.

Во-вторых, витрина, где на полках лежат какие-то удивительные изящные инструменты. Тут и стеклянные трубки, и весы, и образцы минералов, и даже электроскоп с золотым листком. В былое время учитель Склодовский носил эти предметы на свои занятия. Но с той поры, когда правительство распорядилось сократить количество уроков, отведенных на точные науки, витрина заперта.

Маня не может представить, для чего нужны все эти так волнующие ее игрушки. Однажды днем, когда она разглядывала их, став на цыпочки, отец сказал ей, что это фи-зи-че-с-ки-е при-бо-ры. Смешное название!

Она запомнила его, так как никогда ничего не забывала, и, бывая в хорошем настроении, повторяла нараспев это потешное название.

ВРЕМЕНА МРАКА

— Мария Склодовская!

— Здесь.

— Расскажи о Станиславе Августе.

— Станислав Август Понятовский был избран польским королем в 1764 году. Это был умный, очень образованный человек, друг артистов и писателей. Он видел недостатки, которые ослабляли королевство, и старался их исправить. К сожалению, он был человеком, лишенным мужества...

Вызванная ученица, мало заметная среди своих подруг, стоит за партой около высокого окна, выходящего на заснеженную лужайку Саксонского сада, и отвечает уверенным, приятным голоском. Форменное платье из темно-синей саржи со стальными пуговицами и накрахмаленным воротником портит своей мешковатостью легкий силуэт десятилетней девочки. Куда девались всегда растрепанные кудри милой Анчупечо? Туго заплетенная коса с узкой ленточкой оттягивает волосы к затылку, за маленькие ушки изящной формы. Такая же коса, но толще и темнее, сменила завивающиеся штопором локоны и у сестры Мани — Эли, сидящей за соседней партой. Самый простой наряд и строгая прическа — такое правило частной школы мадемуазель Сикорской.

Ничего легкомысленного нет и в наряде учительницы, сидящей за кафедрой. Ее черный шелковый корсаж на китовом усе никогда не был в моде, да и сама учительница, мадемуазель Антонина Тупальская, не могла бы претендовать на красоту при своем тяжелом, грубом, не красивом, хотя и симпатичном лице.

Мадемуазель Тупальская, прозванная «Тупчей», преподает историю и арифметику. Она же классная дама; в этой должности ей иногда приходится быть строгой, чтобы преодолеть дух независимости и упрямство младшей Склодовской...

Тем не менее, когда она смотрит на Маню, в ее взгляде чувствуется много теплоты. Да и как не гордиться блестящей ученицей, которая на два года моложе своих одноклассниц, но всегда первая по арифметике, истории, литературе, по немецкому и французскому, по катехизису!

В классе тишина, даже больше чем тишина. Уроки истории создают атмосферу страстного горения. В глазах двадцати юных патриоток, на лице Тупчи светится восторженность. Рас-

сказывая о давно умершем государе, Маня с особенной запальчивостью утверждает:

«К сожалению, он был человеком, лишенным мужества...» И эта невзрачная наставница, и эти умненькие дети, которым она преподает польскую историю на родном языке, приобретают таинственный вид сообщников и заговорщиков.

Вдруг все вздрагивают, действительно, как заговорщики: на лестничной площадке тихо застрекотал электрический звонок.

Два звонка длинных, два коротких.

Этот сигнал мгновенно приводит все в бурное, но молчаливое движение. Вскочив с места, Тупча наспех собирает разбросанные книги. Быстрые руки учениц сгребают польские тетради и учебники, запихивают их в фартуки самых проворных школьниц, а те, нагруженные запретным грузом, исчезают за дверью, которая ведет в спальню пансионерок. Бесшумно передвигаются стулья, осторожно закрываются крышки парт. Дверь широко открывается. На пороге классной комнаты появляется затянутый в красивую форму — синий с блестящими пуговицами сюртук и желтые штаны — господин Хорнберг, инспектор частных пансионов Варшавы: тучный человек, острижен по-немецки, лицо пухлое, с пронзительным взглядом сквозь очки в золотой оправе. Он молча всматривается в учениц. Рядом с ним стоит, с виду безучастная, директриса пансиона мадемуазель Сикорская и тоже смотрит... но с какой затаенной тревогой! Сегодня оказалось так мало времени для подготовки. Швейцар едва успел дать условный звонок, как Хорнберг поднялся на площадку и вошел в класс. Боже мой, все ли в порядке?

Все в порядке. Двадцать девочек с наперстками на пальцах склонились над работой и вышивают букетики по квадратикам канвы. На партах только ножницы и катушки ниток. Тупча с красным от волнения лицом подчеркнуто кладет на кафедру книгу, напечатанную русским шрифтом.

— Два раза в неделю по одному часу дети учатся рукоделию, — деловито поясняет директриса.

Хорнберг подходит к учительнице.

— Вы им читали вслух. Какую книгу, мадемуазель?

— Басни Крылова. Мы начали только сегодня, — совершенно спокойно отвечает Тупча. Ее щеки начинают приобретать нормальную окраску. Хорнберг небрежным жестом поднимает крышку ближайшей парты. Ни одной книги. Ни одной тетради.

Старательно закрепив стежки и воткнув иглу в материю, дети прерывают свое занятие. Они сидят, скрестив руки, неподвижно, совершенно одинаковые в своих темных платьицах с белыми воротничками. Все двадцать детских лиц как-то сразу постарели и замкнулись, скрывая страх, ненависть и хитрость.

Господин Хорнберг сел на стул, подвинутый ему Тупальской.

— Будьте любезны вызвать какую-нибудь из ваших юных учениц.

Сидящая в третьем ряду Мария Склодовская инстинктивно поворачивается напряженным личиком к окну. Про себя она возносит к небу тайную мольбу: «Господи, сделай так, чтобы не меня! Только не меня!.. Только не меня!..»

Но она знает, что вызовут ее. Ее вызывают почти всегда, так как она самая знающая и хорошо говорит по-русски.

Услышав свою фамилию, девочка встает. Ее бросает в жар и в холод. Ужасное смущение сжимает ей гортань.

— Молитву, — произносит Хорнберг с выражением безразличия и скуки.

Равнодушным голосом Маня читает «Отче наш». Одним из самых унизительных мероприятий царского правительства являлось требование, чтобы польские дети каждый день читали свои католические молитвы, но обязательно на русском языке.

Под видом уважения к религиозным верованиям поляков царь этой мерой заставлял их же самих оскорблять то, что было для них священно.

Опять наступает тишина.

— Какие цари царствовали на нашей святой Руси со времен Екатерины Второй?

— Екатерина Вторая, Павел Первый, Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй....

Инспектор доволен. У девочки хорошая память. А какое отличное произношение, точно она родилась в Петербурге.

— Перечисли состав и титулы императорской фамилии.

— Ее величество императрица, Его высочество цесаревич Александр, Его высочество великий князь...

По окончании длинного перечисления Хорнберг улыбнулся. Очень хорошо, даже отлично! Этот человек не видит или не хочет видеть, как встревожена ученица, как напряглось ее лицо от усилия скрыть чувство возмущения.

— Какой титул принадлежит царю в ряду почетных званий?

— «Величество».

— А мой?

— «Высокородие».

Инспектор с удовольствием разбирается в этих иерархических оттенках, видимо, полагая их более важными, чем арифметика или грамматика. Наконец, уже просто для забавы, он спрашивает:

— А кто нами управляет?

Чтобы скрыть вспыхнувшие негодованием глаза, директриса и надзирательница старательно просматривают списки учениц. Не получив немедленного ответа, раздраженный инспектор повторяет свой вопрос:

— Кто нами управляет?

— Его величество Александр Второй, царь всея Руси, — с усилием отчеканивает Маня, вся побледнев.

Инспекторский смотр окончен. Царский чиновник встает со стула и, благосклонно кивнув головой, направляется в соседний класс. За ним следует директриса.

Тупча поднимает голову и говорит:

— Душенька моя, поди ко мне...

Маня подходит к учительнице; Тупча, не говоря ни слова, целует ее в лоб. Весь класс сразу оживляется, а польская девочка, измученная нервным напряжением, не выдерживает и заливается слезами.

* * *

— Был инспектор! Был инспектор! — возбужденно сообщают школьницы своим матерям и няням, ожидающим их у выхода. Закутанные, сразу потолстевшие от тяжелых шуб, девочки в сопровождении взрослых расходятся группами по тротуару, запорошенному первым снегом. Разговор ведется вполголоса: каждый бесцельно гуляющий прохожий, каждый глазеющий на витрину магазина может оказаться осведомителем полиции.

Эля оживленно рассказывает тетке Михайловской — тете Люце, пришедшей за племянницами, о том, что произошло сегодня в пансионе:

— Хорнберг спрашивал Маню... Она отвечала очень хорошо... Потом она расплакалась... Кажется, инспектор не сделал замечаний ни в одном классе...

Говорливая Эля болтает то шепотом, то громко. Маня молча шагает рядом с тетей. Прошло несколько часов со времени ее допроса, но девочка все еще взволнованна. Ей ненавистны эти внезапные панические страхи, эти унизительные вызовы, когда приходится все время только лгать и лгать...

После сегодняшнего посещения инспектора Маня как-то особенно тяжело чувствует всю грустную сторону своего существования. Не вспоминается ли ей былое время, когда она была ребенком без горя, без тревог? Несчастья, одно за другим, обрушились на семью Склодовских, и последние четыре года казались Мане каким-то тяжелым сном.

За эти годы ее мать побывала вместе с Зосей в Ницце. Тогда Мане сказали, что «мама после лечения вернется совсем

здоровой». Спустя год ребенок вновь увидел свою мать, но едва мог узнать ее в постаревшей, обреченной женщине...

День возвращения после летних каникул 1873 года оказался драматичным. Приехав со всем семейством на Новолипскую улицу к началу гимназических занятий, Склодовский нашел у себя на письменном столе казенный пакет: по распоряжению властей он лишился места субинспектора, а тем самым казенной квартиры и дополнительного жалованья. Это опала. Директор гимназии Иванов жестоко отомстил недостаточно раболепному чиновнику.

После нескольких переездов с квартиры на квартиру Склодовские обосновались в доме на перекрестке Новолипской и Кармелитской улиц в угловой квартире. Семья все больше и больше испытывала материальный недостаток. Преподаватель берет к себе двух-трех пансионеров, затем пять, восемь, наконец — десять. Всем этим мальчикам, набранным среди своих учеников, он дает квартиру, питание и частные уроки. В квартире стало шумно; пришел конец семейному уюту.

К сожалению, необходимость такой меры вызывалась не только потерей места субинспектора, не только денежными затруднениями, связанными с пребыванием его жены на солнечной Ривьере. Вовлеченный своим злосчастным шурином в авантюрное предприятие — товарищество по эксплуатации «чудесной» паровой мельницы, — Склодовский, вообще говоря, человек предусмотрительный, на этот раз потерял, и очень быстро, все накопленные деньги — тридцать тысяч рублей. С тех пор его терзают сожаления, тревожит будущее, он сокрушается и от чрезмерной щепетильности все время винит себя за то, что обездолил семью, а дочерей лишил приданого...

За два года до этого несчастья, в январе 1876 года, Маня уже узнала, что такое горе. Один из пансионеров, заболев тифом, заразил Броню и Зосю. Страшные недели! В одной комнате чахоточная мать старается сдержать свой кашель, в соседней — две сестры стонут и дрожат от сильного озноба.

Это случилось в среду. Склодовский зашел за Элей, Юзефом и Маней и повел их к старшей сестре. Зося покоилась в гробу, вся в белом, со скрещенными на груди руками. Бескровное лицо как будто улыбалось и, несмотря на гладко остриженную голову, было удивительно красиво.

Маня впервые встречается со смертью, впервые идет в траурной процессии, одетая в мрачную черную накидку. Дома остались рыдающая Броня, которая должна еще лежать в постели, и мать, которая не в силах выйти из дому, перебираясь от окна к окну, следит за медленно удаляющимся гробом дочери.

* * *

— Пойдемте, мои милые, не прямо, а в обход. Мне надо запастись яблоками, пока еще не ударили морозы.

Красивая, душевная тетя Люця скорым шагом ведет своих племянниц через Саксонский сад, почти безлюдный в ноябрьский полдень. Она пользуется каждым предлогом, чтобы девочки побольше дышали чистым воздухом и находились подальше от квартиры, где умирает чахоточная мать. А вдруг девочки заразятся от нее! У Эли вид еще хороший, а Маня уж очень бледновата, да и вся какая-то понурая...

Пройдя сад, вся троица попадает в тот квартал, где родилась Маня. Здесь, в Старом Място, улицы гораздо занимательнее, чем в новом городе. На скатах высоких крыш лежит пушистый свежий снег, а серые фасады небольших домов привлекают глаз многообразием рельефного орнамента: тут и изображения святых, и всякие карнизы, а среди них — силуэты животных, играющих роль вывесок для разных лавочек, гостиниц и трактиров.

В морозном воздухе звонко перекликаются церковные колокола. А сами церкви напоминают о детстве Мани. Вот костел святой Марии, где крестили Маню, а вон храм доминиканского монастыря, где Маня впервые причащалась,— день, памятный клятвой Мане и двоюродной сестре Хенрике, давших обет проглотить священную облатку, не прикасаясь к ней зубами. А вон и костел святого Павла, куда ходили девочки по воскресеньям слушать проповедь на немецком языке.

Да и пустая, подвластная ветрам площадь в Новом Място хорошо знакома Мане. Семья Склодовских жила на ней целый год после выезда из гимназической квартиры. Каждый день утром Маня, ее мать и сестры ходили в часовню божьей матери, в это причудливое и очаровательное здание с квадратной башней, сложенное уступами из красноватого, источенного веками камня, с косыми контрфорсами, цеплявшимися за верхний гребень, который высится над Вислой.

Тетя Люця делает знак девочкам, предлагая зайти в знакомую часовню. Маня проходит за толстую готическую дверь и, сделав несколько шагов в сумрачную глубь часовни, с трепетом опускается на колени. Как горько прийти теперь сюда без Зоси, уже не существующей на свете, и без матери, неизлечимо больной и, видимо, забытой божьим милосердием.

Но, веря в бога, Маня возносит свою мольбу к его престолу. В отчаянии за мать она горячо просит Иисуса даровать жизнь существу, самому дорогому ей на свете, а взамен этой

жизни предлагает богу свою жизнь: чтобы спасти мать, она готова умереть.

Преклонив колена рядом с Маней, шепчут молитвы Эля и тетя Люця.

Все трое выходят из часовни и по сбитым ступенькам лестницы спускаются к реке. Широкая мощная Висла неприветлива и недовольна. Своими желтыми струями она обходит песчаные косы, залегшие палевыми островками среди водоворотов, и бьет в извилистые берега, уставленные купальнями и портомойнями. Серые прогулочные лодки, летом оживленные компаниями веселой молодежи, теперь стоят у берега без снасти, неподвижно. Глубокой осенью жизнь кипит только у галер с яблоками. Сейчас их две — длинные, большие, остроносые расшивы сидят в воде, погрузившись чуть не до края борта.

Хозяин, в бараньем полушубке, откидывает охапками солому, чтобы показать товар. Красные, крепкие, точно отполированные, яблоки особенно бросаются в глаза на мягкой соломенной подстилке, предохраняющей их от мороза. Тысячи яблок навалены повсюду — от носа до кормы. Они пришли из Казмежа, красивого городка на Верхней Висле, и плыли день за днем вниз по течению сюда, в Варшаву.

— Я хочу сама выбирать яблоки... Сама! — кричит Эля, откладывая муфточку и сбрасывая одним движением плеча свой школьный ранец; тотчас же ее примеру следует и Маня.

Для девочек нет ничего веселее этих яблочных походов. Яблоки перебирают по одному, рассматривают каждое со всех сторон и после этого кладут в корзину, плетеную из ивняка. Если попадаются гнилые, то, хорошенько размахнувшись, их швыряют в Вислу и смотрят, как тонут эти красные шары. Наполнив доверху корзину, выходят на берег, держа в руке яблоко, самое красивое из всех...

Оно холодное и на зубах хрустит; как восхитительно откусывать кусочек за кусочком, пока там тетя Люця торгуется с хозяином и выбирает среди обступивших ее мальчишек с запачканными лицами того, кто, по ее мнению, достоин отнести к ней на дом корзину с драгоценным грузом.

* * *

Пять часов пополудни. Горничные убрали стол после обеда и зажгли висячую керосиновую лампу. Время занятий. Пансионеры разбрелись по своим комнатам, где живут по двое и по трое. Сын и дочери учителя остались в столовой, превращенной в комнату для занятий, раскрыли тетрадки и книги.

Через несколько минут в комнате раздается бормотание, невнятный, назойливый, нудный гул; он так и остается на целые годы лейтмотивом всей жизни в этом доме.

Его виновниками являются ученики, которые не могут отказаться от привычки вслух заучивать латинские стихи, исторические даты или решать задачи. В каждом углу этой фабрики познаний вздыхают, охают, страдают. Как все трудно! Сколько раз приходилось учителю Склодовскому ободрять ученика, который впадал в отчаяние из-за того, что, хорошо поняв изложенное на родном польском языке, не мог при всех стараниях усвоить то же самое, и особенно передать на обязательном русском языке.

Маленькая Маня не знает подобных огорчений. Исключительная сила ее памяти казалась подозрительной, и, когда девочка на глазах у всех прочитывала стихотворение два раза и тут же произносила наизусть без единой ошибки, товарищи обвиняли ее в жульничестве, говоря, что она выучила его раньше, потихоньку от всех. Свои уроки она готовит значительно быстрее других учеников, а затем по врожденной готовности помочь нередко выручает какую-нибудь из подруг, зашедшую в тупик.

Но чаще всего, как было и в этот вечер, Маня берет книгу и устраивается за столом, оперев лоб на облокоченные руки и заткнув уши большими пальцами, чтобы не слышать бормотание своей соседки Эли, не способной заучивать уроки иначе, как вслух. Излишняя предосторожность, так как через минуту Маня, увлеченная чтением, уже не слышит и не видит того, что происходит в комнате.

Такая способность к полному самозабвению — единственная странность у этого вполне здорового, нормального ребенка — необычайно забавляет Маниных подруг и сестер. Броня и Эля в сообществе с пансионерами уже не раз устраивали в комнате невыносимый гвалт, чтобы отвлечь младшую сестру, но их старания напрасны: Маня сидит как зачарованная, даже не поднимая глаз.

Сегодня им хотелось бы придумать что-нибудь похитрее, так как пришла дочь тети Люци — Хенрике, и это обстоятельство раззадоривает в них демона злых козней. На цыпочках они подходят к Мане и громоздят вокруг нее целое сооружение из стульев. Два стула — по бокам, один — сзади, на них два, а сверху ставят еще стул, как завершение постройки. Затем все молча удаляются и делают вид, что заняты уроками. Они ждут. Ждут долго — Маня не замечает ничего. Ни шепота, ни приглушенного смеха, ни тени от стульев. Проходит полчаса, а Маня все еще сидит, не подозревая об опасности от шаткой пи-

рамиды. Кончив главу, она закрывает книгу и поднимает голову. Все рушится со страшным грохотом. Стулья опрокидываются на пол. Эля визжит от удовольствия, Броня и Хенрике отбегают в сторону, боясь контратаки.

Но Маня по-прежнему невозмутима. Не в ее характере сердиться, но вместе с тем она не может забавляться так напугавшей ее шуткой. Взгляд ее пепельно-серых глаз сохраняет выражение застывшего испуга, как у лунатика, внезапно пробужденного от призрачного сна. Она потирает плечо, ушибленное стулом, берет книгу и уходит в другую комнату. Проходя мимо «старших», она роняет одно слово: «Глупо!» Этот спокойный приговор очень мало удовлетворяет «старших».

Часы такого полного самозабвения — единственное время, когда Маня живет чудесной жизнью детства. Она читает вперемежку школьные учебники, стихи, приключенческую литературу, а наряду с ними — технические книги, взятые из библиотеки отца.

В эти короткие часы отходят от нее все мрачные видения ее жизни: усталый вид отца, подавленного мелкими заботами; вечная суматоха в доме; вставание в предрассветном мраке, когда ей, еще полусонной, надо вскочить с постели, сползающей со скользкого дивана, и быстро освободить этот злосчастный малескиновый диван, чтобы пансионеры могли позавтракать в столовой, которая служила спальней для младших Склодовских.

Но передышки эти мимолетны. Стоит очнуться, и все опять всплывает с прежней силой; в первую очередь щемящая тревога за состояние матери, ставшей лишь слабой тенью былой красавицы.

Как ни стараются ободрить Маню, она душою чувствует, что ни силою ее восторженного преклонения, ни силою большой любви и пламенных молитв не отвратить ужасного и близкого конца.

* * *

И сама Склодовская думает о роковом конце. Ей хочется, чтобы смерть не захватила ее врасплох, не перевернула всю жизнь ее семьи. 9 мая 1878 года приходит к ней не доктор, а священник. Только ему поведает она свои душевные страдания, свою скорбь о милом муже, которому оставит бремя всех забот о четырех детях, свои мучительные думы о будущем совсем юных и остающихся без матери детей, и среди них — Манюши, которой только десять лет.

Но перед членами семьи она всем своим поведением старается показать умиротворение, которое в последние часы ее жизни приобрело какую-то особенную прелесть.

И умирает она так, как ей хотелось, без бреда, без метания. В чистой комнате стоят вокруг ее кровати муж, дочери и сын. Ее серые удлиненные глаза, уже подернутые предсмертной дымкой, пристально вглядываются в осунувшиеся лица близких, как будто умирающая хочет испросить себе прощение за то, что причиняет им такое горе.

Она еще находит силы проститься с каждым. Но все больше и больше ее одолевает слабость. Последняя мерцающая искра жизни позволяет ей сделать только одно движение, сказать только одно слово.

Движение — это крестное знамение, которое она чертит в воздухе дрожащею рукой, благословляя своих детей и мужа.

Слово — последнее, прощальное с детьми и с мужем, чуть слышное:

— Люблю.

* * *

И снова в трауре Маня уныло бродит по квартире на Кармелитской улице. Она не может примириться с тем, что Броня занимает комнату умершей матери, что только Эля и она спят на малескиновом диване, что спешно нанятая экономка приходит ежедневно в дом, распоряжается прислугой, составляет меню для пансионеров и мало заботится о туалете девочек. Сам Склодовский отдает все свободное время своим сиротам. Его мужские заботы, конечно, трогательны, но неловки.

Еще ребенком Маня познала жестокость самой жизни, жестокой и к народам, и к отдельным людям. Умерла Зося, умерла и мать. Нет больше ни чудесной ласки нежной матери, ни благодетельной опеки Зоси, но Маня все-таки растет, ни на что не жалуясь, предоставленная самой себе.

Она горда, а не смиренна. Теперь склоняясь на колени, в той же церкви, куда ее водила мать, Маня чувствует, как поднимается в душе глухой протест. И молится она не с прежней любовью к богу, который так несправедливо нанес ей эти страшные удары и погубил вокруг нее всю радость, нежность и мечты.

ЮНОСТЬ

В истории каждой семьи можно найти период наибольшего ее расцвета. В силу каких-то таинственных причин одно из поколений вдруг выделяется среди последующих и предыдущих своими успехами, энергией, красотой, дарованиями.

Такой период пришелся на это поколение Склодовских, хотя и заплатившее совсем недавно дань несчастью. Смерть, унеся Зосю, уже взяла свою дань с пяти жаждущих знаний, умственно развитых детей. Но в четырех остальных, рожденных от чахоточной матери и надорванного трудом отца, заключалась неодолимая жизненная сила. Всем четверым суждено было победить враждебные им силы, смести препятствия и стать выдающимися людьми.

Как они прекрасны в это солнечное утро весною 1882 года, когда все четверо сидят за ранним завтраком в столовой! Вот Эля, ей уже шестнадцать лет, высокая, изящная, бесспорно самая хорошенькая в семье. Вот Броня с расцветшим, как цветок, лицом и золотистыми волосами. Вот самый старший — Юзеф, в студенческой тужурке на атлетической фигуре.

А Маня? Так и у Мани отличный вид! Надо признаться, что она располнела, и обтягивающее ее форменное платье не обрисовывает особо тонкой талии. Как самая младшая, она пока менее красива. Но, так же как и у сестер, у нее приятное живое лицо, ясные глаза, светлые волосы и нежная кожа.

Только на двух младших сестрах форменные платья: синее у Эли — ученицы пансиона Сикорской и коричневое у Мани — лучшей ученицы казенной гимназии. Прошлой весной Броня окончила эту же гимназию с золотой, вполне заслуженной медалью.

Броня уже не школьница, а барышня. Она взяла в свои руки бразды правления хозяйством, заменив несносных экономок. Она ведет счета, наблюдает за «вечными» пансионерами, такими же, как прежде, только с другими лицами и именами, и как взрослая носит высокую прическу, платья до полу с «хвостом», турнюром и множеством каких-то пуговок.

Золотой медали был удостоен после окончания гимназии и Юзеф, поступивший на медицинский факультет Сестры гордятся братом и вместе с тем завидуют ему. Все три томятся жаждой высшего образования и потому заранее клянут устав Варшавского университета, куда не допускают женщин. Но жадно слушают рассказы брата об этом хотя и имперском, но весьма посредственном университете.

Их оживленный разговор нисколько не препятствует еде. Хлеб, масло, сливки и варенье — все исчезает как по волшебству.

— Юзеф, сегодня урок танцев, и ты нужен в роли кавалера, — говорит Эля, не забывающая серьезных дел. — Броня, как ты думаешь, если разгладить мое платье, оно еще сойдет?

— Так как другого нет, следовательно, оно должно сойти, — философски замечает Броня. — Когда ты вернешься к трем часам, мы им займемся.

— У вас очень красивые платья! — убежденно говорит Маня.

— В этом ты еще ничего не понимаешь. Слишком мала!

Все расходятся. Броня убирает со стола. Юзеф, сунув тетрадь под мышку, исчезает. Эля и Маня, толкаясь, бегут в кухню.

— Мой бутерброд!.. Мои сардельки!.. Где же масло?

Несмотря на сытный завтрак, девочки продолжают заботиться о потребностях желудка. Они пихают в свои парусиновые сумки все, что будут кушать в гимназии, когда в одиннадцать часов наступит большая перемена: булочку, два кусочка польской, очень вкусной колбасы, сардельки и большое яблоко...

Маня застегивает набитую битком сумку и надевает ранец.

— Скорей! Скорей! А то опоздаешь! — посмеивается Эля, тоже собираясь уходить.

— Не опоздаю! Еще только половина девятого. До свидания!

На лестнице Маня обгоняет двух пансионеров своего отца. Они, не очень торопясь, тоже идут в гимназию.

Гимназии, пансионы, школы... Вся юность Марии Склодовской прошла под звуки этих слов. Отец преподает в гимназии, Броня окончила гимназию, Юзеф — в университете, Эля — в пансионе. Да и собственная их квартира что-то вроде школы! Сама Вселенная должна бы представляться Мане как огромная гимназия, где живут преподаватели с учениками и господствует единый идеал: знание!

Пансионеры стали меньшим бедствием с тех пор, как семейство Склодовских рассталось с Кармелитской улицей и обосновалось на улице Лешно. Сам дом очарователен: стильный фасад, тихий двор с воркующими голубями, балконы, сплошь затянутые диким виноградом; квартира — на втором этаже и столь велика, что Склодовские занимают четыре комнаты, отделенные от комнат для пансионеров.

Улица Лешно с ее широкой мостовой между двумя рядами зажиточных домов вполне отвечает «хорошему тону». Иными

словами, в ней нет славянской «живописности». Этот почти изысканный квартал напоминает Западную Европу многим: начиная с кальвинистской церкви, как раз напротив дома Склодовских, и кончая зданием во французском стиле с колоннами на Романской улице.

Закинув ранец за спину, Маня бежит к «Голубому дворцу» графов Замойских. Минуя парадный вход, она идет в старинный двор, охраняемый большим бронзовым львом. Здесь девочка останавливается в полном разочаровании: двор пуст — никого нет! Чей-то приветливый голос окликает Маню.

— Не убегай, Манюша... Казя сейчас выйдет!

— Благодарю вас, пани. Добрый день, пани!

Из окна на антресолях выглядывает жена библиотекаря Замойских, пани Пржиборовская, и дружески улыбается младшей Склодовской, маленькой круглощекой девочке с живыми глазками, в последние два года самой близкой подруге дочери Пржиборовской.

— Непременно заходи после полудня. Я приготовлю вам шоколад-гляссе, как ты любишь!

— Конечно, приходи к нам завтракать! — кричит Казя, скатываясь с лестницы и хватая за руку Манюшу. — Бежим, Маня, а то мы опоздаем!

— Сейчас, только подниму кольцо у льва!

Маня заходит каждый день за Казей, и Казя ждет ее у входа в дом. Если Маня не застает ее на месте, она поворачивает тяжелое бронзовое кольцо в пасти льва и откидывает его на львиный нос, а затем идет своей дорогой к гимназии. По положению кольца Казя видит, что Маня уже заходила, и если Казя хочет ее догнать, то пусть идет скорее.

Казя — очаровательное существо. Это веселая, счастливая горожаночка, балованная любимица своих родителей. Муж и жена Пржиборовские балуют и Маню, обращаются с ней как с дочерью, чтобы девочка не чувствовала себя сиротой. Но целый ряд мелких признаков и в их одежде, и в наружности говорит о том, что одна из них — ухоженный ребенок, что каждое утро мать старательно расчесывает ей волосы и сама завязывает ленточки, а другая, четырнадцати с половиной лет, — растет в семье, где никому нет времени заняться ею.

Взявшись за руки, девочки шествуют по узкой Жабьей улице. Со вчерашнего завтрака они не виделись, и, конечно, им нужно рассказать друг другу о множестве важных вещей, касающихся почти всецело их гимназии в Краковском предместье.

Переход из пансиона Сикорской, по духу совершенно польского, в казенную гимназию, где властвует дух руссификации,— переход тяжелый, но необходимый: только казенные

имперские гимназии дают официальные аттестаты. Маня и Казя мстят за это принуждение всякими насмешками над гимназическими учителями, в особенности над ненавистной классной дамой мадемуазель Мейер.

Эта маленькая брюнетка с жирными волосами, в шпионских неслышных мягких туфлях — отъявленный враг Мани Склодовской. Она все время укоряет девочку за упрямый характер и за презрительную усмешку, которой Маня отвечает на оскорбительные замечания.

— Говорить со Склодовской совершенно бесполезно, ей все как об стенку горох!... — жалуется это тупое существо.

Больше всего раздражают ее в Мане кудри на голове, что, по мнению надзирательницы, «смешно и непристойно», и каждый раз она приглаживает головной щеткой непокорные кудряшки. пытаясь сделать из Мани прилизанную Гретхен. Тщетно! Уже через несколько минут легкие, капризно вьющиеся локоны вновь обрамляют лицо девочки, а глаза Мани весьма невинно, но торжествующе, с особенным вниманием останавливаются на волосах надзирательницы, уложенных двумя блестящими бандо.

— Я запрещаю тебе смотреть на меня так... свысока! — захлебываясь от злости, кричит Мейер.

— А я не могу иначе! — дерзко отвечает Маня, рост которой гораздо выше.

Изо дня в день продолжается война между крайне независимой ученицей и раздраженной надзирательницей. В прошлом году она разразилась страшной бурей. Пробравшись незаметно в класс, мадемуазель Мейер застала Маню и Казю в ту минуту, когда обе девочки весело танцевали между партами по случаю убийства Александра II, внезапная смерть которого повергла в траур всю империю...

Одним из самых прискорбных следствий всякого политического гнета является развитие жестокости среди угнетенных. Маней и Казей владеют злопамятные мстительные чувства, совершенно незнакомые свободным людям. В обеих девочках — по природе великодушных, нежных — живет еще другая, особая мораль, в силу которой ненависть считается добродетелью, а повиновение — подлостью.

Под действием этих чувств все ученицы страстно набрасываются на то, что им позволено любить. Они обожают красивого молодого Гласса, преподающего им математику; Слозарского, преподавателя естественной истории: оба поляки, следовательно, сообщники. Но и по отношению к русским их чувства имеют различные оттенки. Например, что надо думать о таинственном Микешине, который, награждая за успехи одну из учениц, молча протянул ей том стихотворений революционного

поэта Некрасова? Польские школьницы с изумлением замечают и во враждебном лагере признаки сочувствия.

В том классе, где училась Маня, сидели бок о бок и полячки, и евреи, и русские, и немцы. Среди них не было серьезных разногласий. Сама их юность, соревнование в учении сглаживали различие национальных особенностей и мыслей. Глядя на их старания помочь друг другу в занятиях, на совместные игры во время перемен, можно подумать, что между ними царит полное взаимопонимание.

Но, выйдя из гимназии на улицу, каждая группа говорит только на своем языке, исповедует свой патриотизм и религию. В качестве угнетенных поляки ведут себя более вызывающе, чем остальные,— они уходят сплоченными группами и никогда не приглашают к обеду ни одну немку или русскую.

Эта непримиримость не дается даром, без душевной смуты. Сколько нервного напряжения, преувеличенных укоров совести! Все кажется преступным: и дружеское влечение к товарищу другой национальности, и невольное чувство удовольствия от уроков точных наук или философии, проводимых «угнетателями» — представителями «казенного» преподавания, ненавистного из принципа.

И все же прошлым летом в одном из писем Казе Маня признается стыдливо и волнующе:

«Знаешь, Казя... я все-таки люблю гимназию. Может быть, ты посмеешься надо мной, но, несмотря на это, я говорю тебе, что я ее люблю, и даже очень. Теперь я это сознаю. Только не думай, что я по ней скучаю! О, совсем нет! Но мысль, что скоро я вернусь туда, меня не огорчает, и те два года, которые еще осталось провести в гимназии, уже не представляются такими страшными, тяжелыми и длинными, как это мне казалось раньше».

* * *

Парк в Лазенках, где Маня проводит большую часть свободного времени, а затем Саксонский сад — самые любимые места Мани в родном городе, который она еще долго будет называть «моя любимица Варшавочка».

Миновав чугунную ограду, Казя и Маня идут по аллее в направлении дворца. Уже два месяца они соблюдают неизменный ритуал — бродить по большим грязным лужам, погружая свои калоши как раз до края, но так, чтобы не замочить ботинок. Когда бывает сухо, они придумывают другие игры, весьма

несложные, но веселящие девочек до слез. Например, игра в «зеленое».

— Пойдем со мной, мне надо купить новую тетрадку, — начинает Маня невинным тоном. — Я видела очень миленькие, в зеленой обложке.

Но Казя настороже! При слове «зеленый» она тотчас показывает Мане кусочек зеленого бархата, спрятанный для этого в кармане, и таким образом увертывается от фанта. Маня делает вид, что бросила игру. Она переводит разговор на вчерашний урок истории, продиктованный учителем, где говорилось, что Польша — русская провинция, польский язык — наречие, что царь Николай I, так любивший Польшу, умер от горя, удрученный неблагодарностью поляков.

— Что там ни говори, а бедняге было трудно рассказывать нам все эти гадости. Ты заметила, как бегали его глаза, какое было у него ужасное лицо?

— Да, оно стало совсем «зеленым», — подыгрывает Казя. Но тотчас у нее под носом завертелся нежно-зеленый молодой листок, сорванный с каштана.

Глядя на кучки малышей, на то, как они делают пирожки из желтого песка или гоняют свое серсо, обе шалуньи задыхаются от смеха. Они проходят под великолепной колоннадой и пересекают большую площадь перед Саксонским дворцом. Маня вскрикивает:

— Ах! Мы ведь прошли памятник! Сейчас же идем обратно!

Казя не возражает. Ветреницы допустили непростительную оплошность. Посреди Саксонской площади стоит величественный обелиск с четырьмя львами по сторонам с надписью церковнославянскими буквами: «Полякам, верным своему монарху». Этот обелиск, воздвигнутый царем в честь предателей, презирают все польские патриоты, и, по установившемуся обычаю, надо плюнуть всякий раз, когда проходишь мимо обелиска.

Выполнив свой долг, девочки продолжают разговор.

— Сегодня у нас вечер танцев, — говорит Маня.

— Да... Ах, Манюша, когда же и мы с тобой получим право танцевать! Ведь мы так хорошо танцуем вальс! — жалуется нетерпеливая Казя.

Когда? Да не раньше того, как эти школьницы «выедут в свет». Пройдут еще долгие месяцы, прежде чем они кончат гимназию, ту самую, что помещается вот в этом голом трехэтажном доме, как раз напротив часовни благовещения, сплошь изукрашенной орнаментом и похожей на одинокий островок итальянского Возрождения среди суровых зданий квартала. Некоторые из их товарок уже у главного входа. Тут и маленькая Вульф с голубыми глазками, и Аня Роттерт — немочка со

вздернутым носиком, лучшая после Мани ученица в классе, и Леонида Куницкая...

Но что с Куницкой? Глаза распухли от слез, да и сама она, всегда такая чистенькая и аккуратная, сегодня одета кое-как. Маня и Казя перестают смеяться и подбегают к своей подружке.

— Что случилось? Куницкая, что с тобой?

Маленькое личико девочки бледно. Губы с трудом пропускают слова:

— Это из-за брата... Он участвовал в заговоре... На него донесли. Три дня мы не знали, где он...

И, задыхаясь от рыданий, добавляет:

— Завтра утром его повесят.

Потрясенные девочки окружают бедняжку, хотят расспросить ее и поддержать. Но раздается скрипучий голос мадемуазель Мейер:

— Девочки, довольно болтовни. Поторопитесь!

Маня, онемев от ужаса, проходит на свое место. Еще минуту назад она мечтала о музыке, о бале. А сейчас под однообразное жужжание первых фраз урока географии, которые она и не пытается понять, ей видится лишь молодое, одухотворенное лицо осужденного Куницкого, виселица, веревка и палач.

В этот вечер Маня, Эля, Броня, Казя и ее сестра Юля не пошли на танцы, а провели всю ночь в комнате Леониды Куницкой. Их возмущение и слезы сливались в одно целое. Свою подругу, истерзанную горем, все окружали скромными, но нежными заботами, поили горячим чаем, обмывали водой ее распухшие от слез веки. И быстро и тягуче шло время для девочек, из которых четыре еще носили гимназическую форму. Но вот слабый свет зари упал на бледные девичьи лица и возвестил о роковом конце; тогда все встали на колени и начали шептать отходную молитву, закрыв руками свои лица, объятые ужасом.

* * *

Три золотые медали, одна за другой, выпали на долю семьи Склодовских. Третья досталась Мане по окончании гимназии 12 июня 1883 года.

В гнетущей жаре и духоте читают список награжденных, говорят речи, играют туш. Учителя поздравляют учениц, верховный блюститель русского преподавания Апухтин слабо пожимает руку Мане, получая в ответ ее последний реверанс... В парадном платье, черном по обычаю, с букетом чайных роз, приколотым к корсажу, младшая Склодовская прощается со

всеми, клянется подругам писать каждую неделю и покидает навсегда гимназию в Краковске пшедмесьце, взяв под руку отца, гордого успехами дочери.

Маня работала много и хорошо. Отец уже решил, что, прежде чем выбирать дорогу в жизни, Маня поедет на целый год в деревню.

Год каникул! Можно себе представить, чем это должно было показаться девочке, талантливой, во власти раннего призвания, тайком читающей научные пособия... Но нет, в таинственную переходную эпоху юности, когда формировалось ее тело, а черты лица становились тоньше, Маня вдруг обленилась. Отбросив школьные учебники, она в первый и последний раз в своей жизни до упоения наслаждается бездельем.

— Мне не верится, что существуют какие-то геометрия и алгебра, — пишет она Казе, — я совершенно о них забыла.

Вдали от Варшавы и гимназии она живет месяцами у приютивших ее родственников, отплачивая за гостеприимство какими-то неопределенными уроками их детям или ничтожной суммой денег за питание. Она вся отдается счастью самой жизни.

Как она беззаботна! Какой вдруг стала радостной и живой! Между прогулкой и обедом она едва находит время, чтобы взяться за перо и описать свое блаженство в письмах, которые обычно начинаются: «Мой дорогой чертенок» или «Душенька Казя».

Маня — Казе:

«Могу тебе сказать, что кроме часового урока французского языка, который я даю маленькому мальчику, я ничего не делаю, буквально «ничего», даже забросила начатую вышивку. У меня нет времени, занятого чем-нибудь определенным... Встаю я то в десять, то в четыре или пять (утра, конечно, а не вечера!). Ни одной серьезной книги не читаю, ничего, кроме глупых развлекательных романов. Несмотря на аттестат, удостоверяющий законченное образование и умственную зрелость, я чувствую себя невероятной дурой. Иногда я начинаю хохотать одна, сама с собой, и нахожу искреннее удовлетворение в состоянии полнейшей глупости.

Мы всей компанией ходим гулять в лес, играем в серсо, в волан (я — очень плохо!), в кошки-мышки, в гусыню и развлекаемся другими, такими же детскими забавами. Здесь столько земляники, что на пять грошей можно купить вполне достаточное количество, чтобы наесться: полную глубокую тарелку с верхом. Увы, земляника уже кончилась. Боюсь только, что при

возвращении домой мой аппетит не будет иметь границ и моя прожорливость возбудит беспокойство.

Мы много качаемся на качелях, причем изо всех сил и страшно высоко, купаемся и ловим раков при свете факелов. Каждое воскресенье запрягают лошадей, чтобы ехать к обедне, а затем мы делаем визит священникам. Оба священника очень умны, весьма забавны, и в их компании мы очень весело проводим время.

На несколько дней я заезжала в Зволу. Там в это время гостил актер Катарбинский — виновник общего веселья. Он пел нам столько песенок, столько декламировал стихов, столько разыгрывал с нами разных шуток и столько собирал для нас крыжовника, что в день его отъезда мы сплели большой венок из маков, полевой гвоздики, васильков и, когда бричка с Катарбинским тронулась в путь, мы бросили ему наш венок, крича во все горло: «Да здравствует... Да здравствует пан Катарбинский!» Он тотчас надел венок себе на голову, а затем, как оказалось, уложил его в какой-то чемодан и увез в Варшаву. Ах, как весело живут в Зволе! Там всегда большое общество, царит такая свобода, независимость и равенство, что ты вообразить себе не можешь. Когда мы ехали оттуда к себе домой, Лансе так лаял, что мы не знали, как с ним быть...»

Лансе играет большую роль в жизни Склодовских. При хорошей дрессировке этот коричневый пойнтер мог бы стать вполне приличной охотничьей собакой. Но Маня, ее сестры и брат Юзеф дали ему неправильное воспитание. Его так ласкали, баловали и пичкали всякой снедью, что Лансе превратился в огромного пса и стал домашним деспотом. Портил мебель, опрокидывал горшки с цветами, съедал закуски, предназначенные совсем не для него, в знак приветствия рычал на всех гостей, рвал в мелкие кусочки шляпы и перчатки, оставленные по неосторожности в передней. В награду за такую «добродетель» хозяева обожали деспота и с наступлением лета спорили, кто из них имеет больше прав увезти его с собой в деревню на каникулы.

За этот год безделья и умственной дремоты в Мане развилась так и оставшаяся в ней на всю жизнь страсть к деревенской жизни. Приглядываясь то к одной, то к другой местности в разные времена года, она непрерывно открывала все новые красоты польской земли, по которой расселились ее родственники. В мирной, спокойной Зволе ничто не останавливает взора, и круглый горизонт кажется таким далеким, как нигде в мире. У дяди Ксаверия в Завепщице пасутся на лугах пятьдесят породистых лошадей — целый завод. Заняв

у своих кузенов не очень изящные брюки. Маня изучает галоп, крупную рысь и становится наездницей.

Она впервые видит перед собой Карпаты — какая красота! Сверкающие снежные вершины и стройные черные ели приводят ее, дитя равнины, в восторженное оцепенение. Ей не забыть ни прогулок по горным тропкам в зарослях черники, ни хижин гуралей, где каждый резной деревянный предмет — произведение искусства; ни маленького озера, зажатого среди вершин, холодного и чистого, похожего на синий глаз, с таким красивым названием — Морское око.

Здесь, близ Карпатских гор, у границ Галиции, Маня проведет зиму в шумной семье дяди Здислава, нотариуса в Скальбмерже. Хозяин дома весельчак, его жена — красавица, три дочери только и думают о том, как бы посмеяться.

Разве соскучится здесь Маня? Каждую неделю приезд какого-нибудь гостя или местный праздник вызывает увлекательную суматоху. Родители готовят дичь, дочки пекут пироги или же запираются у себя в комнатах и спешно нашивают ленты на пестрые костюмы для предстоящего маскарада.

Достаточно ли сказать, что это бал? Конечно, нет! Это феерический объезд всей округи в разгар масленицы. Вечером по снегу двое саней мчат укрытых полостью Маню Склодовскую и трех ее кузин в нарядах краковских крестьянок и в масках. Их сопровождают молодые люди в живописных крестьянских костюмах, верхом и с факелами в руках. А между соснами мигают другие факелы, и в ночном морозном воздухе слышатся ритмичные звуки: это подъезжают сани с музыкантами, которые двое суток будут извлекать из своих скрипок упоительные мелодии вальсов, краковяков и мазурок, а все присутствующие станут подпевать хором. А сейчас четыре неистовых музыканта играют до тех пор, пока еще трое, пятеро, десятеро саней не откликнутся на призыв скрипок и не разыщут их в ночной тьме. Невзирая на ухабы и головокружительные спуски по обледенелым склонам, музыканты не пропустят ни одного прикосновения смычка к струнам, ни одной ноты и торжественно проводят до первой остановки эту фантастическую ночную фарандолу.

Наконец шумная процессия останавливается, высаживается, затем стук в двери заснувшего дома, притворное изумление хозяев... Проходит всего несколько минут, музыкантов усаживают прямо на стол, и начинается бал при свете факелов и канделябров, а из буфетов извлекаются запасы всякой снеди. Затем сигнал — и дом пустеет. Нет никого: ни обитателей его, ни масок, ни саней, ни лошадей. Все мчатся по лесу к другому дому, к третьему, четвертому, захватывая с собой каждый раз

новых участников веселья. Солнце всходит и заходит. Скрипачи едва успевают перевести дыхание и немного поспать в каком-нибудь амбаре вместе с изнеможенными танцорами. На второй день вечером сани останавливаются перед самым большим в округе помещичьим домом, где предстоит «настоящий бал», и четыре музыканта начинают первый краковяк покоряющим всех фортиссимо.

Юноша в белом суконном костюме с вышивкой спешно приглашает лучшую танцовщицу: шестнадцатилетнюю Марию Склодовскую; в бархатном казакине с пышными кисейными рукавами, увенчанная диадемой из колосьев с яркими свисающими лентами, Маня похожа на девушку из горных деревень, одетую в праздничный наряд.

Свой восторг Маня описывает Броне:

«В прошлую субботу я еще раз в жизни насладилась прелестями карнавала, на «кулиге» у Луневских, и думаю, что мне уж никогда так не развлекаться; ведь на обычных балах с их фраками и бальными нарядами нет ни такой увлекательности, ни такого безумного веселья. Мы с панной Бурцинской приехали довольно рано. Я заделалась парикмахершей и причесала всех девушек для кулиги очень красиво — честное слово! Дорогой произошло несколько неожиданных происшествий: потеряли, а потом нашли музыкантов, одни сани опрокинулись и т. д. Когда приехал староста (Пено), он объявил мне, что я выбрана «почетной девушкой» кулиги, и представил мне моего «почетного парня», очень красивого и элегантного молодого человека из Кракова. Вся кулига была с начала до конца сплошное восхищение. Последнюю мазурку мы танцевали в восемь часов утра. А какие красивые костюмы! Танцевали и чудесный оберек с фигурами; прими к сведению, что я теперь танцую оберек в совершенстве. Я столько танцевала, что когда играли вальс, у меня были приглашения уже на несколько танцев вперед. Если мне, к сожалению, случалось выйти на минуту в другую комнату, чтобы передохнуть, то кавалеры выстраивались у самой двери, чтобы подождать и не проглядеть меня.

Одним словом, может быть, никогда, никогда в жизни мне не придется веселиться так, как теперь. После этого праздника я сильно затосковала по дому. Мы с тетей решили, что если я буду выходить замуж, то мою свадьбу сыграем по-краковски, во время кулиги. Конечно, это шутка, но самый проект мне очень улыбается!»

Такое волшебное безделье требовало апофеоза. В июле 1884 года, как только Маня вернулась домой в Варшаву, к Склодовскому явилась его бывшая ученица графиня Флери, полька, вышедшая замуж за француза. Так как у младших дочерей учителя нет еще никаких планов на летние каникулы, то почему бы им не приехать к ней в имение на два месяца?

«Это произошло в воскресенье, — пишет Маня Казе, — *а в понедельник мы с Элей уже выехали: пришла телеграмма, извещавшая, что нас будут ждать лошади на станции. Вот уже несколько недель, как мы живем в Кемпе, и мне бы следовало рассказать тебе о здешней жизни, но у меня не хватает на это смелости, скажу только, что живем чудесно. Кемпа расположена при слиянии Бебжи с Наревом; иными словами, воды сколько хочешь: и для купания, и для катания на лодках, что приводит меня в восхищение. Учусь грести и уже делаю успехи, а купание — идеальное. Мы делаем все, что взбредет в голову, спим то ночью, то днем, проделывая такие взбалмошные шутки, что за некоторые нас стоило бы запереть в сумасшедший дом».*

Маня почти не преувеличивает. Дух невинного сумасбродства веет над красивой усадьбой, окруженной гладкими, сверкающими меандрами двух широких рек. Из окон младших Склодовских далеко видны зелень и пологие берега, обсаженные рядами ив и тополей, однако реки часто выходят из берегов и заливают окрестные луга спокойной гладью, в которой отражается небесная лазурь.

В короткое время Маня с Элей становятся заводилами молодежи в Кемпе. Хозяева усадьбы занимают своеобразную позицию: когда они вместе, то увещевают молодежь, порицают ее выходки и грозят принять суровые меры. Но в отдельности потихоньку друг от друга каждый из супругов становится сообщником виновных, проявляет к ним полную терпимость и даже содействует их затеям.

Что сегодня делать? Покататься верхом? Пойти в лес собирать грибы или бруснику? Это чересчур степенно! Маня упрашивает Яна Монюшко, брата графини Флери, съездить в соседний город. А пока он отсутствует, Маня с помощью других подвешивает к потолочным балкам всю обстановку в комнате уехавшего юноши: кровать, стол, стулья, чемоданы, одежду и прочее. И вернувшемуся Яну придется в темноте барахтаться среди своей «воздушной» обстановки.

Почему поставили так много всяких яств? Для особо избранных гостей? А «детей» не пригласят за этот стол? Это нетерпимо! Пока приехавшие гости осматривают сад, «дети» съе-

дают лакомства, а у опустошенного стола наспех ставят манекен, который изображает самого графа Флери, наевшегося до отвала. Затем все «дети» исчезают.

А где искать преступников? Где их найдешь и в этот, и в следующие дни? Всякий раз, совершив какое-нибудь «преступление», они улетучиваются как призраки. Ищут их в комнатах, а они валяются на траве в дальнем уголке парка; предполагают, что они пошли гулять, а они, утащив из кухни целую корзину крыжовника, скрылись в погребе, где и поедают свою добычу; если в пять часов утра в доме все тихо, значит никого из молодежи нет, значит Маня и Эля со всей своей командой решили с восходом солнца пойти на реку искупаться. Есть только один способ заманить их в дом: обещать что-нибудь веселое, шарады, танцы. К этому способу и прибегает графиня Флери как можно чаще. За восемь недель она устроила три бала, два пикника на свежем воздухе, несколько прогулок по окрестностям и катаний на лодках по реке.

Граф и графиня Флери не остаются без награды за свое широкое гостеприимство. Юные безумцы обожают и мужа и жену, оказывают им полное доверие, одаряют самой близкой дружбой и радуют своей чудесной радостью, всегда чистой, даже в самых сумасбродных ее проявлениях.

Они умеют делать хозяевам приятные сюрпризы: в день четырнадцатилетия их свадьбы два делегата подносят им огромный венок из всяких овощей весом в пятьдесят килограммов и усаживают виновников торжества под балдахин из нарядно драпированных тканей. В полной тишине самая юная девица декламирует поэму, сочиненную к данному случаю.

Автор поэмы — Маня; она создала ее, расхаживая широким шагом по своей комнате в порыве вдохновения. Кончалась поэма так:

А в День Людовика Святого
Мы жаждем ехать на пикник.
Зовите ж юных кавалеров.
Так, чтоб у каждой был жених,
Тогда по вашему примеру
И мы, как можно поскорей,
Пойдем к желанному венцу.

Намек не остается без ответа.

Чета Флери в ответ немедля объявляет большой бал. Хозяйка дома заказывает пироги, гирлянды, свечи. А Маня и Эля задумываются над своим нарядом для ночного празднества.

Нелегко быть восхитительной, когда нет денег, и дешевая портниха шьет тебе всего два платья в год: одно простое, дру-

гое — для балов. Подсчитав свои деньги, сестры решают, как им быть. Тюль, покрывавший сверху платье Мани, уже потрепан, но атласный голубой чехол еще в хорошем состоянии. Надо ехать в город, купить подешевле голубого тарлатана и заменить им пришедший в упадок тюль, задрапировав новым тарлатаном неизносимый чехол платья. Затем пришить тут ленточку, тут бантик, пожертвовать несколько рублей на шевровые туфельки, а в саду собрать букетик к корсажу и несколько роз в прическу. Вечером, в день бала, когда музыканты настраивают инструменты, а изумительно красивая Эля уже порхает по празднично украшенному дому, Маня в последний раз осматривает себя в зеркало. Все вышло очень хорошо: и нарядный тарлатан, и живые цветы у оживленного лица, и эти красивые новенькие туфли, но Маня сегодня будет столько танцевать, что они останутся к утру без подошв и их придется выбросить!

* * *

Лицо моей матери, когда она спустя много лет вспоминала об этих днях веселья, имело какое-то отрешенное, нежное выражение. Я видела перед собой ее лицо, такое усталое после полувека всяческих забот и большого научного труда, и благодарила ее судьбу за то, что раньше, чем направить эту женщину на путь сурового, неумолимого призвания, она ей даровала возможность носиться на санях по взбалмошным карнавальным празднествам и трепать туфельки в вихре ночного бала.

ПРИЗВАНИЕ

Я попыталась описать Маню Склодовскую в детстве, юности, в ее учебных занятиях и забавах. Она здорова, честна, чувствительна и весела. У нее любящее сердце. По словам учителей, она очень даровита. Но никакие особые способности не выделяют Маню из среды других детей, ее подруг и сверстниц. Еще ничто не указывает на особенный талант.

А вот другой ее портрет, уже взрослой девушки. Он более значителен. За это время в ее жизни сглаживаются черты любимых лиц, и только нежное воспоминание о них останется у Мани до конца жизни. Мало-помалу меняются дружеские связи. Уходят в прошлое пансион, гимназия, товарищеские узы, на вид такие крепкие, но ослабевающие очень быстро, как только исчезает то ежедневное общение, которое поддерживало их.

Призвание Мани выявляется благодаря двум личностям, проникнутым добром и пониманием, самым близким и родным, — отцу и старшей сестре.

Мне бы хотелось показать, как под влиянием этих двух друзей зарождались у Мани мысли о своем будущем. Большинству людей в подобных случаях свойственны чрезмерные желания, но как же скромны, при всей их смелости, мечты будущей Марии Кюри!

В сентябре 1884 года, упоенная своим четырнадцатимесячным бродяжничеством, Маня возвращается в Варшаву на новую семейную квартиру рядом с гимназией, где она училась в детстве.

Переселение с улицы Лешно на Новолипскую вызвано существенной переменой в жизни учителя Склодовского. Состарившись, Склодовский оставил за собой преподавание в гимназии, но отказался держать у себя пансионеров. Новая квартира была теснее прежней, уютнее, но и беднее, и там вместе со всей семьей поселилась Маня.

Те, кто встречались со Склодовским в первый раз, считали его суровым человеком. Тридцать лет преподавательской работы в средних учебных заведениях придали этому полному, невысокому человеку некоторую величавость, а кое-какие внешние черты изобличали в нем образцового педагога: темные цвета всегда старательно вычищенной одежды, точные, скупые жесты и степенная вразумительная речь. Все его действия методичны. Пишет ли он письмо — фразы логичны, почерк сжат. Ведет ли он детей на экскурсию — случайностям нет места. Весь путь заранее изучен и проходит по самым примечательным местам, а сам учитель красноречиво поясняет прелесть пейзажа или историческое значение какого-нибудь памятника старины.

Маня даже не замечает этих мелких педагогических привычек. Она нежно любит своего отца. Он ее покровитель, ее учитель. Она готова думать, что отец обладает всеобъемлющими знаниями. И в самом деле. Склодовский знает все или почти все. В какой стране теперешней Европы найдешь у скромного учителя средней школы такую эрудицию! Глава семьи, он еле сводит концы с концами в семейном бюджете, а вместе с тем находит время расширять свои научные познания, роясь в журналах, которые достать не так-то легко. Ему представляется вполне естественным быть в курсе успехов математики, химии и физики, не менее естественным знать кроме польского и русского языка латинский, греческий, говорить по-французски, по-немецки и по-английски. Он переводит лучшие произведения поэзии и прозы иностранных авторов на свой родной язык. Сочиняет много стихов сам и старательно заносит их в простую

школьную тетрадку с черно-зеленой обложкой: «Моим друзьям в день их рождения», «Здравица на свадьбу», «Бывшим моим ученикам»...

Каждую субботу Склодовский, его сын и трое дочерей проводят вечер вместе, посвящая его литературе. Усевшись за кипящим самоваром, они беседуют. Старик отец декламирует стихи или читает вслух какую-нибудь книгу. Дети слушают с искренним восхищением: у этого учителя с залысинами на лбу, с полным благородным лицом и маленькой седой бородкой замечательный дар чтеца. Так каждую субботу знакомый милый голос доносит до слуха Мани лучшие творения мировой литературы. Когда-то в годы далекого детства этот голос рассказывал ей сказки, путешествия или читал «Давида Копперфильда», переводя его сразу, без запинки с английского на польский. И тот же голос, хоть и слегка надтреснутый из-за несчетного количества гимназических уроков, декламирует теперь внимательным юным слушателям польских романтиков, поэтов эпохи рабства Польши и ее восстаний: Словацкого, Красиньского, Мицкевича. Переворачивая страницы истрепанных томов, а среди них есть и запрещенные царским правительством, старый учитель декламирует героические строфы из «Пана Тадеуша» * или скорбные стихи «Кордиана» **.

Никогда не забыть Мане этих вечеров. Благодаря своему отцу Маня развивается в интеллектуальной атмосфере, редкой по содержательности и знакомой только очень немногим девушкам. Крепкие узы связывают Маню с человеком, который так трогательно, так ревностно стремится сделать ее жизнь привлекательной и содержательной. Она с тревогой замечает тайную грусть, скрытую под внешним спокойствием Склодовского, грусть неутешного вдовца, угрызения совести щепетильного отца, упрекающего себя за легковерие, в результате которого потеряно небольшое, но состояние. Иногда этот несчастный человек не выдерживает и жалуется детям на самого себя:

— Как мог я потерять столько денег! Ведь я мечтал дать вам самое утонченное образование, отправить путешествовать, послать учиться за границу!.. И я же сам все это разрушил! Теперь у меня нет денег, я не могу вам помогать. А скоро стану бременем для вас. Что с вами будет?

---

* «Пан Тадеуш» — поэма великого польского поэта А. Мицкевича. — *Прим. ред.*

** «Кордиан» — драма известного польского поэта Ю. Словацкого. — *Прим. ред.*

Учитель тяжко вздыхает и, обернувшись к детям, подсознательно ждет, чтобы они ободрили его своими жизнерадостными возражениями. Вот они, его дети, сидят все вместе вокруг керосиновой лампы, стоящей на маленьком бюро и оживляющей веселым светом зелень любовно выращенных им цветов. Четыре упрямых лба, четыре мужественные улыбки. Живой взгляд их юных глаз разных оттенков — от цвета барвинка до пепельно-серого — горит одной мыслью, одной надеждой:

— Мы молоды. Мы сильны.

* * *

Опасения Склодовского вполне понятны. Будущая судьба его детей определялась этим годом, а положение их было далеко не блестящим. Проблема дальнейшей жизни решалась просто: теперешнего заработка учителя едва хватало, чтобы оплатить квартиру, кухарку и питание, а вскоре ему придется перейти на небольшую пенсию, поэтому Юзефу и Броне, Эле и Мане надо теперь же начать зарабатывать себе на жизнь.

Естественно, что первой мыслью сына и дочерей двух педагогов было давать уроки: «Студент-медик ищет место репетитора», «Молодая девушка с аттестатом дает уроки арифметики, геометрии и французского за умеренную плату». Юные Склодовские становятся в ряды сотен интеллигентных молодых людей, которые бегают по Варшаве в поисках уроков.

Неблагодарное занятие! В шестнадцать с половиной лет Маня узнает трудности и унижения, какие ожидают «репетиторшу». Длинные концы по городу и в дождь, и в холод. Капризные или ленивые ученики. Родители учеников, заставляющие ждать начало занятий на сквозняке и в передней («Пусть панна Склодовская соблаговолит подождать... через четверть часа моя дочь будет готова!») или просто забывающие заплатить в конце месяца те несколько рублей, которые они должны и которые Маня так рассчитывала получить сегодня утром!..

Наступает зима. Жизнь на Новолипской серая, и каждый новый день похож на прошедший.

«*В доме все по-прежнему,* — пишет Маня. — *Растения чувствуют себя хорошо, азалии цветут. Лансе спит на половичке. Наша поденная служанка — Гуся — переделывает мое платье, которое я хочу отдать перекрасить: оно будет вполне приличное и даже миленькое. Платье Брони уже готово и вышло очень хорошо. Не пишу никому. У меня очень мало времени, а еще меньше денег. Некая особа, узнавшая о нас от общих знако-*

мых, явилась справиться, сколько мы берем за урок. Когда Броня сказала ей, что пятьдесят копеек за час, дама убежала как ошпаренная!»

Была ли Маня просто барышней-бесприданницей, энергичной и рассудительной, думавшей только о том, как бы увеличить количество своих учеников? Нет! Она мужественно вступила на трудный, хлопотливый путь частных уроков, но только из нужды. В действительности у нее была своя тайная, горячо волнующая жизнь. Как и все польки ее круга в ту эпоху, Маня была полна восторженных мечтаний. Как и все молодые люди, она была охвачена чувством патриотизма. В их планах собственного будущего служение Польше занимало первенствующее место над вопросами личного благополучия, любви и брака. Один, мечтая о революционной борьбе и ее опасности, участвовал в заговоре. Другой стремился к публицистической деятельности. Третий хотел служить религии, поскольку сам католицизм представлялся средством, силой, которая противостояла православным угнетателям.

Мистически религиозная мечта стала для Мани чуждой. По традиции ради приличия она еще придерживалась религиозных обрядов, но сама вера, поколебленная смертью матери, мало-помалу испарилась. Испытав на себе сильное воздействие глубоко религиозной матери, эти последние шесть или семь лет Маня жила под влиянием своего отца, не столько католика, сколько несознающегося вольнодумца. От детской религиозности остались в ней лишь смутные духовные запросы, стремление преклоняться перед чем-то великим и возвышенным.

Хотя среди ее друзей находились революционеры и Маня была так неосторожна, что давала им пользоваться ее паспортом, сама она нисколько не стремилась участвовать в покушениях, бросать бомбы в царскую карету или в экипаж варшавского губернатора. В той среде польской интеллигенции, к которой принадлежала Маня, намечается вполне определенная тенденция оставить «несбыточные надежды». Довольно бесполезных сожалений! Довольно неорганизованных, стихийных выступлений за автономию! Сейчас важно одно: работать, повышать в Польше цивилизацию, поднимать народное образование в противовес царским властям, которые сознательно держали народ в духовной темноте.

Философские учения данной эпохи направили это национальное брожение умов по особому пути. В предшествующие годы позитивизм Огюста Конта и Герберта Спенсера внес новые основы в мышление Европы. Одновременно работы Пастера, Дарвина и Клода Бернара показали огромное значение

точных наук. В Варшаве, как и везде, исчезает вкус к произведениям романтиков. Искусство, культура отходят на второй план. Юношество, склонное к категорическим суждениям, сразу поставило химию и биологию выше литературы, а преклонение перед учеными пришло на смену преклонению перед писателями.

Но надо сказать, что если эти новые идеи развивались в свободных странах вполне открыто, то не так обстояло дело в Польше, где каждое проявление свободы мысли считалось подозрительным. Новые теории сюда просачивались и развивались по подземным каналам.

Вскоре после возвращения в Варшаву Маня Склодовская попадает в среду ярых поклонников позитивизма. Сильное влияние оказывает на нее учительница женской гимназии Пьясецкая, блондинка лет двадцати шести — двадцати семи, худая и своеобразно некрасивая. Влюбившись в студента Норблинема, недавно исключенного из университета за политическую неблагонадежность, она страстно увлеклась современными доктринами.

Маня первоначально отнеслась к этому слегка недоверчиво и боязливо, но вскоре прониклась смелыми идеями своей подруги. Ее с сестрами Броней и Элей и их подругой Марией Раковской допускают в так называемый «Вольный университет», в котором читались курсы анатомии, естественной истории и социологии. Их вели профессора-добровольцы, помогавшие молодежи расширять свой кругозор. Эти лекции читались тайно или у Пьясецкой, или на какой-нибудь другой частной квартире. Ученики группами по восемь—десять человек собирались вместе, слушали и записывали лекции, обменивались книгами, брошюрами, статьями. При малейшем постороннем шуме они приходили в трепет. Если бы полиция накрыла их, всем грозило бы тюремное заключение.

Сорок лет спустя Мария Кюри писала:

«Я живо помню теплую атмосферу умственного и общественного братства, которая тогда царила между нами. Возможности для наших действий были скудны, а потому и наши успехи не могли быть значительными; но все же я продолжаю верить в идеи, руководившие в то время нами, лишь они способны привести к настоящему прогрессу общества. Не усовершенствовав человеческую личность, нельзя построить лучший мир. С этой целью каждый из нас обязан работать над собой, над совершенствованием своей личности, возлагая на себя определенную часть ответственности за судьбу человечества; наш личный долг — помогать тем, кому мы можем быть наиболее полезны».

«Вольный университет» не ограничивался только пополнением образования девиц и юношей, окончивших гимназию, Сами слушатели становятся наставниками. Пьясецкая уговаривает Маню давать уроки бедным женщинам. Маня берет на себя работниц швейной мастерской, читает им книги и постепенно составляет для них библиотеку на польском языке.

Можно себе представить увлечение этой семнадцатилетней девушки своей работой! Ее детство протекало среди чудесных, обожествляемых вещей — физических приборов ее отца, и он еще до «моды» на точные науки привил Мане свою научную пытливость. Но прежний детский мир уже не удовлетворяет кипучую натуру девушки. Маня мечтает не только о математике и химии. Она мечтает изменить современный общественный порядок. Она стремится просветить народ. По своим передовым идеям, по благородству души Маня — социалистка в полном смысле слова. Однако она не примыкает к варшавской группе студентов-социалистов.

Маня еще не понимает, что ей необходимо разобраться в своих стремлениях и на чем-нибудь остановиться. Пока же с одинаковой восторженностью она отдается патриотическим чувствам, и гуманистическим идеям, и своим интеллектуальным запросам.

Несмотря на влияние новых идей, несмотря на бурную деятельность, она по-прежнему очаровательна. Хорошее, строго выдержанное воспитание, пример целомудренной семьи охраняли ее юность и не давали впадать в крайности. Восторженность и даже страстность всегда сочетались в ней с изяществом, с каким-то сдержанным достоинством. Никогда мы не заметим у нее революционной позы или подчеркнуто разнузданных манер. Самобытная, независимая Маня никогда не скажет жаргонного словца. Ей никогда не придет в голову даже закурить.

Если между часами репетиторства, занятиями с работницами мастерских и тайными лекциями по анатомии у Мани появляется свободное время, она уходит к себе в комнату, где что-то читает, что-то пишет. Ушло то время, когда она глотала пустые нелепые романы. Теперь она читает Гончарова, Достоевского или «Эмансипанток» Болеслава Пруса, где встречаются портреты молодых полек, таких же, как она, и так же стремящихся к духовной культуре. Ее тетрадка с записями для себя хорошо отражает духовную жизнь юной девушки, жадной до всего и стоящей на распутье своих разносторонних дарований: десять страниц тщательных рисунков свинцовым карандашом, иллюстрирующих басни Лафонтена: немецкие и польские стихи; отрывки из книги Макса Нордау «Ложь условности»; стихотворения Красиньского, Словацкого и Гейне;

три страницы из ренановской «Жизни Иисуса», начинающиеся словами: «Никто и никогда еще не ставил в своей жизни любовь к Человечеству так высоко над суетными, мирскими интересами, как делал это он (Иисус)...»; затем выписки из работ русских философов; отрывок из Луи Блана; страничка из Брандеса; снова рисунки животных и цветов; опять Гейне; собственные переводы на польский язык из Мюссе, Прюдома, Франсуа Коппе...

Сколько противоречий! Все дело в том, что эта «эмансипированная женщина», коротко обрезав свои чудесные белокурые волосы в знак презрения к кокетству, все же вздыхает по любви и переписывает целиком прелестное, но чуть слащавое стихотворение.

Маня скрывает от своих подруг, что ее пленяют и «Разбитая ваза», и «Прощай, Сюзан». Ей трудно признаться в этом и самой себе. Строгое платье, выражение лица, до странности ребячливое из-за коротко подстриженных кудрей, делают Маню похожей на мальчика-подростка, который бегает по собраниям, слушает доклады, спорит, выходит из себя. Своим подругам она декламирует стихотворения Асныка, вдохновленные горячей любовью к родине и ставшие «Исповедованием веры» этой молодежи:

Луч светлый Истины найдите,
Ищите новых, неизведанных путей,
Когда же взор Человечества проникнет еще дальше,
То и тогда откроется пред ним достаточно чудес.
...В каждой эпохе рождаются свои мечты
И забываются вчерашние, как сон.
Берите ж в руки светоч знания,
Творите новое в созданиях веков
И стройте будущий Дворец для будущих людей...

Маня дарит Марии Раковской фотографию, где изображены она и Броня, с надписью: «Идеальной позитивистке от двух позитивных идеалисток».

Две наши «позитивные идеалистки» целыми часами обдумывают вместе, как им устроить свою жизнь в будущем. Увы! Ни Асных, ни Брандес не давали указаний, как получить высшее образование в Варшаве с университетом, куда не допускают женщин. Не давали и советов, как быстро нажить состояние уроками за пятьдесят копеек.

Великодушная Маня огорчена. Хотя и младшая в семье, она чувствует себя ответственной за будущее старших. Юзеф

и Эля не вызывают большого беспокойства: молодой человек станет врачом, а увлекающаяся красавица Эля еще колеблется: стать ли ей учительницей или же певицей; она и поет во весь голос, и запасается дипломами, и в то же время отказывает всем претендентам на ее руку.

Но Броня! Как помочь Броне? Едва она окончила гимназию, на нее свалилось бремя хозяйственных забот. Закупая продукты для всей семьи, составляя разные меню, занимаясь заготовкой варенья, Броня стала замечательной хозяйкой, но она приходит в отчаяние от мысли быть только ею. Мане понятно состояние Брони, так как она знает ее тайную мечту: поехать в Париж, получить там медицинское образование, вернуться в Польшу и стать земским врачом. Бедняжка Броня уже скопила немного денег, но жизнь за границей так дорога! Сколько месяцев, сколько лет надо еще ждать?

Такой уж уродилась Маня, что ее все время тревожит упадок духа и явная нервозность Брони. В тревоге Маня забывает свои честолюбивые мечты. Забывает свое такое же влечение к «земле обетованной», свою заветную мечту: перенестись через тысячи километров, отделявших ее от Сорбонны, утолить самую важную потребность своей природы — жажду знания, вернуться с этим драгоценным багажом в Варшаву и стать скромной наставницей своих дорогих поляков.

Такое сердечное участие в судьбе Брони вызвано не только узами кровного родства, но и более возвышенной привязанностью в ответ на теплое чувство Брони, которая после матери окружила Маню материнскими заботами. В этой сплоченной семье обе сестры чувствовали особое влечение друг к другу. Природные свойства их душ как-то взаимно дополнялись: старшая своим практическим умом и опытностью внушала младшей уважение, и Маня выносила на ее решение все вопросы своей повседневной жизни. Младшая же, более застенчивая и увлекающаяся, была для Брони юной замечательной подругой, в которой чувство дружбы усиливалось благодарностью, каким-то неосознанным желанием оплатить свой долг.

И вот однажды, когда Броня, набрасывая на клочке бумаги цифры, в тысячный раз подсчитывала деньги, которые были у нее в наличии, а главное же, которых не хватало, Маня неожиданно говорит:

— За последнее время я много размышляла. Говорила и с отцом. И думается мне, что нашла выход.

— Выход?

Маня подходит к своей сестре. Уговорить ее на то, что задумала Маня,— дело трудное. Приходится взвешивать каждое слово.

— Сколько месяцев ты сможешь прожить в Париже на свои накопленные деньги?

— Хватит на дорогу и на один год занятий в университете,— отвечает Броня.— Но ты же знаешь, что полный курс на медицинском факультете занимает пять лет.

— Ты понимаешь, Броня, уроками по полтиннику мы никогда не выпутаемся из такого положения.

— Что же делать?

— Мы можем заключить союз. Если мы будем биться каждый за себя, ни тебе, ни мне не удастся поехать за границу. А при моем способе ты уже этой осенью, через несколько месяцев сядешь в поезд...

— Маня, ты сошла с ума!

— Нет. Сначала ты будешь жить на свои деньги. А потом я так устроюсь, что буду посылать тебе на жизнь, папа тоже. А вместе с тем я буду копить деньги и на свое учение в дальнейшем. Когда же ты станешь врачом, поеду учиться я, а ты мне будешь помогать.

На глазах Брони проступают слезы. Она понимает все величие такого предложения. Но в Маниной программе есть один неясный пункт.

— Одно мне непонятно. Неужели ты надеешься зарабатывать столько денег, чтобы и жить самой, и посылать мне, да еще копить?

— Именно так! — непринужденно отвечает Маня.— Я нашла выход. Я поступлю гувернанткой в какое-нибудь семейство. Мне будут обеспечены квартира, стол, прачка, а сверх того я буду получать в год рублей четыреста, а то и больше. Как видишь, все устраивается.

— Маня... Манечка!

Броню волнует не будущая зависимость Мани от других людей. Ей, подлинной «идеалистке», предрассудки так же чужды, как и Мане. Не это... а мысль, что Маня, давая ей возможность теперь же приступить к высшему образованию, обрекает себя на безрадостную ремесленную работу, мучительное ожидание. И Броня сопротивляется.

— А почему именно мне ехать первой? Почему не поменяться нам ролями? Ты такая способная... вероятно, способнее меня. Ты очень быстро пойдешь вперед. Почему же я?

— Ах, Броня, не строй из себя дурочку! Да потому, что тебе двадцать лет, а мне семнадцать! Потому, что ты уже целую вечность бегаешь, хлопочешь по хозяйству, а я располагаю своим временем как хочу. Да и папа того же мнения: вполне естественно, что старшая поедет первой. Когда у тебя будет практика, тогда ты осыплешь меня золотом — во всяком

случае, я так рассчитываю! Наконец-то мы сделаем что-то разумное, действительно полезное!

* * *

Сентябрьское утро 1885 года, в приемной агентства по найму сидит молоденькая девушка, дожидаясь очереди. Из двух платьев она выбрала самое скромное. На голове поношенная шляпка, булавки для волос кое-как придерживают светлые кудри, отпущенные несколько месяцев тому назад. Гувернантке, хотя бы и «позитивистке», не полагается быть стриженой. Она должна быть корректной, обыкновенной, такой, как все.

Дверь открывается. Из нее выходит худая женщина с унылым выражением лица, идет по приемной и перед выходом делает Мане прощальный жест. Это товарка Мани по профессии. Сидя рядом на плетеных стульях, единственной мебели в приемной, они успели поговорить друг с другом несколько минут и взаимно пожелать удачи.

Маня встает со стула и вдруг робеет. Машинально стискивает рукой тонкую пачку документов и каких-то писем. В соседней комнате за крошечным письменным столом сидит полная дама.

— Что вам угодно, мадемуазель?

— Место гувернантки.

— Имеете рекомендации?

— Да... Я уже давала частные уроки. Вот рекомендательные письма от родителей моих учеников. Вот аттестат.

Директриса агентства просматривает профессиональным взглядом документы Мани. Внимание директрисы на чем-то останавливается. Она поднимает голову и уже с бо́льшим интересом разглядывает молоденькую девушку.

— Вы хорошо владеете немецким, русским, французским и английским?

— Да, мадам. Английским немного хуже... Но могу преподавать все, что требуется программой казенных учебных заведений. Я кончила гимназию с золотой медалью.

— А! Какие же ваши условия?

— Полное содержание и четыреста рублей в год.

— Четыреста,— повторяет дама ничего не выражающим тоном.— Кто ваши родители?

— Мой отец учитель гимназии.

— Хорошо. Я наведу справки. Для вас у меня, возможно, и найдется кое-что. А сколько же вам лет?

— Семнадцать,— отвечает Маня, густо покраснев, но тут же с ободряющей улыбкой добавляет: — Скоро восемнадцать.

Дама безупречным «английским» почерком заносит на карточку новой кандидатки:

«Мария Склодовская. Хорошие рекомендации. Дельная. Желаемое место: гувернантка. Плата: четыреста рублей в год».

Она возвращает Мане ее бумаги.

— Благодарю, мадемуазель. Когда будет нужно, я вам напишу.

ГУВЕРНАНТКА

Маня — своей двоюродной сестре Хенрике Михайловской, 10 декабря 1885 года:

«Дорогая Хенрике, со времени нашей разлуки я веду жизнь пленницы. Как тебе известно, я взяла место в семье адвоката Б. Не пожелаю и злейшему моему врагу жить в таком аду! Мои отношения с самой Б. в конце концов сделались такими натянутыми, что я не вынесла и все ей высказала. А так как и она была в таком же восторге от меня, как я от нее, то мы отлично поняли друг друга.

Их дом принадлежит к числу тех богатых домов, где при гостях говорят по-французски — языком французских трубочистов, где по счетам платят раз в полгода, но вместе с тем бросают деньги на ветер и при этом скаредно экономят керосин для ламп.

Имеют пять человек прислуги, играют в либерализм, а на самом деле в доме царит беспросветная тупость. Приторно подслащенное злословие заливает всех, не оставляя на ближнем ни одной сухой нитки.

Здесь я постигла лучше, каков род человеческий. Я узнала, что личности, описанные в романах, существуют и в действительности, а также то, что нельзя иметь дела с людьми, испорченными своим богатством».

Картина беспощадная. Написанная человеком, чуждым злобе, она показывает, какой еще наивной была Маня и сколько оставалось в ней иллюзий. Входя наугад в польскую богатую семью, она рассчитывала там найти благодушных родителей и милых деток. Она была готова привязаться к ним, полюбить их. И какое жестокое разочарование!

Письма этой молодой гувернантки дают нам возможность косвенным путем оценить превосходство окружения родной

семьи, с которой она только что рассталась. Конечно, и в своем кругу интеллигенции Мане приходилось встречать ничтожных людей, но даже среди них она не замечала душевной низости, корыстности, отсутствия чувства чести. У себя дома ни одно грубое или дурное слово не доходило никогда до ее слуха. Семейные ссоры, злые пересуды привели бы Склодовских в ужас. Всякий раз, когда Маня сталкивается с глупостью, мелочностью, вульгарностью, мы видим, что она изумлена, возмущена.

Высокие духовные качества у спутников Маниной юности, их яркий интеллект позволяют найти ответ на одну загадку... Почему окружающие Маню не заметили в ней еще раньше ее призвания, ее особых дарований? Отчего не послали ее в Париж учиться, а допустили взять место гувернантки?

Среди исключительно одаренных личностей, рядом с тремя молодыми людьми, получившими один за другим аттестаты зрелости и золотые медали, такими же блестящими, честолюбивыми, горячими в работе, как и сама Маня, будущая Мари Кюри не казалась исключением. Другое дело в среде ограниченных людей: там большие дарования сразу дают о себе знать, вызывают удивление, толки. Здесь же растут под одной кровлей Юзеф, Броня, Эля, Маня — все наделенные большими способностями. Вот почему ни старики, ни молодежь этой семьи не разглядели в одном из молодых ее членов проявление большого, исключительного ума. Никто еще не замечает, что Маня — человек другого склада, не такой, как ее брат и сестры. Да об этом она не подозревает и сама.

Сравнивая себя со своими близкими, Маня по скромности склонна к самоуничижению. Но когда новая профессия вводит Маню в буржуазные семейства, то превосходство ее бросается в глаза. Это понимает даже сама Маня. Молодая девушка не ставит ни во что превосходство по родовитости и по богатству, но гордится своей семьей и воспитанием. В первых же оценках, какие она дает своим «хозяевам», проглядывают временами презрительное отношение к ним и невинная гордость.

Из своего первого горького опыта Маня извлекла не только философский взгляд на род человеческий и на «людей, испорченных своим богатством». Она поняла, что ее план, изложенный недавно Броне, требует серьезных изменений.

Принимая место в родном городе, Маня надеялась заработать значительную сумму денег и вместе с тем не обрекать себя на тяжкое изгнание. Для новоиспеченной гувернантки остаться здесь, в Варшаве, являлось облегчением ее тяжелого труда. Это значило жить вблизи родного очага, иметь возможность каждый день поговорить, хотя бы минутку, с отцом,

поддерживать связь с друзьями по «Вольному университету», а может быть,— кто знает? — и продолжать свое образование на вечерних курсах.

Но одна жертва влечет за собой другую, нельзя жертвовать собой наполовину. Жребий, избранный юной Маней, оказывается еще недостаточно тяжким. Она зарабатывает не столько, сколько нужно, а тратит слишком много. Полученные за уроки деньги расходятся по мелочам на ежедневные покупки, и в конце месяца остаток заработка выражается ничтожной суммой. А между тем надо быть готовой поддержать Броню, которая уехала вместе с Марией Раковской в Париж и живет в Латинском квартале очень бедно. Кроме того, близится отставка самого Склодовского. Скоро и старику понадобится помощь. Как тут быть?

Маня недолго находится в раздумье. Недели две-три назад ей предлагали хорошо оплачиваемое место в отъезд. Она принимает его. Это скачок в неизвестность. Придется на долгие годы покинуть близких, дорогих людей, жить в полном одиночестве. Но что поделаешь! Жалованье там больше, а тратить деньги в этой затерянной глуши не на что.

— Я так люблю жить на свежем воздухе! — утешает себя Маня.— Как это я не подумала об этом раньше?

О принятом решении она сообщает своей двоюродной сестре Хенрике:

«Я буду надолго лишена свободы, так как решила, после некоторых колебаний, взять место в Плоцкой губернии с оплатой пятьсот рублей в год, начиная с первого января. То самое место, которое мне предлагали не так давно и которое я упустила. Хозяева недовольны теперешней гувернанткой и хотят взять меня. Впрочем, весьма возможно, что я им не понравлюсь точно так же, как и прежняя...»

Первое января 1886 года, угрюмое морозное утро, день отъезда — одна из тяжких дат в жизни Мани. Она бодро прощается с отцом, еще раз записывает ему свой адрес: *Марии Склодовской. Господину и госпоже З. В Щуки через Пшасныш.*

Маня садится в вагон. Еще одну минуту она видит отца, успевает ему улыбнуться. И затем сразу обрушивается неведомый гнет одиночества. Одна, первый раз в жизни совсем одна!

Внезапный страх охватывает этого восемнадцатилетнего ребенка. Сидя в поезде, мчавшем ее к какому-то чужому дому, Маня трепещет от робости и страха. Что будет, если новые хозяева окажутся похожими на предыдущих? А вдруг старик Склодовский заболеет в ее отсутствие?

Десятки мучительных вопросов осаждают девушку, в то время, как, пристроившись у вагонного окошка, она смотрит при свете угасающего дня на сонные снежные долины и утирает кулачком набегающие слезы.

Три часа в вагоне, а затем еще четыре на лошадях. Муж и жена З. управляют имениями князей Чарторыйских и сами арендуют часть их владений в ста километрах к северу от Варшавы. Подъехав к дверям дома в морозной темноте, разбитая усталостью, Маня, как сквозь сон, видит высокую фигуру хозяина, бесцветное лицо его жены и устремленный на нее настойчивый взгляд детей, сгорающих от любопытства. Гувернантку встречают любезными словами и горячим чаем.

Хозяйка дома ведет Маню на второй этаж, в отведенную ей комнату, и, побеседовав несколько минут, оставляет девушку одну в обществе ее жалких чемоданов.

3 февраля 1886 года Маня пишет Хенрике:

«Вот уже месяц, как я живу у З. Время достаточное, чтобы привыкнуть к новому месту. З. — отличные люди. Со старшей дочерью, Бронкой, у меня завязались дружеские отношения, которые способствуют приятности моей здешней жизни. Что касается моей ученицы Андзи, которой исполнится скоро десять лет, то это ребенок послушный, но избалованный и взбалмошный. Но, в конце концов, нельзя же требовать совершенства!

В этой местности все бездельничают, думают только об удовольствиях, а так как семья З. держится несколько в стороне от этих хороводников, то является «притчей во языцех». Представь себе, что через неделю после моего прибытия обо мне говорили уже неодобрительно, и только потому, что я, еще не зная никого, отказалась ехать на бал в Карвач, центр всех здешних сплетен. Мне не пришлось жалеть об этом, так как мои хозяева вернулись с бала лишь в час дня; я была рада, что избежала такого испытания, да еще в то время, когда я чувствую себя далеко не совсем здоровой.

В рождественский сочельник состоялся у нас бал. Я очень развлекалась, наблюдая за гостями, достойными карандаша какого-нибудь карикатуриста.

Молодежь весьма не интересна: барышни — бессловесные гусыни, открывают рот только тогда, когда с громадными усилиями их вынуждают говорить. По-видимому, бывают и другие, более умные и развитые. Но покамест Бронка (дочь моих хозяев) представляется мне редкой жемчужиной и по своему здравому уму, и по своим взглядам на жизнь.

Я занята семь часов в день: четыре часа с Андзей, три с

Бронкой. Немножко много, но что поделаешь! Комната моя наверху, большая, тихая, приятная. Детей у З. целая куча: три сына в Варшаве (один в университете, два в пансионе); дома — Бронка (18 лет), Андзя (10 лет), трехлетний Стась и Маричка — малютка шести месяцев. Стась очень забавный. Няня сказала ему, что бог — везде; Стась с выражением некоторой тревоги на лице спрашивает: «А он меня не схватит? Не укусит?» Вообще, он потешает нас неимоверно!»

Маня прерывает свое писание, кладет перо на письменный стол, придвинутый к самому окну, и, не боясь холода, выходит на балкон. Вид, открывающийся с балкона, еще способен вызывать у нее смех! Разве не смешно, когда ты, отправляясь в одинокую усадьбу, воображаешь себе деревенский пейзаж: луга, леса,— а вместо этого, открыв впервые свое окно, видишь высокую фабричную трубу, которая лезет тебе в глаза и заволакивает небо грязной сажей, изрыгая черный столб дыма?

Кругом, на несколько километров,— ни лесочка, ни лужочка; везде — свекла и свекла, только однообразные свекловичные поля. Осенью вся эта бледная, землистая свекловица грузится на телеги, запряженные волами, и тихим ходом доставляется на сахарный завод. Только для этого завода работают крестьяне: сеют, полют и копают свеклу. Только вокруг этих тоскливых кирпичных красных зданий жмутся хаты маленькой деревни Красиничи. Даже река становится рабой завода, бежит к нему прозрачными струями, а от него уходит грязной, покрытой какой-то мутной, липкой пеной.

Сам господин З., известный агроном, знаком с новой техникой. Господин З. владеет большей частью акций этого завода. В доме З., как и в других домах, главным предметом забот и разговоров является завод.

Ни в чем нет малейшего признака чего-нибудь величественного! Даже завод, при всем своем размере,— предприятие посредственное, таких, как он, в уезде целые десятки. Само поместье Щуки небольшое: всего двести гектаров — для этих мест пустяк. Семейство З. богато, но не очень. Их дом по виду и укладу, конечно, лучше соседних ферм, однако же, при всем желании, его не назовешь замком. Вернее говоря, это старомодная дача, вроде большого барака с двускатной крышей, нависшей над тускло-белыми оштукатуренными стенами, с беседками из дикого винограда и сплошь застекленными верандами, где гуляют сквозняки.

Есть только одна уступка красоте: небольшой парк перед домом, летом, по-видимому, очень милый благодаря лужайкам, кустарнику и площадке для крокета, огражденной ровно под-

стриженными ясенями. По другую сторону, за домом, разбит фруктовый сад. За ним виднеются четыре красные крыши над амбаром, конюшнями на сорок лошадей и скотными дворами на шестьдесят коров. А дальше до самого горизонта тянутся глинистые свекловичные поля.

«Ну что ж! Я устроилась не так уж плохо! — думает Маня, затворяя окно.— Завод, конечно, не красив. Но благодаря ему эта провинциальная дыра немного оживленнее других. Все время люди то приезжают из Варшавы, то уезжают. На самом заводе есть небольшой кружок из инженеров, управляющих — людей не неприятных. Там можно брать на прочтение журналы, книги. У госпожи З. характер скверный, но женщина она не злая. Если она обращается с гувернанткой, то есть со мной, не всегда деликатно, то происходит это, несомненно, потому, что она сама — бывшая гувернантка, которой слишком рано повезло в жизни. Муж ее — очаровательный мужчина, старшая дочь — просто ангел, а остальные дети сносны. Я должна чувствовать себя счастливой!»

Согрев руки у громадной печки, занимающей целый простенок от потолка до пола, Маня опять садится писать письма, пока повелительный зов снизу: «Панна Мария!» — не возвестит сквозь дверь, что гувернантка нужна своим хозяевам.

Маленькая одинокая девушка пишет много писем, хотя бы для того, чтобы получать ответы и узнавать варшавские новости. По мере того как вялой чередой проходят недели, месяцы, Маня рассказывает близким о своей жизни, жизни наемницы, которой приходится и выполнять свои скромные обязанности, и «бывать в обществе», и принимать участие в неизбежных развлечениях.

Она пишет своему отцу, дорогой Броне, и Юзефу, и Эле. Пишет своей гимназической подруге Казе Пржиборовской, кузине Хенрике, вышедшей замуж во Львове и живущей в деревне нелюдимой «позитивисткой», поверяет ей самые значительные мысли, свои огорчения и надежды.

В письме от 5 апреля 1886 года Маня сообщает Хенрике:

«Я живу так, как обычно живут люди в моем положении. Даю уроки, немного читаю, но и это не всегда возможно, так как прибытие новых гостей все время нарушает нормальный распорядок жизни. Иногда это сильно раздражает меня, потому что Андзя принадлежит к числу тех детей, которые с восторгом пользуются любым поводом оторваться от занятий, и тогда ее уже ничем не образумишь. Сегодня мы с ней опять повздорили из-за того, что ей не захотелось вставать с постели в

обычный час. В конце концов мне пришлось взять ее за руку и стащить с кровати; я это сделала спокойно, но внутри меня все кипело. Ты не можешь себе представить, чего мне стоят такие мелочи: от одной нелепости, как эта, я делаюсь больной на несколько часов. Но я должна была настоять на своем!..

Какие разговоры в обществе? Сплетни, сплетни и еще раз сплетни. Темы обсуждений: соседи, балы, вечеринки и т. п. Если взять танцевальное искусство, то лучших танцовщиц, чем здешние девицы, еще придется поискать, и где-нибудь не близко. Они танцуют в совершенстве. Впрочем, они не плохи и как люди, есть даже умные, но воспитание не развивало их умственных способностей, а здешние бессмысленные и беспрестанные увеселения рассеяли и данный от природы ум. Что же касается молодых людей, то среди них немного милых, а еще меньше умных. Для них и для девиц такие слова, как «позитивизм», «рабочий вопрос» и тому подобное, кажутся чем-то ужасным, да и то, если предположить, в виде исключений, что кто-нибудь из них слышал их раньше. Семейство З. по сравнению с другими можно назвать культурным. Сам З.— человек старомодный, но умный, симпатичный, здравомыслящий. Его супруга — женщина неуживчивая, но, если уметь к ней подойти, она бывает милой. Меня, мне думается, она любит.

Если бы ты видела, до какой степени я веду себя примерно! Каждое воскресенье и каждый праздник хожу в костел, ни разу не сославшись на простуду или головную боль, чтобы остаться дома. Никогда не говорю о высшем образовании для женщин. Вообще в своих высказываниях соблюдаю сдержанность, требуемую тем положением, какое я занимаю в доме.

В пасхальные каникулы приеду на несколько дней в Варшаву. При одной мысли об этом вся моя душа трепещет от радости, и я с большим трудом сдерживаюсь, чтобы не закричать от счастья».

* * *

Маня напрасно пишет иронически о своем «примерном поведении». Такая смелая и своеобразная личность, как она, не может долго вести такой образ жизни. «Позитивная идеалистка» в ней остается неизменной, ей хочется теперь же быть полезной и начать борьбу.

Каждый день на грязных дорогах ей попадаются крестьянские девочки и мальчики, бедно одетые, с озорным выражением лица под шапкою волос цвета пакли, и вот у Мани зарождается план действий. Почему бы ей не осуществить, хотя бы в Щуках, в этом малюсеньком мирке, свои передовые заветные

мечты? В прошлом году она мечтала «просвещать народ». Какой прекрасный случай! В здешней деревне большинство ребят неграмотны. Тех же немногих, что ходят в школу, учат русской грамоте. Как было бы хорошо организовать для них тайные уроки польской грамоты, раскрыть юным умам красоту родного языка, родной истории!

Маня делится этой мыслью со своей старшей ученицей; Бронка тут же соглашается и обещает помогать.

Желая умерить ее пыл, Маня говорит:

— Обдумайте это хорошенько. Если донесут на нас, то нам грозит Сибирь.

Но ничто так не заразительно, как храбрость; взгляд Бронки выражает пылкую готовность и решимость. Остается получить согласие главы семейства и приступить к делу.

Маня — Хенрике, 3 августа 1886 года:

«На лето я могла бы получить отпуск, но не знала, куда ехать, поэтому осталась в Щуках. Мне не хотелось тратить деньги на поездку в Карпаты. У меня много часов занимают уроки с Андзей, чтение с Бронкой, ежедневно занимаюсь по часу с сыном здешнего рабочего, подготовляя его в школу. Кроме того, мы с Бронкой по два часа в день даем уроки крестьянским детям. У нас десять учеников, своего рода маленький класс. Учатся с большой охотой, а все-таки нам временами бывает трудно. Утешает меня то, что наши достижения мало-помалу растут, и даже очень быстро. Таким образом, дни у меня достаточно заполнены, а сверх того немного занимаюсь и собственным образованием».

В декабре 1886 года Маня пишет Хенрике:

«Число моих учеников доходит до восемнадцати. Само собою разумеется, они приходят не все вместе, иначе я не могла бы справиться, но даже и при таком порядке у меня уходит на занятия два часа в день. По средам и субботам я занимаюсь с ними дольше — часов пять без перерыва. Это возможно только потому, что моя комната на втором этаже имеет отдельный ход на черную лестницу во двор, а поскольку эта работа не мешает мне выполнять мои обязанности по отношению к хозяевам, то она никого не беспокоит. Много радости и утешения дают мне эти ребятишки...»

Таким образом, Мане недостаточно спрашивать уроки у Андзи, усаживать за чтение Бронку и не давать засыпать над учебниками Юлику, который приехал из Варшавы и поручен

Мане. Покончив с официальными обязанностями, мужественная девушка входит в свою комнату и ждет, когда на лестнице раздастся топот башмачков и шлепанье босых ножек по ступенькам, извещающие Маню о приходе ее учеников. Маня добыла простой сосновый стол и стулья. На свои деньги купила тоненькие тетрадки и ручки, такие непослушные в закоченелых пальчиках. Когда в большой, просто побеленной комнате набиралось семь-восемь ребятишек, то присутствие обеих учительниц — Мани и Бронки — оказывалось далеко не лишним, чтобы поддерживать порядок и выручать из отчаянного положения тех учеников, которые, пыхтя и тяжко вздыхая, не могли разобрать какое-нибудь трудное слово.

Эти сыновья и дочери прислуги, заводских рабочих, арендаторов не все опрятны и чисто вымыты. Некоторые невнимательны, упрямы. Но в глазах большинства светится наивное и страстное желание совершить невероятный подвиг — одолеть грамоту. И когда эта скромная цель достигнута, когда черные буквы на белой бумаге вдруг приобретают определенный смысл и деревенские ребята самодовольно торжествуют, а их неграмотные родители, которые иногда бывают на уроках, приходят в состояние восторженного изумления,— у Мани сердце сжимается от боли.

Она думает об этой неудовлетворяемой жажде знания, о дарованиях, которые, может быть, таятся в этих неотесанных созданиях, и чувствует себя такой слабой, такой беспомощной перед бездной невежества.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

Деревенские ребята и не подозревают, что панна Мария мрачно размышляет о собственном невежестве, что мечта их учительницы не учить, а самой учиться.

И когда Маня, глядя в окно, видит все те же неизменные телеги, везущие к заводу свеклу, ей тяжело думать, что в это время тысячи молодых людей в Берлине, Вене, Петербурге, Лондоне слушают лекции, доклады, работают в лабораториях, музеях и больницах! Еще тяжелее думать, что в знаменитой Сорбонне преподают биологию, математику, социологию, химию и физику!

Ни в одну страну так не влечет Марию Склодовскую, как во Францию. Добрая слава Франции ослепляет ее своим блеском. В Берлине, в Петербурге царят угнетатели Польши. Во Франции любят свободу, уважают все чувства, все мнения, там принимают несчастных и преследуемых, откуда бы они ни

появились. Возможно ли, что наконец и Маня сядет в поезд на Париж, неужели судьба дарует ей такое счастье?

Маня уже не надеется на это. Двенадцать первых месяцев в душной провинции подточили былые надежды юной девушки, тем более что при всей страстности ее ума и склонности к мечтам она чужда всяким химерам. Подводя итог, Маня ясно видит создавшееся положение, по всей видимости — безвыходное.

В Варшаве у нее отец, который очень скоро будет нуждаться в ее помощи. В Париже — Броня, которую надо поддерживать еще несколько лет, прежде чем она заработает хоть одну копейку. А сама Мария Склодовская — гувернантка в поместье Щуки. Прежний план — скопить необходимый капитал — казавшийся осуществимым, теперь вызывает у нее улыбку. План оказался по-детски наивным. Из таких мест, как Щуки, бежать трудно! Но девушка с отчаянным упорством сопротивляется самопогребению. Какой могучий инстинкт заставляет Маню садиться за свой рабочий стол, брать из заводской библиотеки и читать книги по социологии и физике, расширять свои познания в математике путем частой переписки с отцом!

Все это кажется окружающим настолько бесполезным, что Манина настойчивость вызывает удивление. Заброшенная в деревенскую усадьбу Маня осталась без руководства и советов. Почти ощупью она блуждает в лабиринте тех познаний, которые ей хочется приобрести, но устаревшие учебники дают их только в общей форме.

Временами она чувствует полный упадок духа, и в эти минуты напоминает собой некоторых своих деревенских учеников, когда они, отчаявшись постигнуть грамоту, вдруг с яростью отшвыривают азбуку. Но Маня с крестьянским же упорством продолжает свою работу.

Спустя сорок лет она напишет:

«Литература меня интересовала в такой же степени, как социология и точные науки. Но за эти несколько лет работы, когда пыталась я определить свои действительные склонности, в конце концов я избрала математику и физику.

Мои самостоятельные занятия сопровождались многими досадными затруднениями. Образование, полученное мной в гимназии, оказалось крайне недостаточным — гораздо ниже знаний, требуемых во Франции для получения степени бакалавра. Я попыталась их восполнить из книг, взятых наудачу. Такой способ был малопродуктивен. Тем не менее я привыкла самостоятельно работать и накопила некоторый объем знаний, которые впоследствии мне пригодились...»

Вот как описывает Маня Хенрике в письме из Щук свой рабочий день в декабре 1886 года:

«При всех моих обязанностях у меня бывают дни, когда я занята все время с восьми утра до половины двенадцатого, а затем с двух до половины восьмого. В перерыве — с половины двенадцатого до двух — прогулка и завтрак. После чая мы с Андзей читаем, если она в благоразумном настроении, если же нет, то болтаем или я принимаюсь за рукоделие, впрочем, я с ним не расстаюсь и на уроках. С девяти вечера я погружаюсь в свои книги и работаю, если, конечно, не помешает какое-нибудь непредвиденное обстоятельство.

Я приучила себя вставать в шесть утра, чтобы работать для себя больше, но это не всегда мне удается. В настоящее время здесь гостит очень милый старичок, крестный отец Андзи, и для развлечения его я должна была, по просьбе пани З., уговорить его, чтоб он учил меня играть в шахматы. Приходится бывать четвертым партнером и в карточной игре, а все это отрывает меня от книг.

В данное время я читаю: 1) физику Даниэля, 2) социологию Спенсера во французском переводе, 3) курс анатомии и физиологии Поля Бера в русском переводе.

Я читаю сразу несколько книг: последовательное изучение какого-нибудь одного предмета может утомить мой мозг, уже достаточно перегруженный. Когда я чувствую себя совершенно неспособной читать книгу плодотворно, я начинаю решать алгебраические и тригонометрические задачи, так как они не терпят невнимания и мобилизуют ум.

Бедняжка Броня пишет, что у нее какие-то затруднения с экзаменами, что она много работает, а состояние ее здоровья внушает опасение.

Каковы мои планы на будущее? Их нет, или, точнее, они есть, но до такой степени незатейливы и просты, что и говорить о них нет смысла: выпутаться из создавшегося положения, насколько я смогу, а если не смогу, то проститься со здешним миром — потеря невелика, а сожалеть обо мне будут так же недолго, как и о других людях.

В настоящее время никаких иных перспектив у меня нет. Кое-кто высказывает мысль, что, несмотря на все, мне надо переболеть той лихорадкой, которую зовут любовью. Но это совсем не входит в мои планы. Если когда-то у меня и были другие планы, то я их погребла, замкнула, запечатала и позабыла — тебе хорошо известно, что стены всегда оказываются крепче лбов, которые пытаются пробить их...»

* * *

Эти смутные мысли о самоубийстве, эта разочарованная, скептическая фраза о любви требуют разъяснений.

Разъяснение само по себе простое, очень тривиальное. Его можно назвать «Роман бедной молодой девушки» *. Во многих сентиментальных произведениях описываются подобные ситуации.

Все началось с того, что Маня Склодовская похорошела. В ней еще нет той одухотворенности, какая обнаружится на ее фотографиях несколько позже. Но прежняя толстощекая юница превратилась в грациозную девушку. Восхитительные волосы и кожа. Тонкие щиколотки и красивые запястья. Правда, лицо ее не отличается правильностью черт и далеко от совершенства, но обращает на себя внимание волевым складом рта и глубоко посаженными пепельно-серыми глазами, которые все же кажутся большими благодаря поразительной силе взгляда.

Когда старший сын З. Казимеж вернулся из Варшавы в Щуки, чтобы провести праздничные дни, а затем и летние каникулы в родном доме, он там застал молодую гувернантку, умевшую отлично танцевать, грести, бегать на коньках, умную, хорошо воспитанную, способную сочинять стихи так же хорошо, как править экипажем и ездить верхом,— словом, таинственную и совершенно не похожую ни на одну из знакомых ему барышень. И он влюбился в эту гувернантку. А под ее революционными доктринами таилось уязвимое сердце, и Маня тоже увлеклась очень красивым, очень милым студентом.

Ей не исполнилось еще девятнадцати. Он чуть постарше. И они стали думать о брачных узах.

Ничто, казалось, не препятствовало их браку. Правда, Маня была в Щуках только «панной Марией» — наставницей хозяйских детей, но она пользовалась всеобщим расположением: сам З. совершает с ней долгие прогулки по полям; пани З. благоволит к ней; Бронка обожает. И муж и жена оказывают ей особые знаки внимания. Несколько раз посылали приглашения погостить у них ее отцу, брату, сестрам. В день Маниного рождения преподнесли ей подарки и цветы.

Поэтому Казимеж З., не опасаясь, с уверенностью в благоприятном исходе дела спросил родителей, одобряют ли они его сватовство.

---

* По аналогии с модным тогда романом французского писателя Октава Фёйе «Роман бедного молодого человека». — *Прим. пер.*

Ответ последовал немедленно. Отец вышел из себя, мать чуть не упала в обморок. Как? Их любимый сын готов жениться на особе, не имеющей за душой ни гроша, вынужденной искать места «в людях»! Молодой человек, который может хоть завтра жениться на самой знатной, самой богатой девушке во всей округе! В своем ли он уме?

И там, где так старались показать, что считают Маню другом дома, в одну минуту возникают непреодолимые общественные перегородки. То обстоятельство, что девушка из хорошей семьи, блестяще образованна, морально безупречна,— все это ничто в сравнении с короткой фразой: «Брать в жены гувернантку неприлично».

Под действием уговоров, резкой отповеди и головомойки решительные намерения студента тают. У него слабый характер. Его пугают упреки и гнев родителей. А Маня, уязвленная пренебрежением со стороны людей, не стоящих ее, замыкается в неловкой холодности и нарочитой молчаливости. Она решила твердо, раз и навсегда, выбросить из головы мысль о личном счастье.

Но любовь имеет одно общее свойство с честолюбием: одного желания избавиться от них недостаточно.

* * *

Простой выход из положения — расстаться с семьей З. оказался для Мани невозможным. Она боялась встревожить отца. А главное, не могла себе позволить роскошь — бросить очень выгодное место. Прошло время, и от накоплений Брони остались одни воспоминания. Теперь обучение старшей сестры на медицинском факультете оплачивали Маня и отец. Каждый месяц посылает Маня своей сестре пятнадцать рублей, а иногда и двадцать — почти половину своего месячного заработка. А где найти такое же вознаграждение? В конце концов между нею и семьей З. не произошло ни прямого объяснения, ни тягостного столкновения. Было разумнее молча испить чашу унижения и остаться в Щуках, как будто ничего не произошло.

Жизнь опять течет все так же, как и раньше. Маня попрежнему дает уроки, бранит Андзю, встряхивает Юлика, который засыпает от всякой умственной работы. Продолжает занятия с крестьянскими детьми. Как и раньше, она сидит над книгами по химии, сама удивляясь своей настойчивости. Играет в шахматы, ездит на балы и гуляет на чистом воздухе.

Впоследствии она записывает:

«Зимой эти широкие равнины, когда их покрывает снег, не лишены очарования, и мы совершали далекие прогулки на

санях. Бывало так, что мы с трудом разбирались, где дорога.

— Не сбейтесь с проторенного пути! — кричу я вознице. Он отвечает: «Едем в самый раз» или «Не бойсь!» — и... перекувыркиваемся. Но от таких происшествий становилось только еще веселее.

Помню также хорошо, как в тот год, когда выпал очень глубокий снег, мы построили из снега чудесную хижину. В ней мы могли сидеть и любоваться огромной, чуть розоватой белой гладью».

Неудачная любовь, обманутые надежды на высшее образование, постоянная нужда в деньгах — все эти испытания вызывают у Мани стремление забыть о собственной судьбе, и ее мысли обращаются к семье. Не для того, чтобы пожаловаться на горечь своих чувств. Ее письма полны добрых советов и предложений. Ей хочется, чтобы ее близкие жили как можно лучше.

В письме 1886 года она пишет своему отцу:

«Раз и навсегда пусть милый папа бросит огорчаться тем, что не может помогать нам. Недопустимо, чтобы наш отец жертвовал для нас еще чем-нибудь сверх того, что он уже дал нам. Мы получили хорошее воспитание, прекрасное образование и неплохой характер. Таким образом, пусть папа не унывает: мы не пропадем. С моей стороны, я буду навек признательна своему горячо любимому отцу за то, что он сделал для меня, а сделал он неизмеримо много. Только одно меня огорчает — что мы не в состоянии ответить ему тем же. Мы можем лишь любить и почитать его, насколько это в человеческих силах...»

В письме от 9 марта 1887 года Маня пишет Юзефу:

«Мне думается, что, заняв несколько сот рублей, ты смог бы остаться в Варшаве, а не хоронить себя в провинции. Прежде всего, одно условие, милый братик,— не сердись, если я напишу в этом письме какую-нибудь глупость: вспомни наш уговор — я буду говорить тебе чистосердечно все, что думаю.

Видишь ли, милый брат, в чем дело, все сходятся на том, что врачебная практика в каком-нибудь захудалом городишке помешает твоему дальнейшему культурному росту и не даст возможности заняться научными исследованиями. Похоронив себя в провинциальной дыре, ты похоронишь и свою будущность. Без хорошей аптеки, больницы и книг ты опустишься, несмотря на лучшие намерения. Если это случится, я буду

страдать невыразимо, так как сама я потеряла всякую надежду стать кем-нибудь, и все мое честолюбие переключилось на тебя и на Броню. Пусть хоть вы двое направите свою жизнь согласно вашим стремлениям. Пусть дарования, несомненно присущие нашей семье, не пропадут зря, а проложат себе путь через кого-нибудь из вас. Чем сильнее горюю о себе самой, тем больше надеюсь на вас...

Ты, может быть, пожмешь плечами и посмеешься надо мной за это наставление. Мне необычно ни говорить, ни писать тебе в подобном тоне. Но мой совет идет из глубины моей души, я думаю об этом уже давно — с тех пор, как ты поступил на медицинский факультет.

Думаю и о том, как будет папа рад, если ты останешься около него! Тебя он любит больше всех нас! Представь себе положение, что станет с отцом, совершенно одиноким, если Эля выйдет замуж за Д., а ты уедешь из Варшавы. Он будет тосковать ужасно. А так, как предлагаю я, вы заживете вместе, и все будет превосходно! Однако же, соблюдая экономию, не забудьте оставить и для нас свободный уголок на случай нашего возвращения домой».

4 апреля 1887 года Маня пишет Хенрике (которая недавно родила мертвого ребенка):

«Как должна страдать мать, выдержав столько испытаний и все — понапрасну! Если бы можно было уверенно сказать себе с христианским смирением: «Такова воля божия, да будет воля его!» — это до некоторой степени облегчило бы страшное горе. Увы, такое утешение дано не всем. Я понимаю, что верующие люди по-своему счастливы. Но, странное дело, чем охотнее я признаю их преимущество, тем труднее мне самой проникнуться их верой, тем менее оказываюсь я способной понимать их счастье.

Прости мне эти философские рассуждения: их мне внушили твои жалобы на отсталые, консервативные убеждения в том городе, где ты живешь. Не суди их очень строго, так как политические и социальные традиции имеют своим источником традицию религиозную, и она благо, но для нас уже потерявшее свой смысл. Что касается меня, то никогда я не позволю себе намеренно разрушать в ком-нибудь веру. Пусть каждый верует по-своему — лишь бы искренне. Меня возмущает только ханжество, а оно распространено очень широко, тогда как истинную веру находишь очень редко. Ханжество я ненавижу. Но искренние религиозные чувства я уважаю, даже когда они сопряжены с духовной ограниченностью».

Маня — Юзефу, 20 мая 1887 года:

«Мне еще не известно, будет ли моя ученица Андзя держать экзамен, но я заранее беспокоюсь. Ее внимание и память так ненадежны! То же самое и с Юликом. Учить их все равно, что строить на песке: усвоив что-нибудь сегодня, они сейчас же забывают то, чему их учили накануне. Временами это становится какой-то пыткой. Я очень боюсь за самое себя: мне кажется, что я ужасно отупела — время бежит так быстро, а я не чувствую заметного продвижения вперед. Из-за обеден в богородицыны праздники мне пришлось прервать даже уроки деревенским детям.

А между тем для моего спокойствия надо не так уж много: мне бы хотелось только одного — чувствовать, что я приношу пользу...»

Несколько дальше по поводу несостоявшегося брака Эли Маня пишет:

«Представляю себе, как должно страдать самолюбие Эли. Нечего сказать, хорошенькое мнение составляешь себе о людях! Если они не желают жениться на бедных девушках, пусть идут к черту! Никто не требует от них женитьбы. Но к чему вдобавок оскорблять, зачем смущать покой невинной девушки?

...Как бы хотелось узнать что-нибудь утешительное, по крайней мере о тебе! Я часто задаю себе вопрос, как идут твои дела, не сожалеешь ли о том, что остался в Варшаве. Собственно говоря, мне не следовало бы расстраиваться из-за этого, так как ты наверняка устроишься: я твердо верю в это. С «бабами» всегда больше неприятностей, но, даже относительно себя, я все-таки надеюсь, что не исчезну совсем бесследно в небытии...»

10 декабря 1887 года Маня пишет Хенрике:

«Не верь слухам о моем замужестве — они лишены основания. Такая сплетня распространилась по всей округе и дошла даже до Варшавы. Хотя я в этом неповинна, но не люблю всяких неприятных разговоров.

Мои планы на будущее самые скромные: мечтаю иметь свой угол и жить там вместе с папой. Бедняжка папа очень нуждается во мне, ему хотелось бы видеть меня дома, и он скучает без меня. Я же отдала бы половину жизни за то, чтобы вернуть себе независимость и иметь свой угол.

Как только представится возможность, я расстанусь со Шуками, что, впрочем, может произойти лишь через некоторое время; тогда я обоснуюсь в Варшаве, возьму место учительницы в каком-нибудь пансионе, а дополнительные средства буду зарабатывать частными уроками. Вот все, чего желаю. Жизнь не стоит того, чтобы так много заботиться о ней».

24 января 1888 года Маня пишет Броне:

«Я потрясена романом Ожешко «Над Неманом». Эта книга преследует меня, я не нахожу себе места. В ней все наши мечты, все страстные беседы, от которых пылали наши щеки. Я плакала так, как плакала в три года. Отчего, отчего рассеялись эти мечты? Я льстила себя надеждой трудиться для народа, вместе с ним, и что же? Я еле-еле научила читать какой-нибудь десяток деревенских ребятишек. А пробудить в них сознание самих себя, их роли в обществе, об этом не может быть и речи. Ах, боже мой! Как это тяжело... Я чувствую себя такой ничтожной, такой никчемной. И когда вдруг нечто совершенно неожиданное, как чтение этого романа, вырывает меня из удушливого существования, я так страдаю».

Маня — Юзефу, 18 марта 1888 года:

«Милый Юзик, наклеиваю на это письмо последнюю оставшуюся у меня марку, а так как у меня нет буквально ни копейки (да, ни одной!), то, вероятно, я вам не напишу до пасхальных праздников, разве что какая-нибудь марка случайно попадет мне в руки.

Цель моего письма — поздравить тебя с днем ангела, но если я опоздала, то поверь, что это вызвано только отсутствием у меня денег и марок, а просить их у других я еще не научилась.

Милый мой Юзик, если бы ты только знал, как я мечтаю, как мне хочется приехать на несколько дней в Варшаву! Я уже не говорю о моих совершенно износившихся и требующих поправки платьях... Но износилась и моя душа. Ах, только бы избавиться на несколько дней от этой холодной, замораживающей атмосферы, от критики, от необходимости все время следить за тем, что говоришь, за выражением своего лица и за своими жестами; мне нужен этот отдых, как купание в знойный день. Да есть много и других причин желать перемены моего местопребывания.

Броня не пишет мне уже давно. Наверно, и у нее нет марки. Если ты можешь пожертвовать одной маркой для меня, то напиши, пожалуйста. Только пиши подробно и обстоятельно обо всем, что делается у нас в доме, а то в письмах папы и Эли

одни жалобы, и я спрашиваю себя, все ли действительно так плохо, я мучаюсь, и эти волнения за них присоединяются к многим моим здешним неприятностям, о которых я могла бы рассказать тебе, но не хочу. Если бы не мысль о Броне, я бы немедленно ушла от З., несмотря на такую хорошую оплату и стала бы искать другого места...»

25 октября 1888 года Маня пишет своей подруге Казе, известившей о своей помолвке и пригласившей Маню приехать к ней на несколько дней:

«Все, что ты сообщишь мне о себе, не покажется мне ни лишним, ни смешным. Разве может твоя названая сестра не принять к сердцу все, что касается тебя, и так, как если бы речь шла о ней самой?

Что касается меня лично, я очень весела, но весьма часто под веселым смехом скрываю полное отсутствие веселья. Этому я научилась, как только поняла, что люди так же остро реагирующие на каждый пустяк, как и я, и неспособные изменить эту врожденную особенность, должны скрывать ее возможно больше. Ты думаешь, что это действует, чему-то помогает? Нисколько. Чаще всего живость моего характера берет верх, я увлекаюсь, и тогда, тогда говорю то, о чем приходится потом сожалеть, да и более горячо, чем следовало бы.

Мое письмо немножко горько, Казя. Что поделаешь? По твоим словам, ты провела самую счастливую неделю в своей жизни, а я за летние каникулы пережила несколько таких недель, каких тебе не знать вовек. Тяжелые бывали дни, и лишь одно смягчает воспоминание о них — это то, что я вышла из положения с честью, с поднятой головой... (как видишь, я еще не отказалась от той манеры держать себя, которая возбуждала ненависть ко мне мадемуазель Мейер).

Ты скажешь, Казя, что я становлюсь сентиментальной. Не бойся, этого не произойдет, это не в моем характере, но за последнее время я стала очень нервной. Есть люди, весьма склонные к нервозности. Однако это не помешает мне явиться к вам веселой и свободной, как никогда. Сколько найдется нам рассказать друг другу! Я привезу замочки для наших уст, иначе мы будем ложиться спать только на рассвете! А угостит ли нас твоя мама, как раньше, сиропом и шоколадом-глясce?»

В октябре 1888 года Маня пишет Юзефу:

«С грустью смотрю на календарь: близится день, который потребует от меня пять марок, не считая почтовой бумаги. Значит, скоро я не смогу вам написать ни слова!

Представь себе, я занимаюсь химией по книге! Ты понимаешь, как мало толку от этого, но что же делать, раз у меня нет возможности заниматься практически и ставить опыты. Броня прислала мне из Парижа альбомчик, очень изящный».

Маня — Хенрике, 25 ноября 1888 года:

«У меня мрачное настроение из-за того, что каждый день дует ужасный западный ветер, сопровождаемый дождем, наводнениями и грязью. Сегодня небо милостивее, но ветер воет в трубах. Никаких признаков мороза, и коньки печально висят в шкафу. Тебе, конечно, непонятно, что в нашей провинциальной дыре мороз с его положительными следствиями имеет для нас не меньшее значение, чем спор между консерваторами и радикалами у вас в Галиции...

Не делай заключения из этого, что твои рассказы могут мне надоесть. Наоборот, мне доставляет истинное удовольствие знать, что существуют такие места, где люди движутся и даже мыслят. Ты-то живешь в центре движения, а моя жизнь похожа на существование какой-нибудь из тех улиток, которые часто попадаются в загрязненных водах нашей реки. К счастью, у меня есть надежда скоро выбраться отсюда.

Когда мы свидимся, мне будет интересно узнать твое мнение: к худшему или к лучшему повлияли на меня эти годы, проведенные среди чужих людей. Все уверяют, что за время моего пребывания в Щуках я сильно изменилась физически и духовно. Это не удивительно. Когда я приехала сюда, мне только что исполнилось восемнадцать лет, а сколько я пережила! Бывали минуты, которые, наверно, так и останутся самыми тяжелыми в моей жизни. Я на все реагирую очень остро, болезненно, потом я встряхиваю себя, моя крепкая натура берет верх, и мне кажется, что я избавилась от какого-то кошмара... Основное правило: не давать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам.

Я считаю часы и дни, оставшиеся до праздников, до моего отъезда к родным. Жажда новых впечатлений, перемены, настоящей жизни, движения охватывает меня с такой силой, что я готова наделать величайших глупостей, лишь бы моя жизнь не осталась навсегда такой, как есть. На мое счастье, у меня столько работы, что эти приступы бывают у меня редко.

Это последний год моего пребывания здесь. И тем больше надо прилагать труда, чтобы экзамены у доверенных мне детей прошли благополучно...»

ПОБЕГ

Прошло три года с того времени, как Мария стала гувернанткой. Три года однообразного существования, тяжелого труда, безденежья, редких радостей и частых огорчений. Но вот едва заметные толчки с разных сторон всколыхнули трагический застой в жизни девушки. Казалось бы, совсем незначительные события в Париже, Варшаве и в самих Щуках перетасовывают карты в той игре, от которой зависит и судьба Мани.

Старик Склодовский, уйдя в отставку с казенной службы, стал искать доходного места. Ему хочется помочь дочерям. В апреле 1888 года он получает трудную и неблагодарную должность директора исправительного приюта для малолетних преступников. Дух заведения, все окружение неприятны. Но здесь сравнительно высокое жалованье, благодаря которому этот прекрасный человек может ежемесячно посылать Броне все деньги, необходимые для продолжения ее учения.

Броня сообщает об этом прежде всего Мане и просит не высылать ей больше денег. Во-вторых, Броня просит отца удерживать из сорока рублей, определенных ей, восемь, чтобы мало-помалу возместить полученное от младшей сестры. С этого времени капитал Мани, равнявшийся нулю, начинает возрастать.

В письмах парижской студентки есть и другие новости. Она работает. С успехом держит экзамены и влюблена! Влюблена в поляка Казимежа Длусского, товарища по медицинскому факультету, замечательного по своему обаянию и душевным качествам; одно портит дело: ему запрещен въезд в Польшу под страхом высылки на поселение.

В 1889 году наступает конец пребыванию Мани в Щуках. После праздника Иоанна Богослова она будет не нужна семейству З. Надо искать другое место. Она уже имеет на примете место гувернантки в семействе Ф., крупных заводчиков, живущих в Варшаве. Наконец-то наступит перемена, перемена, которой так сильно желала Маня!

13 марта 1889 года Маня пишет Казе:

«Через пять недель настанет пасха. Очень важная для меня дата, потому что к этому времени решится моя участь. Кроме места у Ф. мне предлагают и другое. Я колеблюсь в выборе и не знаю, как поступить... Думаю только о пасхе. Голова пылает от всяческих проектов. Не знаю, что со мной будет! Твоя Маня останется до конца жизни зажженной спичкой на куче хвороста...»

Прощайте, Щуки и свекловичные поля! Милые улыбки с той и с другой стороны, пожалуй, чрезмерно милые, и Мария Склодовская расстается с семейством З. Свободной она возвращается в Варшаву и с наслаждением вдыхает воздух родного города... Но вот она снова в поезде. Маня едет на балтийский пляж, в курорт Сопот, где сейчас проводят время ее новые хозяева.

Из Сопота Маня пишет Казе, 14 июля 1889 года:

«Путешествие мое прошло благополучно, вопреки трагическим предчувствиям... Никто меня не обокрал, даже не пытался, и я не перепутала ни одной из пяти пересадок и съела все сардельки, не могла прикончить только булочки и карамельки.

В дороге нашлись доброжелательные покровители, которые мне помогали во всех моих заботах. Опасаясь, что в порыве своей любезности они съедят мои припасы, я не показывала им сарделек.

Муж и жена Ф. ждали меня на вокзале. Они очень милы, и я сразу привязалась к их детям. Значит, все будет хорошо, да это и необходимо!»

В «Шульц-отеле» этого летнего курорта, где, как пишет Маня, встречаешь все те же лица, где говорят только о тряпках и других вещах, таких же неинтересных, жизнь не очень привлекательна:

«Погода холодная, все сидят дома: пани Ф., ее муж и ее мать; и у всех такое настроение, что я охотно провалилась бы сквозь землю!..»

Но вскоре и родители, и дети, и гувернантка возвращаются в Варшаву.

Предстоящий год обещает быть сравнительно приятной передышкой в жизни Мани. Пани Ф. очень красива, элегантна и богата. Носит дорогие меха и драгоценности. В ее платяных шкафах висят платья от Ворта; гостиную украшает портрет пани Ф. в вечернем туалете. За время своего пребывания у Ф. Маня знакомится с очаровательными безделушками, какие сама она никогда не будет иметь.

Первая и последняя встреча с роскошью! Встреча — ласковая благодаря расположению пани Ф., которая, будучи очарована «замечательной панной Склодовской», поет ей хвалу и требует ее присутствия на всех приемах и балах...

Вдруг гром среди ясного неба: однажды утром почтальон приносит письмо из Парижа. В этом невзрачном письме, на чет-

вертушке писчей бумаги, написанном в университетской аудитории между двумя лекциями, благодарная Броня предлагает Мане пристанище на будущий учебный год у себя, в своей новой супружеской квартире!

Броня — Мане, март 1890 год:

«...Если все пойдет, как мы надеемся, я летом, наверно, выйду замуж. Мой жених уже получит звание врача, а мне придется лишь сдать последние экзамены. Мы останемся в Париже еще на год, за это время я сдам выпускной экзамен, а затем мы вернемся в Польшу. В нашем плане я не нахожу ничего неразумного. Скажи, разве я не права? Вспомни, что мне двадцать четыре года,— это неважно, но ему тридцать четыре, это уже важнее. Было бы нелепо ждать еще дольше!

...А теперь относительно тебя, Манюша: надо, чтобы наконец и ты как-то устроила свою жизнь. Если ты скопишь за этот год несколько сот рублей, то в следующем году сможешь приехать в Париж и остановиться у нас, где найдешь и кров, и стол. Несколько сот рублей совершенно необходимы, чтобы записаться на лекции в Сорбонне. Первый год ты проживешь с нами. На второй же и третий год, когда нас не будет в Париже, божусь, что отец тебе поможет, хотя бы против был сам черт.

Тебе необходимо поступить именно так: слишком долго ты все откладываешь! Ручаюсь, что через два года ты будешь уже лиценциатом. Подумай об этом, копи деньги, прячь их в надежном месте и не давай взаймы. Может быть, лучше всего обратить их теперь же в франки, пока обменный курс рубля хорош, позже он может упасть...»

Казалось бы, Маня придет в восторг и ответит, что она вне себя от счастья и приедет. Ничего подобного! Годы изгнания развили в ней болезненную совестливость. Демон жертвенности делал ее способной сознательно отказаться от своей будущности. Так как она пообещала своему отцу жить вместе с ним, так как она хочет помогать сестре Эле и брату Юзефу, то решает не уезжать. Вот ее ответ на предложение Брони.

Маня — Броне, 12 марта 1890 года (из Варшавы):

«Милая Броня, я была, есть и останусь дурой до конца жизни, или, говоря современным языком, мне не везло, не везет и никогда не повезет.

Я мечтала о Париже, как об искуплении, но уже давно рассталась с надеждой туда поехать. И вот теперь, когда мне предоставляется эта возможность, я уже не знаю, как мне быть... Говорить об этом с папой я боюсь: мне думается, что наш план — жить будущий год вместе — пришелся ему по душе; папа хочет этого, а мне хотелось бы дать ему на старости крупицу счастья. Но, с другой стороны, у меня разрывается сердце, когда подумаю о своих загубленных способностях, а ведь они чего-нибудь да стоят. К тому же я обещала Эле употребить все свои усилия, чтобы вернуть ее домой и найти ей какое-нибудь место в Варшаве. Ты не можешь представить, как мне больно за нее! Она всегда будет «меньшой» в нашей семье, и я сознаю свой долг опекать ее — бедняжка так нуждается в заботе!

Что до тебя, Броня, то прошу, займись со свойственной тебе энергией делами Юзефа и, если тебе кажется, что роль просительницы перед пани С. не в твоем духе, переломи себя. Ведь и в Евангелии сказано: «Стучитесь, и отворят вам». Даже если тебе придется немного поступиться самолюбием — что ж из этого? В просьбе от души нет ничего обидного. Как написала бы такое письмо я? Надо объяснить этой даме, что дело идет не о какой-нибудь крупной сумме, а лишь о нескольких сотнях рублей, чтобы Юзеф мог остаться в Варшаве, здесь учиться и проходить практику, что от этого зависит его будущее, а без такой помощи его отличные способности зачахнут... Все это, милая Бронечка, надо расписать подробно, а если ты попросишь просто одолжить денег, она не примет близко к сердцу судьбу Юзефа: таким способом не добьешься ничего. Даже если тебе покажется, что ты навязчива, разве это важно? Пусть будет так, лишь бы достичь цели! Кроме того, разве это такая большая просьба? Разве люди не бывают, и очень часто, более навязчивыми? С этой подмогой Юзеф может стать полезным обществу, а уехав в провинцию, погибнет.

Я надоедаю тебе с Элей, с Юзефом, с папой и с моим неудачным будущим. На душе моей так мрачно, так грустно, и я чувствую себя виновной в том, что своими разговорами обо всем этом отравляю твое счастье. Из всех нас лишь одна ты нашла то, что называется удачей. Прости меня, но, видишь ли, меня огорчает столько всяких обстоятельств, что я не в состоянии закончить письмо весело.

Целую тебя нежно. В следующий раз напишу подробнее и веселее, но сегодня я чувствую себя особенно плохо в этом мире. Думай обо мне с чувством нежности, быть может, оно дойдет до меня сюда».

Броня настаивает, спорит. К несчастью, у нее нет решающего довода: она так бедна, что не может оплатить дорогу младшей сестре и посадить ее насильно в поезд. В конце концов было решено, что Маня выполнит свои обязательства перед пани Ф. и останется в Варшаве еще на год. Она будет жить с отцом и пополнит свои сбережения уроками. А затем она уедет...

Наконец-то Маня попадает в желанную атмосферу: собственная квартира, присутствие старого учителя Склодовского, интересные разговоры, которые будят ум. «Вольный университет» вновь открывает перед ней свои таинственные двери. И радость, ни с чем не сравнимая, событие первостепенной важности: Маня впервые проникает в лабораторию!

Лаборатория помещалась в доме № 66 на улице Краковске пшедмесьце, где в глубине двора с клумбами лилий стоял маленький флигель с крошечными окнами. Здесь один родственник Мани управляет учреждением, носящим пышное название: «Музей промышленности и сельского хозяйства». Это нарочито расплывчатое и претенциозное наименование служит вывеской, предназначенной для властей. Музей не вызывает подозрений. А за его дверьми ничто не мешает давать научные знания юным полякам...

Впоследствии Мария Кюри писала:

«У меня было мало времени для работы в лаборатории. Я могла ходить туда главным образом по вечерам — после обеда или по воскресеньям — и оказывалась предоставленной самой себе. Я старалась воспроизводить опыты, указанные в руководствах по физике и химии, но результаты получались иногда неожиданные. Время от времени меня подбадривал, хотя и небольшой, но непредвиденный успех, в других же случаях я приходила в полное отчаяние из-за несчастных происшествий и неудач по причине моей неопытности. А в общем, постигнув на горьком опыте, что успех в этих областях науки дается не быстро и не легко, я развила в себе за время этих первых опытов любовь к экспериментальным исследованиям».

Поздно ночью, покинув с грустью электрометры, колбы, весы, Маня возвращается домой, раздевается и ложится на узенький диван. Но спать не может. Какое-то радостное воодушевление, совершенно отличное от всех знакомых ей восторгов, приводит ее в трепет и не дает спать. Настоящее призвание, так долго не проявлявшее себя, вдруг вспыхнуло и заставило повиноваться своему тайному велению. Девушка сразу делает-

ся возбужденной, словно одержимой чем-то. Когда она приходит в «Музей промышленности и сельского хозяйства» и берется своими красивыми руками за пробирки, магически оживают детские воспоминания о физических приборах ее отца, которые бездейственно стояли в витрине и вызывали у ребенка желание ими поиграть. Теперь она связала эту оборванную нить своей жизни.

Ночами она бывает лихорадочно возбуждена, а днем как будто спокойна. Маня скрывает от родных, что ей безумно не терпится уехать. Пусть в эти последние месяцы отец чувствует себя вполне счастливым. Она хлопочет о женитьбе своего брата, приискивает место для Эли. Может быть, и другая, более эгоистичная забота препятствует Мане точно установить время своего отъезда: ей кажется, что она еще любит Казимежа З. И, несмотря на властную тягу в Париж, она не без душевной боли представляет себе это самоизгнание на долгие годы.

В сентябре 1891 года, когда Маня отдыхает в Закопане среди Карпатских гор, где она должна была встретиться с Казимежом З., старик Склодовский так излагает Броне положение вещей:

«Маня еще побудет в Закопане. Она вернется только числа 13-го, из-за кашля и гриппа, а, по заключению местного врача, это может затянуться на всю зиму, если она не избавится от них теперь же. Плутовка и сама виновата в своей болезни, так как всегда насмехается над всякими предосторожностями и не считает нужным одеваться соответственно погоде.

Она мне пишет, что находится в мрачном настроении; боюсь, что ее подтачивают огорчения и неопределенность положения. Мысли о своем будущем она пока скрывает, но поговорит со мной подробно только после возвращения домой. Правду говоря, я хорошо представляю себе, в чем тут дело, но не знаю, надо ли радоваться или тревожиться. Если мои предположения верны, то Маню ждут все те же огорчения со стороны все тех же лиц, которые и раньше их причиняли ей. Тем не менее, когда вопрос идет о том, чтобы создать себе жизнь по душе, и о счастье двух людей, то, может быть, и стоит преодолеть возникшие препятствия. Впрочем, я ничего не знаю!

Твое приглашение Мане приехать в Париж, свалившись ей на голову так неожиданно, взбудоражило ее и привело в еще большее замешательство. Я чувствую, как сильно ее тянет к этому источнику знаний, и знаю, что она непрестанно думает о нем. Но для этого теперешние обстоятельства не так благоприятны, в особенности, если Маня вернется не вполне здоровой, а тогда я воспротивлюсь ее отъезду, учитывая те жесто-

кие условия жизни, которые ждут ее зимой в Париже. Я не говорю уж о всем другом и не считаюсь с тем обстоятельством, что мне будет очень тяжело расстаться с ней, поскольку это дело второстепенное. Вчера я написал ей письмо и постарался ободрить. Если она останется в Париже и даже не найдет уроков, то на год у меня хватит куска хлеба и для нее, и для себя.

С большой радостью узнал, что твой Казимеж ведет себя молодцом. Было бы очень своеобразно, если бы Вы обе приобрели себе по Казимежу!..»

Милый Склодовский! В глубине своей души он не очень хотел, чтобы его любимица Манюша отправилась бродить по свету наугад. У него было смутное желание чего-то, что удержало бы ее в Польше: хотя бы и брак с Казимежом З.

Но в Закопане во время прогулки в горах у молодой пары произошло решающее объяснение. Когда Казимеж в сотый раз стал поверять Мане свои колебания и опасения, Маня вышла из себя и произнесла фразу, порвавшую все:

— Если вы сами не находите возможности прояснить наше положение, то не мне учить вас этому.

В течение этой длительной идиллии, впрочем довольно прохладной, Маня показала себя, как выразился потом старик Склодовский, «гордой и надменной».

Девушка оборвала ту непрочную нить, которая ее еще удерживала. Теперь она дает волю своему нетерпеливому стремлению. Дает себе отчет в тяжело прожитых годах, в своем бесконечном долготерпении. Вот уже восемь лет, как она окончила гимназию, из них шесть она была гувернанткой. Это уже не та молоденькая девушка, у которой вся жизнь еще впереди. Через несколько недель ей двадцать четыре года!

И Маня призывает на помощь Броню. В письме от 23 сентября 1891 года она пишет:

«Теперь, Броня, мне нужен твой окончательный ответ. Решай, можешь ли ты действительно приютить меня, так как я готова выехать. Деньги на расходы у меня есть. Напиши мне, можешь ли ты, не очень обременяя себя, прокормить меня. Это было бы для меня большое счастье, которое укрепило бы меня нравственно после всего, что я пережила за это лето и что будет иметь влияние на всю мою жизнь, но, с другой стороны, я не хочу навязывать себя тебе.

Так как ты ждешь ребенка, я, может быть, окажусь и вам полезной. Во всяком случае, пиши, как обстоит дело. Если мое

прибытие возможно, то сообщи, какие вступительные экзамены мне предстоит держать и какой самый поздний срок записи в студенты.

Возможность моего отъезда так меня волнует, что я не в состоянии говорить о чем-нибудь другом, пока не получу твоего ответа. Умоляю тебя ответить мне немедленно и шлю вам обоим нежный привет.

Вы можете поместить меня где угодно, так, чтобы я вас не обременила; со своей стороны обещаю ничем не надоедать и не вносить никакого беспорядка. Прошу тебя, отвечай, но вполне откровенно!»

* * *

Если Броня не ответила телеграммой то только потому, что телеграмма — слишком большая роскошь. Если Маня не вскочила в первый же поезд, то только потому, что надо было как можно экономнее организовать это большое путешествие. Она раскладывает на столе накопленные рубли, к которым отец добавил небольшую, но очень пригодившуюся сумму. Начались подсчеты.

Столько-то на паспорт. Столько-то на проезд по железной дороге... Нельзя быть расточительной и брать билет от Варшавы до Парижа в третьем классе, самом дешевом в России и во Франции. Слава богу, на германских дорогах существует и четвертый класс без отделений, почти такой же голый, как товарные вагоны. По всем четырем стенкам тянется скамья, а посреди можно поставить складной стул и устроиться не так уж плохо!

Не забыть советов практичной Брони: взять из дому все необходимое для жизни, чтобы не делать в Париже непредвиденных затрат. Манин матрац, постельное белье, полотенца надо отправить заранее малой скоростью. Ее белье, ботинки, платья и две шляпки уже сложены на диване, а рядом с ним зияет откинутой крышкой единственное роскошное приобретение — пузатый, деревянный, коричневого цвета чемодан, весьма деревенский с виду, но зато прочный, и Маня любовно выводит на нем черной краской большие буквы: «М. С.» — свои инициалы.

Матрац уехал, чемодан сдан в багаж, у путешественницы остаются на руках пакет с питанием на три дня дороги, складной стул для германского вагона, книги, пакетик с карамелью и одеяло. Разместив свою поклажу в сетке и заняв место на узенькой жесткой скамейке, Маня выходит на платформу.

Ее серые глаза сверкают сегодня особым лихорадочным блеском.

В порыве трогательного чувства и вновь нахлынувших угрызений совести Маня обнимает отца, награждает его словами нежными и робкими, как будто извиняясь:

— Я еду ненадолго... года на два, на три — не больше! Как только я закончу свое образование, сдам экзамены, я вернусь, мы снова заживем вместе и не расстанемся уже больше никогда... Правда?

— Да, Манюшенька,— шепчет учитель охрипшим голосом, сжимая дочь в объятиях.— Возвращайся поскорее, учись хорошо. Желаю тебе успеха!

* * *

Прорезая ночь свистками и железным грохотом, поезд несется по Германии.

Скорчившись на складном стуле в вагоне четвертого класса, укутав ноги и время от времени старательно пересчитывая прижатые к себе пакеты, Маня раздумывает о прошлом, о своем таком долгожданном и феерическом отъезде. Старается представить себе будущее. Ей думается, что она скоро вернется в родной город и станет скромной учительницей. Как далека — о, как бесконечно далека она от мысли, что, сев в этот поезд, она уже сделала свой выбор между тьмой и светом, между ничтожеством серых будней и вечной славой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПАРИЖ

Проезжая от улицы Ля Вийет до Сорбонны, видишь не очень красивые кварталы, да и самый переезд не отличается ни скоростью, ни удобством. От Немецкой улицы, где живет Броня с мужем, до Восточного вокзала ходит запряженный тройкой лошадей омнибус в два этажа с винтовой лесенкой, ведущей на головокружительный империал. От Восточного вокзала до Университетской надо ехать другим омнибусом.

Само собой разумеется, что именно на этот незащищенный от превратностей погоды империал и карабкается Маня, зажав под мышкой старый кожаный портфель, уже бывавший в «Вольном университете».

Усевшись на этой подвижной обсерватории, девушка с застывшими от зимнего ветра щеками перегибается и жадно смотрит по сторонам. Что ей и серое однообразие бесконечной улицы Лафайет, и мрачный ряд магазинов на Севастопольском бульваре? Ведь эти лавочки, эти вязы, эта толпа и даже эта пыль — все это для нее Париж... Наконец-то Париж!

Каким молодым чувствуешь себя в Париже, каким сильным, бодрым, преисполненным больших надежд! А для молодой польки какое чудесное ощущение личной свободы!

Уже в тот момент, как Маня, утомленная дорогой, сошла с поезда в закопченном пролете Северного вокзала, сразу развернулись ее плечи, сво-

боднее забилось сердце и задышала грудь. Только теперь она вдохнула воздух свободной страны. В порыве восторга ей все кажется чудесным. Чудесно, что гуляющие по тротуарам бездельники болтают о чем вздумается, чудесно, что в книжных лавках свободно продаются произведения печати всего мира. А еще чудеснее, что эти прямые улицы ведут ее, Маню Склодовскую, к широко раскрытым дверям университета. Да еще какого университета! Самого знаменитого, что в течение веков описывается как «конспект Вселенной», о котором Лютер говорил: «Самая знаменитая и наилучшая школа — в Париже, а зовут ее Сорбонна!»

Ее приезд похож на сказку, а ленивый, тряский, промерзший омнибус — на волшебную карету, в которой нищая белокурая принцесса едет из своего скромного жилища в созданный ее мечтой дворец.

Карета переезжает Сену, и все вокруг восхищает Маню: два рукава реки, подернутые дымкой, острова, величественные памятники и площади, башни Нотр-Дама. Взбираясь по бульвару Сен-Мишель, омнибус замедляет ход. Наконец! Приехали! Новоиспеченная студентка хватает портфель и подбирает тяжелую шерстяную юбку. В спешке нечаянно толкает соседку. Робко извиняется на неуверенном французском языке. Сбежав по ступенькам омнибуса и очутившись на улице, Маня с напряженным выражением лица спешит к ограде Сорбонны.

Этот дворец науки имел в 1891 году своеобразный вид. Уже шесть лет, как его все перестраивают, и здание Сорбонны стало похоже на какого-то громадного удава, готовящегося сбросить старую кожу. Позади нового, чисто-белого фасада стоят обветшалые здания времени Ришелье, а рядом высятся леса, где еще слышится стук молотков. Эта строительная передряга вносит в учебный процесс живописный беспорядок. По мере продвижения строительных работ и лекции читаются то в одной аудитории, то в другой. Лаборатории пришлось разместить временно в зданиях по улице Сент-Жак.

Но разве все это так важно, если и в этом году, по примеру прежних лет, на стене рядом с комнаткой швейцара белеет проспект:

Французская Республика.
Факультет естествознания — первый семестр.
Начало лекций в Сорбонне
3 ноября 1891 года...

Слова волшебные, слова влекущие!..

На свои маленькие сбережения Маня имеет право выбрать

то, что ей нравится из многочисленных лекций, значащихся в сложном расписании. У нее свое собственное место в «химической», где она может не наобум, а, пользуясь руководством и советами, с помощью нужной аппаратуры успешно ставить простые опыты. Маня — студентка (какое это счастье!) факультета естествознания.

Она уже не Маня и даже не Мария, свой студенческий билет она подписывает по-французски: *Мари Склодовска*. Но так как ее товарищи по факультету не способны произнести такое варварское сочетание согласных, как «Склодовска», а полька никому не разрешает звать ее просто Мари, то она окутана какой-то тайной. Встречая в гулких галереях эту девушку, одетую скромно, но изящно, с суровым выражением лица под шапкой пепельных мягких волос, молодые люди удивленно оборачиваются и спрашивают: «Кто это?». Если ответ и следует, то неопределенный: «Какая-то иностранка... У нее немыслимо трудная фамилия!.. На лекциях по физике и математике сидит всегда в первом ряду... Девица не из разговорчивых...»

Юноши провожают глазами силуэт ее грациозной фигуры, пока она не исчезнет за углом какого-нибудь коридора, и в заключение говорят: «А волосы красивые!»

Пепельные волосы и небольшая головка славянки еще надолго останутся среди сорбоннских студентов единственной приметой национальной принадлежности этой дикарки.

В настоящее время меньше всего ее интересуют молодые люди. Она всецело увлечена несколькими серьезными мужчинами, которых зовут «профессорами», стремится выведать их тайны. Следуя почтенному обычаю тех времен, они читают лекции в белых галстуках и черных фраках, вечно испачканных мелом. Вся жизнь Мари проходит в созерцании торжественных фраков и седых бород.

Позавчера читал лекцию, хорошо построенную, строго логичную, профессор Липпманн. А вчера Мари слушала профессора Бути с обезьяньей головой, таящей в себе целый кладезь науки. Мари хотелось бы слушать все лекции, познакомиться со всеми двадцатью тремя профессорами, поименованными в белом проспекте курсов. Ей кажется, что утолить всю свою жажду знаний она не сможет никогда.

Непредвиденные трудности встают перед Мари в первые же недели ее студенчества. Она воображала, что знает французский язык в совершенстве, и очень ошибалась. Смысл быстро произнесенных фраз ускользает от нее. Она воображала, что уровень ее подготовки вполне достаточен для усвоения университетских лекций. Но одинокие занятия в Щуках, ее

знания, приобретенные путем обмена письмами со стариком Склодовским, ее опыты, проделанные наудачу в лаборатории музея, не могут заменить солидную подготовку, которую дают парижские лицеи. В своих знаниях по математике и физике Мари обнаружила огромные пробелы. Сколько же придется ей работать, чтобы достигнуть чудесной, заветной цели — университетского диплома!

Сегодня лекцию читает Поль Аппель. Ясность изложения, живописность стиля! Мари пришла одной из первых. В ступенчатом амфитеатре, скупо освещенном светом декабрьского дня, она занимает место внизу, вблизи кафедры, раскладывает на пюпитре ручку и тетрадь в сером холщовом переплете, куда и будет сейчас вносить заметки своим красивым, четким почерком. Она уже заранее собирается, сосредоточивает свое внимание и даже не слышит все нарастающего гула голосов, который сразу обрывается при появлении профессора.

Поразительно, как некоторые профессора умеют создавать напряженно внимательную тишину в аудитории... Молодые люди, склонившись над тетрадями, записывают уравнения по мере того, как пишет их на доске рука ученого. Теперь они только ученики, алчущие знания. Здесь царство математики!

Аппель с квадратной бородкой и в строгом фраке великолепен. Он говорит спокойно, отчетливо произнося все звуки, чуть-чуть тяжеловато — по-эльзасски. Его доказательства изящны, строги, как будто преодолевают все опасности и подчиняют себе Вселенную. Он властно и уверенно вторгается в тончайшие сферы научного познания, легко жонглирует цифрами, планетами и звездами. Он не боится смелых сравнений и, сопровождая слова широким жестом, совершенно спокойно говорит:

— Я беру солнце и бросаю...

Сидя на скамейке, Маня улыбается восторженной улыбкой. Ее серые, светлые глаза под высоким выпуклым лбом блестят от восторга. Как люди только могут думать, что наука — сухая область? Есть ли что-нибудь более восхитительное, чем незыблемые законы, управляющие мирозданием, и что-нибудь чудеснее человеческого разума, открывающего эти законы? Какими пустыми кажутся романы, а фантастические сказки — лишенными воображения сравнительно с этими необычайными явлениями, связанными между собой гармоничной общностью первоначал, с этим порядком в кажущемся хаосе. Такой взлет мысли можно сравнить только с любовью, вспыхнувшей в душе Мари к бесконечности познания, к законам, управляющим Вселенной.

— Я беру солнце и бросаю...

Чтобы услышать эту фразу, произнесенную мудрым и величественным ученым, стоило бороться и страдать где-то в глуши все эти годы. Мари счастлива теперь вполне.

Казимеж Длусский (муж Брони) своему тестю — старику Склодовскому, ноябрь 1891 года:

«Дорогой и глубокоуважаемый пан Склодовский,
...у нас все благополучно. Мари работает серьезно, все время проводит в Сорбонне, и мы с ней видимся только за ужином. Это особа очень независимая, и, несмотря на формальную передачу власти мне, она не только не оказывает мне никакого повиновения и уважения, но издевательски относится к моему авторитету и серьезности, как к дырявым башмакам. Я не теряю надежды образумить ее, но до сих пор мои педагогические таланты оказывались не действенными. Однако мы друг друга понимаем и живем в полном согласии.

С нетерпением жду приезда Брони. Моя милая жена не торопится ехать домой, где ее присутствие было бы весьма полезным и горячо желанным. Добавляю, что мадемуазель Мари совершенно здорова и у нее довольный вид.

Будьте уверены в моем полном уважении».

Таковы первые известия от доктора Длусского о своей новой родственнице, порученной его заботам, так как Броня отсутствовала, задержавшись на несколько недель в Польше. Нечего говорить о том, что этот саркастический молодой человек оказал Мане исключительно сердечный прием.

Из всех польских эмигрантов, проживающих в Париже, Броня выбрала самого красивого, самого блестящего и самого умного. Казимеж Длусский был студентом и в Петербурге, и в Одессе, и в Варшаве.

Вынужденный бежать из России, так как ему приписывали участие в заговоре против Александра II, он стал революционным публицистом в Женеве, затем попал в Париж, где поступил в Школу политических наук, оттуда перешел на медицинский факультет и, наконец, стал врачом. Где-то в Польше живут его богатые родные, а в Париже среди досье Министерства иностранных дел лежит очень досадная регистрационная карточка, составленная на основе донесений царской полиции, карточка, все время мешающая ему натурализоваться и осесть в Париже.

Приехавшую домой после некоторой отлучки Броню встречают громкими приветствиями и сестра, и муж. Спешно требовалось, чтобы разумная хозяйка взяла в свои руки ведение

домашнего хозяйства. Через несколько часов по ее прибытии в квартире на третьем этаже с широким балконом, выходящим на Немецкую улицу, уже наведен порядок. Кухня опять приобрела безукоризненную чистоту, повсюду вытерта пыль, на рынке куплены цветы и поставлены в вазы. У Брони организаторский талант!

Это она придумала нанять квартиру поблизости от парка Бют-Шомон. Заняв небольшую сумму денег, она несколько раз тайком побывала в Аукционном зале, и через несколько дней в квартире Длусских появилась изящная венецианская резная мебель, хорошенькие драпировки и пианино. Создалась атмосфера домашнего уюта. Так же находчиво молодая хозяйка распределила время занятий каждого из них. Врачебный кабинет принадлежал Казимежу в определенные часы, когда он принимал своих пациентов, главным образом мясников с бойни, в другие же часы кабинетом пользовалась Броня для приема своих гинекологических больных. Трудиться приходилось много, супруги-врачи и бегали по вызовам, и принимали на дому...

Но вот наступает вечер, зажигаются лампы, и все заботы уходят прочь. Казимеж любит развлечься. Напряженная работа, полная пустота в кармане не влияют ни на его живость, ни на его веселое лукавство. После долгого дня усиленной работы он уже через несколько минут затевает поездку в театр, конечно, на дешевые места. Нет денег — Казимеж садится за пианино, а играет он чудесно. Попозже в передней слышатся звонки, приходят друзья из польской колонии — молодые супружеские пары, которые знают, что «к Длусским можно прийти в любой день». Броня то появляется, то исчезает. На столе горячий чайник, сироп, холодная вода, и тут же ставят груду пирожков, испеченных докторшей в свободное после полудня время, между двумя приемами больных.

Однажды вечером, когда Маня уселась за книги у себя в комнатке в конце квартиры и собиралась просидеть часть ночи, в комнату влетел зять.

— Надевай мантилью, шляпку — живо! У меня даровые билеты на концерт...

— Но...

— Никаких но! Играет польский пианист, о котором я говорил тебе. Продано билетов очень мало, надо по дружбе к бедному юноше заполнить зал. Я уже навербовал добровольцев, мы будем аплодировать до боли в руках и создадим всю видимость полного успеха... А если бы ты знала, как он играет!

Нет смысла возражать этому бородатому бесу с черными, веселыми, блестящими глазами. Как он захочет — так и будет,

Всегда настоит на своем! Мари закрывает книгу, и трое молодых людей скатываются с лестницы. Выскочив на улицу, бегут со всех ног, чтобы успеть на подъезжающий омнибус.

Спустя немного времени Мари уже сидит в пустом на три четверти Эраровском концертном зале. На эстраду выходит худой, высокий человек с необыкновенным лицом в ореоле пышных огненно-рыжих волос. Вот он садится за рояль. Лист, Шуман и Шопен оживают под тонкими пальцами пианиста. Выражение лица властное и благородное. Мари жадно слушает пианиста. Несмотря на свой лоснящийся фрак и полупустой зал, он держится с видом не захудалого артиста, а какого-то божества.

Впоследствии этот музыкант будет заходить по вечерам на Немецкую улицу под руку с очаровательной женщиной, панной Горской, вначале только влюбленным в нее, а позже — ее мужем. Он рассказывает о своей жизни в бедности, о своих разочарованиях, но говорит без горечи Броня и Мари вспоминают с панной Горской те давние времена, когда шестнадцатилетняя Горская аккомпанировала их матери пани Склодовской во время ее заграничного лечения «Когда мама вернулась в Варшаву, — говорит со смехом Броня, — она сказала, что больше не будет брать Вас на курорты — уж очень вы красивы!»

Изголодавшись по музыке, молодой человек с гривой огненных волос вдруг прерывает разговор несколькими аккордами. И скромное пианино Длусских, как по волшебству, превращается в великолепный инструмент.

Этот полный вдохновения пианист очарователен. Он нервен, он влюблен, и счастлив, и несчастлив.

Из него выйдет гениальный виртуоз, а позже он станет премьер-министром и министром иностранных дел Польши.

Его имя — Игнаций Падеревский.

* * *

Мари с жаром набросилась на все, что ей предоставляла новая эпоха в ее жизни. Трудится с увлечением. Вместе с тем находит и много радостного в чувстве товарищества, в той сплоченности, какую создает совместная университетская работа. Но заводить знакомства с французскими товарищами еще мешает ее робость, и Мари ищет прибежища в кругу своих соотечественников. Панна Красковская, панна Дидинская, медик Мотзь, биолог Даниш, Станислав Шалай — будущий муж Эли и младший Войцеховский — будущий президент Польской республики становятся ее друзьями в польской колонии Латинского квартала, на этом островке свободной Польши.

Здешняя польская молодежь бедна, но устраивает вечеринки или ужины в рождественский сочельник, и тогда добровольцы-поварихи готовят только варшавские блюда: горячий борщок амарантового цвета, капусту с шампиньонами, фаршированную щуку, маковники; подается немножко водки и разливанное море чая... Бывают и любительские спектакли, на которых разыгрывают драмы и комедии. Программки этих вечеров — конечно, на польском языке — разрисованы символическими изображениями: снежная равнина с хатой, а ниже мансарда, где сидит юноша, мечтательно склонясь над книгой; есть и рождественский дед, сквозь каминную трубу он сыплет в лабораторию научные руководства; а на первом плане пустой кошелек, изгрызенный крысами...

В этих развлечениях принимает участие и Мари. Разучивать роли, чтобы играть в комедиях, ей некогда. Но когда скульптор Вашинковский устроил патриотический спектакль с живыми картинами, то на нее пал выбор, чтобы воплотить главное действующее лицо: «Польшу, разрывающую свои оковы».

В этот вечер суровая студентка сделалась неузнаваема. На ней была классическая туника, окрашенная в национальные цвета Польши. Белокурые волосы обрамляли ее решительное славянское лицо с чуть выступающими скулами и свободно падали на плечи.

Несмотря на чужбину, ни Мари, ни ее сестра, как видно, не расстаются с Варшавой. Местом жительства они избрали Немецкую улицу на окраине, еще не решаясь проникнуть в центр, поселились поближе к Северному вокзалу и поездам, привезшим их во Францию. Родина с ними и крепко держит сестер множеством всяких уз, из коих немалое значение имеет их переписка с отцом. Хорошо воспитанные, почтительные дочери пишут старику Склодовскому, обращаясь к нему в третьем лице * и заканчивая каждое письмо словами: «Целую руки папочке»; рассказывают о необычайном разнообразии своей жизни и дают ему множество поручений. Они не представляют себе, что чай можно купить где-нибудь, кроме Варшавы, что в крайнем случае чай по доступным ценам можно достать и в Париже, как и утюг.

Броня — своему отцу:

---

* По-польски вместо вежливого «Вы» часто употребляется третье лицо.

«...Я была бы крайне признательна милому папочке, если бы он прислал два фунта чаю по два рубля двадцать копеек. Кроме этого, нам больше ничего не нужно, Мане тоже.

Мы все здоровы. У Мани очень хороший вид, и, как мне кажется, трудовая жизнь не утомляет ее нисколько...»

Отец Склодовский — Броне:

«Милая Броня, очень рад, что утюг оказался хорошим. Я выбирал его сам и поэтому мог опасаться, такой ли он, какой тебе хотелось. Я не знал, кому поручить эту покупку, как, впрочем, и все другие. Хотя они относятся к легкомысленной области дамского хозяйства, пришлось заняться ими самому...»

Вполне понятно, что Мари рассказала отцу о вечере на квартире у скульптора и о собственном триумфе в образе «Полонии». Но старик не был этим восхищен.

31 января 1892 года Склодовский пишет дочери:

«Милая Маня, меня огорчило твое последнее письмо. Я крайне сожалею о том, что ты принимала такое активное участие в организации этого театрального представления. При всей своей невинности торжество такого рода привлекает внимание к устроителям, а ты, конечно, знаешь, что в Париже существуют люди, которые весьма старательно следят за вашим поведением, записывают имена всех, кто выдвигается вперед, и посылают свои сведения сюда для их использования в различных целях. Это может стать источником крупных неприятностей и даже закрыть этим лицам доступ к определенным профессиям. Таким образом, те, кто рассчитывают впоследствии зарабатывать свой хлеб в Варшаве, не подвергая себя разным опасностям, должны в своих же интересах вести себя потише и бывать в таких местах, где их не знают... Подобные события, как балы, концерты и другие в том же роде, описываются газетными корреспондентами с перечислением имен участников. Упоминание твоего имени в газетах мне причинило бы большое горе. Вот почему в своих предшествующих письмах я сделал тебе несколько замечаний и просил тебя держаться как можно дальше в стороне...»

Подействовало ли тут большое влияние старика Склодовского, или же здравый смысл самой Мари воспротивился бесплодной суете? Вероятнее, что сама девушка очень скоро уви-

дала, насколько эти безобидные развлечения мешают спокойному труду. Она отходит в сторону... Не для того приехала она во Францию, чтобы участвовать в живых картинах, а каждая минута, не посвященная учению, — потерянное время.

Легко и весело живется на Немецкой улице, но для Мари там нет возможности сосредоточиться. Она не может запретить Казимежу играть на пианино, принимать своих друзей или врываться к ней, когда она решает сложные уравнения; не может препятствовать вторжению в квартиру пациентов молодых врачей. Ночью ее постоянно будят звонки и шаги людей, присланных за Броней по случаю родов у жены какого-нибудь мясника

А самый главный недостаток пребывания здесь — целый час езды до Сорбонны. Да и оплачивать два омнибуса становится в конце концов накладно.

Семейный совет решает, что Мари поселится в Латинском квартале по соседству с университетом, лабораториями и библиотеками. Длусские уговаривают Мари взять у них несколько франков на переезд. На следующий же день с утра Маня выступает в поход и бродит по мансардам, где сдаются комнаты.

Не без сожаления расстается Мари с квартирой, затерянной среди прозаического квартала боен, но полной дружеского участия, хорошего настроения и мужества. Между Мари и Казимежом Длусским установились братские отношения, которые сохранились на всю жизнь. Отношения между Мари и Броней уже с давних пор развертываются прекрасной повестью: повестью о преданности, самопожертвовании и взаимопомощи.

Несмотря на беременность, Броня помогает младшей сестре упаковать ее жалкие пожитки и уложить на ручную тележку. Пользуясь еще раз знаменитым омнибусом и пересаживаясь с империала на империал, Казимеж и Броня торжественно сопровождают «нашу девочку» до ее студенческой квартиры.

СОРОК РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Да, жизнь Мари была до сих пор еще не очень отчужденной и убогой. Теперь Мари все глубже уходит в одиночество, полностью отключается от всего окружающего, и разговоры почти не нарушают того молчания, каким окутала она свою теперешнюю жизнь. Более трех лет будут посвящены только учению. Это жизнь, согласная с ее мечтой, жизнь суровая, как у подвижников-монахов и миссионеров. Да и сам образ жизни отличается монашескою простотой. По доброй воле отказавшись от квартиры и стола у Длусских, Мари теперь сама контролирует свои расходы. А ведь ее месячный бюджет, считая собст-

венные сбережения и небольшие дотации, получаемые от отца, — сорок рублей.

Каким образом женщине, да еще иностранке, прилично прожить в 1892 году в Париже на сорок рублей в месяц — три франка на день, оплачивая комнату, еду, одежду, тетради, книги, лекции в университете? Вот задача на быстрое решение! Но не бывало случая, чтобы Мари не находила решения какой-нибудь задачи.

Мари — своему брату Юзефу, 17 марта 1893 года:

«Ты, несомненно, знаешь от папы, что я решила поселиться ближе к месту моих занятий; по разным соображениям это стало необходимым для меня, особенно в текущем семестре. Теперь мое намерение осуществилось, и я пишу в моем новом обиталище: улица Фляттер, 3. Оно состоит из небольшой комнатки, очень недорогой и вполне приличной; через пятнадцать минут я уже в лаборатории, а через двадцать — в Сорбонне. Само собой разумеется, что без помощи Длусских я не устроилась бы так удачно.

Работаю в тысячу раз больше, чем во время моего пребывания на Немецкой улице. Там бесконечно мешал мне мой милый зять. Когда я была дома, он совершенно не терпел, чтобы я занималась чем-нибудь другим, кроме приятной болтовни с ним. Мне приходилось из-за этого вести войну против него. Через несколько дней он и Броня соскучились по мне и зашли навестить меня. Я угостила их холостяцким чаем, а после мы сошли вниз повидать супругов С., живущих в этом же доме».

Мари не единственная студентка, располагающая лишь ста франками в месяц: большинство польских подруг такие же бедняки, как и она. Некоторые живут по три и по четыре в одной квартирке и сообща столуются. Другие живут одиночками и тратят несколько часов в день на хозяйство, кухню, штопку, но благодаря своей изобретательности едят сытно, живут в тепле и одеваются более или менее изящно.

Однако Мари слишком дорожила своим спокойствием, чтобы жить с подругами в одной квартире, слишком увлекалась работой, чтобы заботиться о комфорте. Да если бы и захотела, то оказалась бы для этого негодной: с семнадцати лет она служила у чужих людей и, отдавая семь-восемь часов в день урокам, совершенно не имела времени стать хозяйкой. То, что Броня усвоила, ведя хозяйство в отцовском доме, было неведомо Мари. И в польской колонии проходит слух, что «панна Склодовска не знает даже, из чего варится бульон».

Она не знала этого и не хотела знать. Зачем тратить целое утро на раскрытие тайн кулинарии, если за это время можно усвоить несколько страниц учебника по физике или провести в лаборатории интересный опыт?

Все обдумав, она вычеркнула из планов своей жизни всякие развлечения, дружеские вечеринки, общение с людьми. Совершенно так же она приходит к убеждению, что материальная сторона жизни не имеет ни малейшего значения, что она просто не существует. Исходя из этого, Мари создает себе какой-то спартанский, очень замкнутый образ жизни.

Улица Фляттер, потом бульвар Пор-Рояль, улица Фейянтинок... Все комнаты, в которых последовательно живет Мари, схожи и скромностью своей цены, и отсутствием комфорта. Сначала она поселяется в доме с меблированными комнатами, где живут студенты-молодожены, врачи, офицеры из соседней полковой казармы. Затем, в погоне за полной тишиной, она снимает мансарду под крышей одного частновладельческого дома. За пятнадцать — двадцать франков можно найти убежище — малюсенькую комнатку со слуховым окошком на скате крыши. В это окно, прозванное «табакеркой», виден квадрат неба. Ни отопления, ни освещения, ни воды.

И вот в такой комнатке Мари расставляет свое имущество: складную железную кровать с матрацем, привезенным из Польши, железную печку, простой дощатый стол, кухонный стул, таз. За ними следует керосиновая лампа с абажуром ценой в два су, кувшин для воды (воду надо брать из крана на площадке лестницы), спиртовая горелка размером с блюдечко, которая в течение трех лет служит для готовки еды. У Мари есть еще две тарелки, нож, вилка, чайная ложечка, чашка и кастрюля. Наконец, водогрейка и три стакана — что за роскошь! — чтобы можно было угостить чаем Длусских, когда они заходят навестить Мари. В тех редчайших случаях, когда бывает у нее прием гостей, закон гостеприимства остается в силе: хозяйка разжигает маленькую печку с трубой, протянутой сложными извивами по комнате. А чтобы усадить гостей, вытаскивает из угла большой пузатый коричневый чемодан, обычно используемый в качестве платяного шкафа и комода.

Никакой прислуги: плата даже приходящей на час в день прислуге обременила бы до крайности бюджет Мари. Отменены расходы и на проезд: в любую погоду Мари идет в Сорбонну пешком. Минимум угля: один-два мешка брикетов на всю зиму, купленных в лавочке на углу, причем Мари сама перетаскивает их ведрами на шестой этаж по крутой лестнице, останавливаясь на каждой площадке, чтобы передохнуть. Минимум затрат на освещение: как только наступают сумерки, студентка бежит в

благодатный приют, именуемый библиотекой Сент-Женевьев, где тепло и горит газ. Там бедная полька садится за столик и, подперев голову руками, работает до самого закрытия библиотеки, до десяти часов вечера. Дома надо иметь запас керосина, чтобы хватило на освещение до двух часов ночи. Только тогда Мари с красными от утомления глазами бросается в постель.

Из скромной области практических познаний она усвоила только одно — умение шить. Это память об уроках рукоделия в пансионе у Сикорской и о долгих днях в Щуках, где юная гувернантка бралась за шитье, наблюдая за приготовлением уроков ее учениками. Это не значит, что Мари покупает отрез дешевой материи и шьет себе новенькую блузку. Совсем нет, она словно поклялась никогда не расставаться со своими варшавскими платьями и носит их все время, хотя они уже потрепаны, потерты, залатаны. Но Мари старательно их чистит, чинит, чтобы придать сносный вид. Она снисходит и до стирки в тазу, когда бывает чересчур утомлена работой и надо сделать перерыв. Из-за нежелания тратить уголь, а также по рассеянности она не топит печки с извилистой трубой и пишет цифры, уравнения, не замечая, что от холода плечи у нее дрожат, а пальцы деревенеют. Горячий суп, кусок говядины, конечно, подкрепили бы ее, но ведь Мари не знает, как варят суп! Она не может тратить целый франк и целых полчаса, чтобы изжарить эскалоп! Редкий случай, если она заходит к мяснику, а еще реже в кафе: чересчур дорого. В течение многих недель питание состоит из чая и хлеба с маслом. Когда ей хочется попировать, она заходит в любую молочную Латинского квартала и съедает там два яйца или же покупает какой-нибудь фрукт, маленькую плитку шоколада.

При таком режиме девушка, приехавшая из Варшавы несколько месяцев тому назад здоровой и сильной, очень скоро становится малокровной. Вставая из-за стола, она нередко чувствует головокружение и, едва успев добраться до постели, падает без чувств. Придя в себя, Мари задает себе вопрос, почему она упала в обморок, думает, что заболела, но и болезнью пренебрегает так же, как всем остальным. Ей не приходит в голову, что вся ее болезнь — истощение от голода, а обмороки — от общей слабости.

Само собой разумеется, что Мари не хвастается Длусским таким замечательным устройством своей жизни. Всякий раз, когда она заходит к Длусским, на их расспросы об ее успехах в кулинарии и ежедневном рационе Мари дает лишь односложные ответы. Если Казимеж говорит, что у нее нездоровый вид, она ссылается на перегруженность работой, считая это единственной причиной усталости, отделывается от заботливых вопросов,

равнодушно махнув рукой, и начинает играть с дочкой Брони, своей племянницей, успевшей сделаться ее любимицей.

Но как-то раз Мари падает в обморок в присутствии одной своей подруги, которая сейчас же бежит к Длусским. Спустя час Казимеж уже карабкается по длинной лестнице, входит в мансарду, где немного бледная Мари уже готовится к завтрашней лекции. Он обследует свою невестку, а главное — чистые тарелки, пустую кастрюлю и всю комнату, где не находит ничего съестного, кроме чая. Он сразу понимает в чем тут дело, и начинает допрос:

— Что ты ела сегодня?

— Сегодня?.. Не помню... Я недавно завтракала.

— А что ела? — спрашивает неумолимый Казимеж.

— Вишни, а еще... да разное...

В конце концов Мари должна сознаться: со вчерашнего дня она съела полпучка редиски и полфунта вишен. Работала до трех ночи, спала четыре часа. Утром ходила на лекции в Сорбонну. Возвратясь домой, доела редиску... ну, а потом упала в обморок.

Врач прекращает допрос. Он злится. Злится и на Мари, глядящую на него пепельно-серыми глазами, выражающими наивную радость и сильную усталость, злится и на себя за то, что недостаточно внимательно блюл «девочку», порученную ему стариком Склодовским. Не слушая возражений, он подает Мари мантилью, шляпку, заставляет собрать книги и тетрадки, которые понадобятся ей на следующей неделе, и молча, недовольный, огорченный, отводит к себе домой, а там, едва успев войти в квартиру, кличет Броню, занятую готовкой на кухне.

Проходит двадцать минут, и Маня поглощает лекарства, прописанные Казимежом: громадный бифштекс с кровью, блюдо жареного хрустящего картофеля. Словно чудом румянец выступает на ее щеках. В одиннадцать часов вечера приходит Броня и гасит свет в комнате, где поставлена кровать для младшей сестры. В течение нескольких дней Мари выдерживает этот разумный курс лечения и набирается сил. А затем приближающиеся экзамены всецело овладевают ею, и она снова перебирается в мансарду, дав обещание вести себя теперь благоразумно. На следующий день воздушное питание опять вступает в силу...

* * *

Работать! Работать! Мари вся целиком уходит в занятия и, вдохновившись успехами, чувствует себя способной познать все, что добыто людьми в области науки. Шаг за шагом она прохо-

дит курс математики, физики и химии. Мало-помалу осваивает экспериментальную технику. Вскоре на ее долю выпадает большая радость: профессор Липпманн дает ей несколько научных заданий, правда незначительных, но они предоставляют возможность показать способности и своеобразие ее умственного склада. В большой, высокой физической лаборатории Сорбонны с двумя винтовыми лестницами, ведущими на внутреннюю галерею, Мари Склодовска пробует собственные силы.

Она проникается страстной любовью к атмосфере сосредоточенности и покоя, к этому «климату» лаборатории, любовь к которому сохранит до последнего дня жизни. Работает она всегда стоя, то перед дубовым столом с аппаратурой для точных измерений, то перед колпаком тяги, под которым кипит на жгучем пламени паяльной лампы раствор какого-нибудь вещества. В халате из грубой ткани Мари почти не отличается от молодых людей, задумчиво склонившихся над другими приборами. Они тоже уважают сосредоточенность мысли в этой обители науки. Мари работает бесшумно: никаких разговоров, кроме самых необходимых.

Только один диплом лиценциата — нет, этого мало! Мари решает добиться двух: по физике и математике. Былые планы, очень скромные, теперь растут и ввысь и вширь с такой быстротой, что у Мари нет времени, а главное — смелости сообщить о них отцу. А этот замечательный старик ждет с нетерпением, когда же, наконец, Мари вернется в Польшу. Он чувствует смутную тревогу по поводу того, что выращенная им птичка после стольких лет подчинения и самопожертвования стала независимой и обретает крылья.

Склодовский — Броне, 5 марта 1893 года:

«В последнем письме ты первый раз упоминаешь о намерении Мани сдавать экзамен на степень лиценциата. В своих письмах она никогда не говорила мне об этом, хотя я спрашивал ее на этот счет. Напиши мне точно, в какое время года проходят экзамены, какого числа Маня думает держать экзамен, каких расходов это требует и сколько стоит сам диплом. Я должен обдумать все заранее, чтобы послать Мане денег, а от этого будут зависеть и мои собственные планы...

Я намерен оставить за собой теперешнюю мою квартиру и на будущий год: она очень подходит и для меня лично, и для Мани, если она вернется... Маня постепенно создаст себе определенный круг учеников, во всяком случае, я готов разделить с ней то, что имею. Мы выйдем из положения без затруднений».

Как ни дичится Маня людей, ей неизбежно приходится встречаться с ними каждый день. Несколько юношей оказывают ей теплое внимание. Девушки-иностранки, приехавшие издалека в Сорбонну, прозванную братьями Гонкур «приемной матерью питомцев науки», пользуются сочувствием молодых французов. Наша полька, наконец, свыкается и замечает, что ее товарищи, по большей части труженики, уважают ее и склонны полюбезничать. Мари, наверно, очень хороша собой, судя по тому, что ее подруга — очаровательно восторженная панна Дидинская, взявшая на себя роль ее телохранительницы — как-то грозилась разогнать своим зонтиком чересчур рьяных вздыхателей, толкущихся вокруг опекаемой ею студентки.

Предоставляя панне Дидинской устранять эти ухаживания, равнодушная к ним девушка ищет сближения с людьми, которые привлекают ее возможностью поговорить с ними о своей работе. В промежутке между лекциями по физике или занятиями в лаборатории Мари беседует с Полем Пенлеве, Жаном Перреном и Шарлем Мореном — будущими светилами французской науки. Но это товарищеские разговоры. У Мари нет времени ни для дружбы, ни для любви. Она влюблена лишь в математику и физику.

Ее мышление так четко, ум настолько ясен, что никакая «славянская» безалаберность не может сбить ее с пути. Она держится благодаря железной воле, маниакальному стремлению к совершенству и невероятному упорству. Последовательно, терпеливо Мари достигает обеих целей: в 1893 году получает диплом по физическим наукам, заняв первое место по оценкам, а в 1894 году — диплом по математическим наукам, заняв второе место.

Она решает в совершенстве овладеть французским языком. Это необходимое условие для достижения ее целей. Вместо того чтобы, по примеру многих поляков, ворковать по-французски певучие и неправильные фразы в течение многих месяцев, Мари досконально изучает орфографию и синтаксис, изгоняет малейшие следы польского акцента. Только слегка раскатистое «р» так и останется на всю жизнь милой особенностью ее говора, чуть глуховатого, но мягкого и очаровательного.

На свои сорок рублей в месяц Мари не только умудрялась жить, но иногда, лишив себя чего-нибудь необходимого, позволяла себе некоторую роскошь: пойти вечером в театр, отправиться в ближайшие окрестности Парижа, набрать в лесу цветов и принести домой. Деревенская девочка былых времен не умерла в ней. Заброшенная в большой город, Мари следит весной за появлением первых листочков, и как только находится немного времени и денег, она стремится в лес.

Мари — отцу, 16 апреля 1893 года:

«Прошлое воскресенье я ездила в Ренси, довольно красивое и приятное местечко под Парижем. Фиалки и все фруктовые деревья, даже яблони, были в полном цвету, и воздух был насыщен запахом цветов.

В Париже деревья зазеленели еще в начале апреля. Теперь листья распустились, каштаны зацвели. Жарко, как летом, все в зелени. У меня в комнате становится душно. К счастью, в июле, когда стану готовиться к экзаменам, я буду жить не здесь, так как сняла эту комнату только до восьмого июля.

Чем ближе срок экзаменов, тем больше одолевает меня страх, что не успею подготовиться. В худшем случае отложу до ноября, но тогда пропадет все лето, а это мне не улыбается. Впрочем, поживем — увидим!»

Июль. Лихорадка, спешка, страшные экзамены, угнетенное состояние по утрам, когда Мари, усевшись среди тридцати других студентов в запертом экзаменационном зале, до того нервничает, что буквы пляшут у нее перед глазами, и в течение нескольких минут она не в состоянии даже прочесть роковой лист бумаги, на котором изложена задача и даны вопросы «по всему курсу». После сдачи работы наступают томительные дни ожидания торжественного дня, когда объявят результаты экзаменов.

Мари протискивается между своими конкурентами и их родственниками, набившимися битком в амфитеатр того зала, где будут объявлять имена выдержавших в порядке полученных отметок. В тесноте и давке она ждет выхода профессора... И вот среди наступившей тишины она слышит первым, самым первым, свое имя: «Мари Склодовска».

Никому не понять ее волнений! Она вырывается от поздравляющих ее товарищей, отделяется от окружающей толпы и убегает. Пробил час каникул, отъезда домой — в Польшу.

Возвращение бедных поляков под родной кров связано со сложившимися обычаями, и Мари их свято соблюдает. Сдает на хранение свое имущество — кровать, посуду, печку — какой-нибудь землячке, достаточно богатой, чтобы оставить за собой парижскую квартиру на лето. Прежде чем расстаться со своей мансардой, прибирает ее, прощается с консьержкой, покупает кое-какие припасы на дорогу. Подсчитав остаток денег, идет в большой магазин и занимается тем, чего не делала ни разу за весь год: роется в безделушках...

Стыдно возвращаться на родину из-за границы с деньгами в кармане! Полагается истратить все до гроша на подарки для

близких и влезть в вагон на Северном вокзале, не имея в кармане ни копейки. Не правда ли, умно? В двух тысячах километров от Парижа, на том конце рельсов, есть пан Склодовский, есть Юзеф, Эля и семейный кров, где можно есть досыта, где найдется портниха, которая за гроши сошьет белье и несколько теплых платьев. А в ноябре эти платья попадут в Париж, и Мари будет их носить, отправляясь на лекции во вновь обретенную Сорбонну!

...В Париж она возвращается пополнев, вволю наевшись за три месяца разной снедью в домах всех Склодовских Польши, возмущенных ее плохим видом.

И снова перед ней учебный год, ей предстоит работать, набираться знаний, опять готовиться к экзаменам, худеть...

* * *

Но как только приближается осень, Мари охватывает все то же щемящее чувство. Где добыть денег? С чем вернуться в Париж? Сорок рублей, да еще сорок, и еще, еще... Собственные сбережения иссякают, ей стыдно думать о тех маленьких удовольствиях, в которых отказывает себе отец, чтобы помочь ей. В 1893 году положение дел казалось безнадежным, и Мари была уже готова отказаться от возвращения в Париж, как вдруг произошло чудо. Та самая панна Дидинская, которая в прошлом году защищала Мари от ее поклонников своим зонтиком, простерла свое покровительство еще дальше. Уверенная в том, что подруге предстоит большое будущее, она перевернула в Варшаве все вверх дном и добилась для Мари стипендии из фонда Александровича, назначаемой достойным студентам, желающим продолжать за границей свои научные занятия.

Шестьсот рублей! Пятнадцать месяцев жизни! Самой Мари, умевшей заботиться только о других, никогда не пришло бы в голову хлопотать ради себя об этой помощи, а главное — не хватило бы смелости. Ослепленная, она летит в Париж!

Мари — Юзефу, 15 сентября 1893 года (из Парижа):

«...Я уже сняла комнату на седьмом этаже, на чистенькой, приличной улице, которая мне очень нравится. Скажи папе, что там, где я должна была поселиться, нет ни одной свободной комнаты и что я очень довольна снятой мною: окно затворяется плотно, и когда я все устрою, то в ней не будет холодно, тем более что пол не каменный, а паркетный. По сравнению с моей прошлогодней комнатой — это прямо дворец. Стоит она сто восемьдесят франков в год, следовательно, на шестьдесят франков дешевле той, какую рекомендовал мне папа.

Надо ли говорить, как я безумно рада возвращению в Париж. Мне было тяжко расставаться с папой, но я видела, что он здоров, оживлен и может обойтись без меня, особенно когда и ты живешь в Варшаве. А я ставлю на карту всю мою жизнь... Поэтому мне показалось, что я могу еще остаться здесь без угрызений совести.

Я вплотную засела за математику, чтобы быть на должной высоте к началу лекций. Три раза в неделю по утрам я даю уроки одной подруге француженке, так как она готовится к экзамену, какой я уже сдала. Скажи папе, что я привыкаю к своей работе, что она меня не утомляет так, как раньше, и я не собираюсь ее бросать.

Сегодня я начинаю устраивать свой новый уголок — бедно, конечно, но что поделаешь? Приходится делать все самой, а иначе чересчур дорого. Я приведу в порядок мою мебель, вернее, то, что я так пышно именую, а все вместе взятое стоит франков двадцать.

На днях напишу письмо Юзефу Богускому, чтобы он сообщил о своей лаборатории. От этого зависит мой род занятий в будущем».

Мари — Юзефу, 18 марта 1894 года:

«...Я затрудняюсь описать тебе подробно мою жизнь, настолько она однообразна и, в сущности, мало интересна. Но я не томлюсь ее бесцветностью и жалею только об одном, что дни так коротки и летят так быстро. Никогда не замечаешь того, что сделано, а видишь только то, что остается совершить, и если не любить свою работу, то можно потерять мужество...

Мне бы хотелось, чтобы ты защитил докторскую диссертацию... Жизнь, как видно, не дается никому из нас легко. Ну, что ж, надо иметь настойчивость, а главное — уверенность в себе. **Надо верить, что ты на что-то годен и этого «что-то» нужно достигнуть во что бы то ни стало.** *Быть может, все обернется к лучшему — именно тогда, когда ждешь этого меньше всего...»*

Чудесная стипендия Александровича! Мари старается любым путем растянуть эти шестьсот рублей, чтобы остаться подольше в раю лабораторий и лекционных залов. Через несколько лет Мари выкроит шестьсот рублей из своего первого гонорара за технологическую работу, заказанную ей Обществом поощрения национальной промышленности, и отнесет их в секретариат фонда Александровича, ошеломив весь комитет небывалым в его истории возвратом ссуды.

Мари приняла стипендию как знак доверия, как залог чести. По прямоте своей души она считала бы бесчестным задержать чуть дольше деньги, которые сейчас же могут стать якорем спасения для другой бедной девушки.

* * *

Когда я перечитывала написанную по-польски поэму моей матери о тех временах, когда я вспоминала, как она рассказывала о себе — с улыбкой и юмористическими замечаниями, когда смотрела на портрет, что был особенно ей дорог: маленькую фотографию студентки с волевым подбородком и смелым взглядом, — я чувствовала, что ни в какие времена она не переставала любить больше всего именно этот кипучий и тяжелый период своей жизни:

Как жестоко протекает юность женщины-студентки.
Когда вокруг нее другая молодежь все с новым увлечением
Стремится жадно к новым, для них доступным развлеченьям!
И все же одинокая, безвестная студентка живет
счастливо в своей келье,
Где действует то пламенное рвенье, что расширяет душу
без конца.
Но пролетают и эти благие времена,
Приходится сказать «прощай» миру науки,
Чтоб отправляться в мир борьбы за хлеб
По серому проселку нашей жизни.
Как часто истомленная путем ее душа
Летит в тот милый сердцу угол,
Где обитал когда-то молчаливый труд
И где остался целый мир воспоминаний.

Само собой разумеется, что позже Мари узнала и другие радости. Но даже в часы безграничной нежности, в годы торжества и славы никогда эта «вечная» студентка не бывала так довольна — скажем прямо — так горда собой, как в те времена нищеты и пламенного, всепоглощающего устремления. Горда своей бедностью, горда своею независимой, одинокой жизнью в чужом городе.

Так, в своем бедном жилище, она работает вечерами при свете лампы, и ей кажется, что ее собственный, еще крохотный удел таинственно соприкасается с жизнью высших личностей, перед которыми она преклоняется, и что она сама становится скромным, неведомым товарищем великих ученых прошлого, так же, как она, замкнувшихся в плохо освещенных кельях; так же,

как она, отрешившихся от сует своего времени; так же, как она, подстегивающих свой ум, чтобы перескочить через уже достигнутый рубеж знания.

Да, эти четыре года, которые сама Мари Кюри называла «героической эпохой», были не самыми счастливыми в ее жизни, но, пожалуй,— самыми цельными и совершенными по содержанию, самыми близкими к вершинам человеческого знания, к которым устремлялся ее взор.

Когда ты молод, одинок и погружен в науку, можно не иметь на что жить и жить самой полной жизнью. Огромный энтузиазм придает двадцатишестилетней польке силу не обращать внимания на материальные лишения. Впоследствии любовь, материнство, супружеские заботы, ежедневный тяжелый труд изменят в реальной жизни образ Мари. Но в ту волшебную эпоху, в эпоху наибольшей своей бедности, она была беспечна, как ребенок. Она витает в другом мире свободно и легко и на всю жизнь сохранит о нем мысль, как о единственно чистом, истинном.

При таком неустойчивом существовании не все дни могут протекать ровно. Какой-нибудь нежданный случай вдруг нарушает все: непреодолимая усталость, небольшое, но требующее ухода и лечения, заболевание. Да и другие, приводящие в ужас катастрофы... Единственная пара ботинок с дырявыми подошвами разваливается окончательно, и надо покупать новые. А это значит перекроить весь бюджет на целые недели, и непомерный расход придется возместить на пище, на керосине для освещения.

Или затянется зима, и подморозит мансарду на седьмом этаже. В комнате так холодно, что Мари не может заснуть. Она дрожит всем телом. Запас угля истощился... Ну и что ж? Разве молодая варшавянка позволит одолеть себя парижской зиме? Мари зажигает лампу, раскрывает большой чемодан и выкладывает всю одежду. Надевает как можно больше на себя, залезает в постель, накидывает кучей поверх одеяла остальное — платье и белье. А все же очень холодно. Мари протягивает руку, подтаскивает единственный стул, приподнимает и кладет его на ворох платья, создавая себе смутную иллюзию чего-то тяжелого и теплого. Теперь остается только ждать сна, но неподвижно, чтобы не разрушить это сложное сооружение. А в это время вода в кувшине постепенно затягивается ледяной коркой.

ПЬЕР КЮРИ

Мари вычеркнула из программы своей жизни любовь и замужество.

Это не так уже оригинально. Бедная девушка, униженная и разочарованная первой идиллией, клянется никогда больше не любить. Тем более студентке-славянке с ее пламенным стремлением к умственным высотам нетрудно отказаться от шага, ведущего зачастую девушек к порабощению, счастью и несчастью, и посвятить себя лишь своему призванию. Во все эпохи все женщины, горевшие желанием стать великими живописцами или великими музыкантами, пренебрегали любовью и материнством.

Мари создала себе свой мир, неумолимо требовательный и признающий одну страсть — науку. Конечно, в нем находили свое место и родственные чувства, и любовь к порабощенной отчизне. Но только это! Ничто другое не имеет значения, не существует. Таково жизненное кредо двадцатишестилетней девушки, которая одиноко живет в Париже и каждый день встречается в Сорбонне и в лаборатории с юными студентами.

Ее обуревают научные идеи, ее преследует бедность, изводит напряженная работа. Ей неведома праздность, чреватая опасностями. Гордость и робость служат ей защитой. А также недоверие: с той поры, как семья З. не пожелала иметь ее невесткой, Мари пришла к убеждению, что бесприданницам нельзя найти в мужчинах ни преданности, ни нежных чувств. Укрепив себя прекрасными теориями и горькими воспоминаниями, она цепляется за независимость.

Не удивительно, что даровитая полька, обреченная самой бедностью на уединение, сохраняет себя для творческой работы. Но поразительно и чудесно, что даровитый ученый, француз, сберег себя для этой польки и подсознательно ждал ее. Еще тогда, когда Мари жила на Новолипской улице и лишь мечтала о Сорбонне, Пьер Кюри, придя как-то домой из Сорбонны, где он уже сделал несколько важных физических открытий, записал в своем дневнике печальные строки:

«...Женщина гораздо больше нас любит жизнь ради жизни, умственно одаренные женщины — редкость. Поэтому, если мы, увлекшись некою мистической любовью, хотим пойти новой, не обычной дорогой и отдаем все наши мысли определенной творческой работе, которая отдаляет нас от окружающего человечества, то нам приходится бороться против женщин. Мать требует от ребенка прежде всего любви, хотя бы он при этом стал дураком. Любовница стремится к власти над любовником

и будет считать вполне естественным, чтобы самый одаренный мировой гений был принесен в жертву часам любви. Эта борьба почти всегда неравная, так как на стороне женщин законная причина: они стремятся обратить нас вспять во имя требований жизни и естества».

Минули годы. Пьер Кюри, преданный душой и телом научным изысканиям, так и не женился ни на одной из малоинтересных или просто миленьких девиц, с которыми пришлось встречаться. Ему тридцать пять лет. Он никого не любит. Когда он ради развлечения перелистывает свой давно заброшенный дневник и перечитывает уже выцветшие строки былых заметок, четыре слова, полные грусти и глухой тоски, останавливают его взгляд: «Умственно одаренные женщины — редкость».

* * *

«Когда я вошла, Пьер Кюри стоял у стеклянной двери, выходившей на балкон. Он мне показался очень молодым, хотя ему исполнилось в то время тридцать пять лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и чуть заметная непринужденность в осанке высокой фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная и вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу: он занимался такими научными проблемами, относительно которых мне было очень интересно знать его мнение».

В таких простых, стыдливых выражениях Мари опишет свою первую встречу, случившуюся весной 1894 года.

Один поляк, господин Ковальский, профессор физики во Фрейбургском университете, приезжает во Францию со своей женой, еще раньше познакомившейся с Мари в Щуках. Это не только свадебное путешествие, но и научное. Господин Ковальский читает в Париже доклады, присутствует на заседаниях Физического общества. Приехав в Париж, он навел справки о Мари, дружески расспросил о житье-бытье. Студентка поделилась с ним своими заботами. Общество поощрения национальной промышленности заказало ей работу о магнитных свойствах различных марок стали, и она начала исследования в лаборатории профессора Липпманна. Но ей необходимо делать анализы минералов и распределять по группам образцы металлов, а это требует громоздких установок — чересчур громоздких для этой лаборатории, и без того перегруженной. Теперь Мари не знает, как ей быть, где организовать опыты.

— У меня есть идея, — ответил Ковальский после некоторого раздумья. — Я знаком с одним молодым ученым, который работает в Школе физики и химии на улице Ломон. Может быть, у него найдется подходящее помещение. Во всяком случае, он вам даст нужный совет. Заходите к нам завтра вечером на чашку чая. Я попрошу этого молодого человека прийти. Вы, наверно, слышали о нем — его зовут Пьер Кюри.

В течение вечера, проведенного в комнате тихого семейного пансиона, где поселились Ковальские, непосредственная взаимная симпатия сближает двух физиков — француза и польку.

У Пьера Кюри совсем особенное обаяние, сочетающее большую серьезность с беспечной мягкостью. Он высокого роста. Ему очень идет свободная одежда немодного, широкого покроя. Он обладает естественным изяществом, сам не подозревая о том. Кисти рук удлиненные. Правильное, малоподвижное лицо с жесткой бородкой. Оно красиво благодаря бесподобному ясному взгляду кротких глаз. Взгляд глубокий, отрешенный от всего окружающего. Он всегда сдержан, никогда не повышает голоса; в нем объединяются могучий ум и благородная душа.

То влечение, какое он почувствовал с самого начала к малоразговорчивой иностранке, усиливалось любопытством. Эта мадемуазель Склодовска поистине удивительная личность. Оказывается, она полька и приехала из Варшавы слушать лекции в Сорбонне. В прошлом году первой выдержала экзамены и получила степень лиценциата по физике, а через несколько месяцев — по математике. А если между ее пепельно-серыми глазами залегла маленькая складка озабоченности, так это оттого, что она не знает, где ей устроиться со своей аппаратурой для исследования магнетизма различных марок стали.

Разговор, сначала общий, скоро переходит в научный диалог между Пьером Кюри и Мари Склодовской. Девушка с оттенком почтительности задает вопросы и слушает указания Пьера. Как это странно, думает Кюри, говорить с молодой очаровательной женщиной о любимой работе, употребляя технические термины, называя сложные формулы, и в то же время видеть, что она воодушевляется, все понимает и даже иногда возражает с ясным пониманием дела... Как это приятно!

Он смотрит на волосы, на выпуклый лоб Мари, на ее руки, пострадавшие от кислот в лаборатории и от домашних работ. Ее прелесть, особенно заметная благодаря отсутствию кокетства, сбивает его с толку. Он вспоминает, что говорил ему Ковальский об этой девушке, когда приглашал его к себе: прежде чем сесть в поезд на Париж, она работала годами, у нее нет денег, живет одна, в мансарде..

— Вы навсегда останетесь во Франции? — спрашивает он мадемуазель Склодовску, сам не зная почему.

По лицу Мари пробегает тень. И она говорит своим певучим голосом:

— Конечно, нет. Если этим летом я выдержу окончательный экзамен, то вернусь в Варшаву. Мне бы хотелось опять приехать сюда осенью, но не знаю, хватит ли на это средств. Позже я стану профессором в Польше и постараюсь быть полезной родине. Поляки не имеют права бросать отечество!

Вмешиваются Ковальские, и разговор переходит на тяжкие притеснения поляков. Три изгнанника вспоминают о родной земле, обмениваются новостями о родных, друзьях. Удивленный и чем-то недовольный, Пьер Кюри слушает рассуждения Мари о своих патриотических обязанностях.

Всецело поглощенный физикой. ученый не понимает, как у этой исключительно одаренной девушки хоть одна мысль может быть занята не наукой и как она может думать о том, чтобы тратить силы на борьбу с царизмом.

Ему хотелось бы ее увидеть еще раз. Еще много раз.

* * *

Кто такой Пьер Кюри?

Даровитый французский ученый, малоизвестный в своей стране, но высоко ценимый своими заграничными собратьями.

Родился в Париже, на улице Кювье, 15 мая 1859 года. Он второй сын врача Эжена Кюри, тоже сына врача. Эта семья эльзасского происхождения и протестантского вероисповедания. Кюри, когда-то скромные мещане, становились из поколения в поколение людьми образованными, учеными. Отец Пьера, вынужденный заниматься врачебной практикой для заработка, был горячим поклонником научных исследований. Он занимал место ассистента в лаборатории Музея естественной истории и написал несколько работ о противотуберкулезных прививках.

Обоих сыновей, Жака и Пьера, еще с детства влекла к себе наука. Пьер с независимым умом, мечтатель, не мог поладить с дисциплиной и систематическим трудом в лицее. Доктор Кюри понял, что этот своеобразный мальчик никогда не станет блестящим учеником в школе, поэтому сначала занимался его образованием сам, а затем поручил его отличному преподавателю — господину Базиллю.

Свободное воспитание приносит свои плоды: Пьер в шестнадцать лет сдает экзамен на аттестат зрелости, а в восемнадцать получает диплом лиценциата. Еще через год он занимает место у профессора Дезена на факультете естествознания и ос-

тается на этой должности пять лет. Он занимается научными исследованиями вместе с братом Жаком, тоже лиценциатом и препаратором в Сорбонне. Вскоре два юных физика совместно заявляют об открытии очень важного явления — пьезоэлектричества, а экспериментальная работа приводит их к изобретению нового прибора — кварцевого пьезометра, используемого для преобразования электрических процессов в механические, и наоборот. В 1883 году братья с грустью расстаются. Жак назначен профессором в Монпелье; Пьер возглавляет практические научные работы студентов в Парижской школе физики и химии. Хотя это и отнимает у него много времени, Пьер продолжает свои теоретические работы по физике кристаллов. Эти работы заканчиваются изложением «принципа симметрии», который станет одной из основ современной науки.

Взявшись за свои экспериментальные работы, Пьер Кюри изобретает и конструирует для научных целей ультрачувствительные весы, так называемые весы Кюри, затем предпринимает исследования по магнетизму и достигает блестящего результата, открыв основной закон — «закон Кюри».

За эти достижения, имевшие блистательный успех, за постоянные заботы о порученных ему тридцати учениках Пьер Кюри в 1894 году, после пятнадцати лет работы, получает от французского правительства месячный оклад в триста франков — почти столько же, сколько квалифицированный рабочий на заводе.

Когда знаменитый английский ученый лорд Кельвин приехал в Париж, он отправился в Физическое общество слушать доклад Пьера Кюри. Этот прославленный старец пишет письмо молодому физику, говорит с восхищением о его работах и просит назначить личное свидание.

Лорд Кельвин — Пьеру Кюри, август 1893 года:

«Дорогой господин Кюри, бесконечно благодарен Вам, что Вы потрудились доставить мне созданный Вами с братом прибор, который дает мне возможность так удобно наблюдать великолепное экспериментальное явление пьезоэлектричества.

Я написал заметку для «Философского журнала», уточнив, что Ваши работы предшествовали моим работам. Эта заметка, вероятно, попадет вовремя, чтобы появиться в октябрьском номере, а если нет, то уж, наверно, в ноябре...»

13 октября 1893 года:

«Дорогой господин Кюри, надеюсь завтра вечером приехать в Париж, и был бы Вам очень признателен, если бы Вы

могли назначить, в какое время, с этого дня до конца недели, будет Вам удобно разрешить мне явиться к Вам в лабораторию...»

Во время их свиданий, когда два ученых часами обсуждали научные вопросы, английский ученый с великим удивлением узнал, что Пьер Кюри работает без сотрудников, в жалком помещении, лучшее свое время отдает плохо оплачиваемым обязанностям и что почти никто в Париже не знает имени физика, на которого он, лорд Кельвин, смотрит как на мастера науки.

* * *

Пьер Кюри — не только замечательный физик, но и человек совсем особого склада: когда некоторые лица предлагают ему выдвинуть свою кандидатуру на должность, которая улучшит его материальное положение, он отвечает:

— Мне сказали, что один из профессоров, быть может, уйдет в отставку, а в таком случае я должен выставить свою кандидатуру на его место. Быть кандидатом на чье-нибудь место — пакостное дело, я не привык к подобным упражнениям, в высшей мере развращающим человека. Я сожалею, что со мной об этом заговорили. Думаю, что нет ничего более пагубного для духа, как отдаваться таким заботам.

Представленный директором Школы физики к знаку отличия (академическим пальмам), Пьер отказывается в следующих выражениях:

«Господин Директор,
господин Мюзе сказал мне, что Вы намерены снова предложить мою кандидатуру префекту для награждения знаком отличия.

Очень прошу этого не делать. Если Вы выхлопочете этот орден, я буду вынужден отказаться от него, так как твердо решил не принимать никаких отличий любого рода. Надеюсь, что Вы избавите меня от поступка, который поставит меня в несколько неловкое положение перед многими людьми.

Если Ваше намерение вызвано желанием доказать Ваше участие ко мне, то Вы это уже доказали и гораздо более действенным путем, предоставив мне возможность для работы по моему желанию, чем я был весьма тронут.

Примите уверения в моей преданности».

Пьер Кюри — и писатель, во всяком случае мог бы стать писателем. У этого человека, получившего такое оригинальное воспитание, есть свой стиль, — своеобразный, изящный, уверенный.

Мотто:
«Одурять погремушкой ум, который хочет мыслить» *.

«Чтобы я, человек слабый, не пустил мою башку гулять на все четыре стороны по воле малейшего встречного ветерка, необходима полная неподвижность всего вокруг меня или же мне надо самому завертеться так, как крутится гудящий волчок, и тогда уже само движение сделает меня невосприимчивым к окружающим вещам.

Если же я, стараясь закрутить себя волчком, сначала начинаю кружиться медленно, то в это время какой-нибудь пустяк — одно слово, чей-нибудь рассказ, газета, гость — останавливает меня, не дает мне стать гироскопом, или волчком, и может отодвинуть или задержать навсегда ту минуту, когда я, получив достаточную скорость, мог бы, несмотря на окружающее, сосредоточиться в самом себе.

Нам надо есть, пить, спать, бездельничать, любить, то есть касаться самых приятных вещей в этой жизни, и все же не поддаваться им. Но, делая все это, необходимо, чтобы те противные нашему естеству мысли, которым мы посвятили себя, оставались господствующими и продолжали свое бесстрастное движение в нашей бедной голове. Надо жизнь превращать в мечту, а мечту — в реальность».

Словом, в нем совмещались поэт и артист.

«Что будет со мной дальше? — писал он в дневнике за 1881 год. — *Я очень редко целиком принадлежу себе; обычно часть моего существа спит. Мне кажется, что с каждым днем мой ум все больше увядает. Прежде я пускался в рассуждения, научные, да и другие, теперь же я чуть касаюсь тем и не даю себе растворяться в них целиком. А как много, много мне надо сделать!*

Бедный мой ум, неужели ты так слаб, что не в силах воздействовать на мое тело? О мои мысли! Отчего вы не можете всколыхнуть мой бедный ум? Значит, вы ничтожны! А вы, самолюбие и честолюбие, разве вы не могли бы хоть подтолкнуть меня, неужели вы позволите мне жить такой жизнью? Я больше всего готов поверить в свое воображение, в то, что оно вытащит меня из обычной колеи, быть может, оно прельстит мой ум и увлечет его вслед за собой, но боюсь, что оно умерло...»

---

* **Виктор Гюго.** Король забавляется.

* * *

Поэт, а вместе с ним и физик был покорен Мари Склодовской. Пьер Кюри мягко, но настойчиво ищет сближения с польской девушкой. Два или три раза он виделся с ней на заседаниях Физического общества, где она слушала сообщения ученых о новых открытиях. В знак уважения он послал ей оттиск своей последней статьи «О симметрии в физических явлениях. Симметрия электрического и симметрия магнитного полей», а на первой странице надписал: «Мадемуазель Склодовской в знак уважения и дружбы автора». Он заприметил ее в лаборатории у Липпманна, где она, одетая в парусиновый халат, стояла, молча склонившись над своей аппаратурой.

Позже он попросил у нее разрешения явиться к ней с визитом. Мари дала ему адрес: улица Фейянтинок, 11.

Дружески сдержанно она приняла его в своей комнатке, и Пьер, скорбя душой при виде такой бедности, все же оценил тончайшее созвучие между этой личностью и обстановкой. Никогда еще Мари не казалась ему такой красивой, как в этом убогом жилище, в поношенном платье, с пылким и упрямым выражением лица. Ее юная фигура, похудевшая от аскетического существования, не могла найти для себя лучшего обрамления, чем нищенская мансарда.

Проходит несколько месяцев. По мере роста их взаимного уважения и симпатии крепнет дружба, растут интимность, взаимное доверие. Пьер Кюри уже пленен этой полькой с ясным и развитым умом. Он подчиняется ей и прислушивается к ее советам. Под ее влиянием он вскоре сбрасывает с себя ленивую беспечность, снова берется за свои работы по магнетизму и блестяще защищает докторскую диссертацию.

Сама Мари считает себя пока свободной. По-видимому, она не расположена услышать решительный вопрос, а ученый-физик не решается его задать.

В этот вечер, быть может, в десятый раз встретились они в комнатке на улице Фейянтинок. Июнь, прекрасная погода, послеобеденное время. На столе среди книг по математике, необходимых для подготовки к наступающим экзаменам, стоит стакан с несколькими белыми ромашками, принесенными Пьером и Мари с совместной прогулки. Мари наливает чай, подогретый на неизменной спиртовке.

Физик только что рассказывал подробно об одной своей работе, которой сейчас занят. Затем сразу, без перехода, говорит:

— Мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с моими ро-

дителями. Я живу с ними в Со, где мы снимаем домик. Они чудесные люди...

И он описывает Мари своего отца, высокого, нескладного старика, с живыми голубыми глазами, очень умного, кипучего, бурливого, как молочный суп, и в то же время на редкость доброго: свою мать, удрученную недугами, но искусную хозяйку, мужественную и веселую. Припоминая свое прекрасное детство, описывает бесконечные блуждания по лесам вдвоем с братом Жаком.

Мари слушает и удивляется: сколько совпадений, сколько таинственного сходства! Только переменить некоторые детали, перенести домик из Со на одну из варшавских улиц, и семья Кюри превратится в семью Склодовских. Если отбросить религиозный вопрос (доктор Кюри — вольнодумец и антиклерикал, не крестил своих сыновей), это такая же разумная и честная семья. То же уважение к культуре, такая же тесная сплоченность между родителями и детьми, та же любовь к природе...

Мари оживляется и с улыбкой на лице рассказывает о своих веселых каникулах в польской деревне, в такой же, какую она вновь увидит через несколько недель.

— Но в октябре вы вернетесь? Обещайте, что приедете опять. Если вы останетесь в Польше, вам будет невозможно продолжать свои занятия. Теперь вы не имеете права бросать науку!

В этих словах Пьера сказывается глубокое, томительное беспокойство. Мари понимает, что словами: «Вы не имеете права бросать науку» — он хочет сказать: «Вы не имеете права бросать меня».

Долгое время они молчат. Затем, подняв на Пьера свои пепельно-серые глаза, Мари отвечает еще нетвердым голосом:

— Думаю, что вы правы. Мне очень хотелось бы вернуться.

* * *

Пьер несколько раз возобновлял разговор о будущем. Наконец он прямо предложил Мари стать его женой. Но эта попытка потерпела неудачу. Выйти замуж за француза, навсегда бросить свою семью, отказаться от патриотической деятельности, расстаться с Польшей — все это казалось панне Склодовской каким-то ужасным предательством. Она не может! Не должна! Она блестяще выдержала экзамены, и теперь надо ехать в Варшаву, по крайней мере на лето, а может быть, и навсегда. При расставании с опечаленным Пьером она предлагает ему дружбу, уже недостаточную для него, и садится в поезд, ничего не пообещав...

Мысленно он следует за ней. Ему хотелось бы присоединиться к ней или в Швейцарии, где она проведет несколько недель со своим отцом, выехавшим ей навстречу, или же в Польше, в той самой Польше, к которой он ее ревнует. Но это невозможно...

Тогда он издали продолжает вести начатое дело. Где бы ни была Мари в это лето — в Креттаже, Львове, Кракове или в Варшаве — ее настигают письма, написанные корявым, немного детским почерком, они стремятся убедить, вернуть ее обратно, напоминая, что ее ждет Пьер Кюри.

Письма прекрасные, чудесные...

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 10 августа 1894 года:

«Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как вести о Вас. Перспектива ничего не слышать о Вас в течение двух месяцев представлялась мне крайне неприятной, а это значит, что присланное Вами письмецо было желанной вестью.

Надеюсь, что Вы хорошо отдыхаете и в октябре вернетесь к нам. Что касается меня, то я не отправился путешествовать, а остался в деревне, где целыми днями сижу у окна или в саду.

Мы дали обещание друг другу (неправда ли?) быть по крайней мере в большой дружбе. Только бы Вы не изменили своего намерения! Ведь прочных обещаний не бывает, такие вещи не делаются по заказу. А все-таки как было бы прекрасно то, чему я не решаюсь верить, а именно провести нашу жизнь друг подле друга, завороженными нашими мечтами: Вашей патриотической мечтой, нашей общечеловеческой мечтой и нашей научной мечтой.

Из всех них, по моему мнению, только последняя законна. Я хочу этим сказать, что мы бессильны изменить общественный порядок, да если б и могли, не знали бы, что делать, и, начав действовать в том или другом направлении, никогда бы не были уверены, что не приносим больше зла, чем добра, задерживая какое-либо неизбежное развитие. В научной сфере как раз обратно: мы можем рассчитывать на возможность сделать кое-что; в этой области почва крепче и вполне доступна, и как бы мало ни было достигнутое — это приобретение.

Видите, как все цепляется одно за другое. Мы условились быть близкими друзьями, но если через год Вы уедете из Франции, то дружба двух людей, которым не суждено видеться, будет уже слишком платонична. Не лучше ли остаться Вам со мной? Я знаю, что вопрос этот Вас раздражает, и я не стану больше говорить об этом, да и сознаю, что ни в какой степени не достоин Вас со всяких точек зрения.

У меня была мысль попросить у Вас разрешения встретиться с Вами нечаянно *во Фрейбурге. Но ведь, наверно, Вы там пробудете только один день, да и весь этот день Вы будете, конечно, принадлежать нашим друзьям Ковальским.*

Будьте уверены в преданности вашего Пьера Кюри.

Я был бы счастлив, если бы Вы соблаговолили написать мне и заверить, что в октябре собираетесь вернуться. Письма доходят до меня быстрее, если написать прямо в Со: Пьеру Кюри, 13, улица де Саблон в Со (Сена)».

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 14 августа 1894 года:

«Я так и не решился приехать к Вам, целый день я колебался, прежде чем пришел к отрицательному выводу. Первое впечатление от Вашего письма внушило мне, что мой приезд Вам не особенно желателен. Второе, что Вы все-таки очень любезно предоставляли мне возможность провести вместе три дня, и я собрался было ехать. Но затем мне стало как-то стыдно преследовать Вас, почти что против Вашей воли, и, наконец, мое решение остаться здесь было вызвано своего рода уверенностью, что мое присутствие будет неприятно Вашему отцу, лишив его удовольствия гулять с Вами вдвоем.

Теперь, когда время уже ушло, я сожалею, что не поехал. Как знать? Быть может, наша взаимная дружба стала бы прочнее оттого, что мы провели бы три дня вместе и укрепились бы в стремлении не забыть друг друга за два с половиной месяца нашей разлуки.

Вы не фаталистка? Помните день карнавала? Я вдруг потерял Вас в толпе. Мне кажется, что наши дружеские отношения оборвутся также вдруг и независимо от нашего желания. Я не фаталист, но такой разрыв может явиться следствием наших характеров. В нужный момент я не сумею действовать.

Впрочем, для Вас это будет хорошо, так как, и сам не знаю почему, я вбил себе в голову удержать Вас во Франции, отнять Вас от родины и семьи, не имея ничего хорошего предложить Вам взамен этой жертвы.

По-моему, Вы несколько преувеличиваете, уверяя, что вполне свободны. Все мы, по крайней мере, рабы наших привязанностей, рабы предрассудков, даже не своих, а дорогих нам лиц, мы должны зарабатывать себе на жизнь и вследствие этого становимся лишь колесиком в машине.

Самое тяжкое — это те уступки, какие приходится делать предрассудкам окружающего нас общества, больше или меньше, в зависимости от большей или меньшей силы своего характера. Если делаешь их слишком мало, тебя раздавят. Если делаешь

чересчур много, то унижаешь себя и делаешься противен самому себе. Вот и я уже отошел от тех принципов, каких придерживался десять лет тому назад: в то время я думал, что надо держаться крайности во всем и не делать ни одной уступки окружающей среде. Я думал, что надо преувеличивать и свои достоинства, и свои недостатки, носил только синие блузы, как у рабочих, и т. п.

Словом, Вы видите, я очень постарел и чувствую себя уставшим...

Желаю Вам много удовольствий.

Ваш преданный друг

П. Кюри».

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 7 сентября 1894 года:

«...Как Вы и сами можете предполагать, Ваше письмо меня тревожит. Я горячо советую Вам вернуться в Париж в октябре. Меня крайне огорчит, если Вы не приедете в этом году. Не из дружеского эгоизма я говорю Вам: возвращайтесь. Мне только кажется, что здесь Вы будете работать лучше и делать свое дело основательнее и с большей пользой.

...Что подумали бы Вы о человеке, если бы ему пришло в голову пробить лбом стену из тесаного камня? А ведь такая мысль может явиться в результате наилучших побуждений, но по существу она нелепа и смешна.

Я полагаю, что определенные вопросы требуют общего решения и в настоящее время уже не допускают ограниченного, местного решения, а когда вступаешь на путь, который ведет в тупик, то можно наделать много зла. Я полагаю также, что справедливости нет на этом свете и что побеждает наисильнейший. Человек изнуряет себя работой, а все-таки живет нищим. Это возмутительно, но от этого ничего не изменится. А если перемены и будут, то только потому, что человек — своего рода машина: с точки зрения экономики выгодно пользоваться любой машиной, соблюдая нормальный режим работы, не насилуя ее.

У Вас удивительные понятия об эгоизме. Когда мне было двадцать лет, меня постигло большое горе — я потерял подругу детства, которую я очень любил, при ужасных обстоятельствах; у меня не хватает мужества рассказать Вам все... После ее гибели меня и днем, и ночью преследовали кошмары, мне доставляло какое-то удовольствие терзать самого себя. Затем я стал жить, как живут монахи, потом дал себе обет интересоваться лишь наукой и больше не думать ни о людях, ни о самом себе. Уже впоследствии я часто спрашивал себя, не было ли это от-

речение от жизни простой уловкой перед самим собой, чтобы иметь право все забыть...

Можно ли в Вашей стране свободно переписываться? Я сильно сомневаюсь в этом и думаю, что впредь лучше не заниматься в наших письмах такими рассуждениями, которые, несмотря на чисто философский их характер, могут быть дурно истолкованы и причинить Вам неприятности.

Если Вы соблаговолите мне написать, то адресуйте: 13, улица Саблон.

Ваш преданный друг

Пьер Кюри».

Пьер Кюри — Мари Склодовской, 17 сентября 1894 года:

«Меня очень встревожило Ваше предыдущее письмо, я чувствовал, что Вы смущены и в нерешительности. Но письмо из Варшавы успокоило меня, я чувствую, что к Вам вернулось спокойствие. Ваш портрет мне очень нравится. Какая хорошая мысль прислать мне его, благодарю Вас от всего сердца.

Наконец-то Вы приедете в Париж, и это меня очень радует. Я горячо желаю, чтобы мы стали по меньшей мере неразлучными друзьями. Того ли мнения придерживаетесь и Вы?

Если бы Вы были француженкой, Вы легко стали бы здесь преподавательницей в каком-нибудь лицее или нормальной школе для девиц. По душе ли Вам эта профессия?

Ваш преданный друг

Пьер Кюри.

Я показал Вашу фотографию своему брату. Не виноват ли я? Он нашел, что Вы очень хороши. И добавил: «Вид у нее решительный, даже строптивый!»

* * *

Вот и октябрь. Сердце Пьера преисполнено счастьем. Мари сдержала обещание и вернулась в Париж. Ее видят и на лекциях в Сорбонне, и в лаборатории Липпманна. Но в этом году — по ее предположениям, последнем для нее во Франции — она живет уже не в Латинском квартале. Броня уступила ей комнату при своем приемном кабинете, который она открыла на улице Шатодэн, 39. Так как Длусские живут на улице Ля Вийет и Броня приходит на улицу Шатодэн только днем, Мари может работать там спокойно.

В этой-то мрачной, немного печальной комнате Пьер продолжает говорить ей о своих чувствах. По-моему, он так же упорен, как Мари. В нем сидит та же вера, что и у будущей его

жены, но еще более целостная, еще более свободная от всякой примеси. Наука для него — единственная цель. Поэтому его любовная история своеобразна, почти невероятна, поскольку в ней перемешиваются в одно и сердечное влечение, и основное стремление его ума. Человека науки тянет к Мари и порыв страсти, и в то же время высшая духовная потребность.

Он готов пожертвовать тем, что люди зовут счастьем, ради счастья, известного только ему. Он предложил Мари проект, на первый взгляд до того ошеломляющий, что мог бы сойти за хитрость, но в действительности вполне логично вытекавший из натуры Пьера. Если Мари его не любит, то не согласится ли она на чисто дружескую сделку: работать в квартире на улице Муфтар, где окна выходят на сады, а всю квартиру можно разделить на две независимые друг от друга половины?

Или же он, Пьер Кюри, поселится в Польше, но ведь тогда ей неизбежно придется выйти за него замуж? Вначале он будет давать уроки французского языка, а после, худо ли, хорошо ли, он вместе с ней займется научной работой.

Перед бывшей гувернанткой, когда-то встретившей пренебрежение со стороны семьи польских помещиков, предстает скромным просителем этот единственный в своем роде человек.

Мари делится с Броней своими колебаниями и рассказывает о предложении Пьера, о его готовности покинуть родину. Она лично не считает себя вправе принять такую жертву, но потрясена самим фактом подобного предложения со стороны Пьера.

Узнав, что Мари говорила о нем у Длусских, Пьер предпринимает натиск и с этой стороны. Он заходит к Броне, с которой уже не один раз встречался, всецело привлекает ее на свою сторону и приглашает вместе с Мари в Со, к своим родителям. Супруга доктора Кюри отводит Броню в сторону, настойчиво и проникновенно просит ее повлиять на младшую сестру.

— Нет в мире человека такого, как мой Пьер, — говорит она. — Пусть ваша сестра не колеблется. Ни с кем она не будет так счастлива, как с ним!

Но пройдет еще десять месяцев, прежде чем Мари свыкнется с мыслью о замужестве. Как истая «развитая» духовно славянка, она обуреваема всякими теориями о жизни, о своем долге. Некоторые из ее теорий прекрасны и великодушны, другие — одно ребячество. Конечно, не они — и Пьер это давно понял — определяют превосходство Мари как человека. Ученый невысоко ценит те жизненные правила, какие у Мари являются общими с несколькими тысячами ее культурных соотечественников. То, что его привлекает и так чарует в ней, — это ее пол-

ная преданность научной работе, предчувствие ее одаренности, а также ее мужество и благородство. У этой изящной девушки и характер, и дарования большого ученого.

А ее правила? Но ведь он тоже долго жил по правилам, пока жизнь не взялась показать ему всю их нелепость. Он тоже давал себе слово не жениться. Трагический конец пылкой любви в юности принудил его уйти в самого себя и вычеркнуть женщин из жизни. Он решил никогда не влюбляться. Это благое желание охранило его от пошлого союза и сберегло для встреч с женщиной редкой, созданной для него. Теперь он не совершит глупости, упустив возможность большого счастья и чудесного сотрудничества. Он хочет, чтобы эта девушка-полька, эта женщина-физик, ставшая для него необходимой, принадлежала ему.

Свои намерения он мягко излагает мадемуазель Склодовской. Благодаря такого рода разговорам, да и другим, более нежным, благодаря взятой над ней опеке, благодаря непреодолимому, глубокому очарованию своей личности Пьер Кюри мало-помалу превращает былую отшельницу в живого человека.

* * *

14 июля 1895 года брат Мари, Юзеф, присылает ей из Варшавы теплое согласие семейства Склодовских:

«...Поскольку ты теперь невеста господина Кюри, я прежде всего шлю тебе мои самые искренние пожелания найти в замужестве столько же счастья и радости, сколько ты заслуживаешь, и по моему мнению и по мнению всех, кто знает твое прекрасное сердце и твой характер.

Я думаю, что ты права, следуя велению сердца, и ни один справедливый человек не может упрекнуть тебя за это. Зная тебя, я убежден, что всей своей душой ты навсегда останешься полькой, а своим сердцем никогда не перестанешь быть членом нашего семейства. Мы тоже никогда не перестанем тебя любить и смотреть на тебя, как на родную.

...Для меня во сто раз лучше знать, что ты живешь в Париже счастливой и довольной, чем видеть тебя здесь сокрушенной, если бы ты вернулась на родину ценою своей разбитой жизни и жертвой чересчур утонченного представления о своем долге. Теперь во что бы то ни стало мы должны видеться как можно чаще. Крепко целую тебя, дорогая Маня, и еще раз желаю тебе счастья, радости, успеха. Передай своему жениху мой теплый привет. Скажи ему, что я с удовольствием принимаю его как будущего члена нашей семьи и предлагаю ему мою

безусловную дружбу и симпатию. Надеюсь, что и он будет питать ко мне уважение и дружбу.

Искренне любящий тебя брат

Юзеф».

Спустя несколько дней Мари пишет подруге Казе и сообщает о своем важном решении:

«Когда получишь это письмо, твоя Маня уже переменит свою фамилию. Я выхожу замуж за того человека, о котором говорила тебе в Варшаве прошлым летом. Мне очень прискорбно остаться навсегда в Париже, но что поделаешь? Судьбе было угодно, чтобы мы глубоко привязались друг к другу, и мысль о разлуке для нас невыносима.

Я не писала тебе потому, что все решилось совсем недавно и очень быстро. Целый год я колебалась и не знала, на что решиться. В конце концов я примирилась с мыслью остаться здесь. Как только получишь письмо, напиши:

Мадам Кюри. Школа физики и химии, улица Ломон, 42.

Так буду я зваться впредь. Мой муж — профессор в этом институте. В будущем году я привезу его в Польшу познакомить с моей родиной и представлю его непременно моей названной сестре, а ее попрошу любить его».

26 июля 1895 года Мари в последний раз просыпается в комнате на улице Шатодэн. Чудесная, ясная погода. В лице девушки что-то новое, сияющее, чего не знали ее университетские подруги. Сегодня панна Склодовская станет мадам Пьер Кюри.

Она причесывает свои восхитительные волосы, надевает «подвенечное» платье — подарок старухи-матери Казимежа Длусского.

«У меня нет платья, кроме того, что на мне, — сказала ей Мари.— Если вы так добры и собираетесь подарить мне другое, то мне бы хотелось темное, вполне практичное, какое я могла бы потом носить в лаборатории». Под руководством Брони дешевая портниха с улицы Данкур, мадам Гле, сшила костюм из темно-синей шерстяной материи и синюю блузку со светло-голубыми полосками, которая так красит, так молодит Мари.

Мари по душе сама идея сегодняшнего бракосочетания, этого большого дня, обещающего быть даже в мелочах не таким, как у всех. Ни белого платья, ни золотых колец, ни свадебного пира. Никакого церковного обряда: Пьер — вольнодумец, а она перестала ходить в костел. Не будет и нотариуса, так как у сочетающихся браком нет ровно ничего, ничего, кроме двух сверкающих велосипедов, купленных вчера благодаря денежному

свадебному подарку одного родственника; летом они на них станут ездить за город.

Да, их свадьба будет прекрасной, ее свидетелем не станут ни равнодушие, ни пустое любопытство, ни зависть. У мэра в Со, а затем у родителей Пьера, в саду на улице Саблон, будут Броня, Казимеж, несколько самых близких друзей из университета и приехавший из Варшавы вместе с Элей старик Склодовский, считающий вопросом своей чести говорить со старым доктором Кюри на безупречном французском языке.

Прежде всего он ему скажет взволнованно, но тихо слова, идущие от доброты его души:

— Мари будет вам дочерью, достойной любви. Никогда, со дня своего появления на свет, она ничем меня не огорчала.

* * *

Пьер зашел за Мари на ее квартиру. Им надо ехать до Люксембургского вокзала и сесть на поезд, идущий в Со, где ждут родные. Сидя на империале омнибуса, при веселом свете солнца они едут вдоль бульвара Сен-Мишель и с высоты своей триумфальной колесницы смотрят на проходящие перед глазами знакомые места.

Проезжая мимо Сорбонны, мимо входа на факультет естествознания, Мари чуть крепче сжимает локоть Пьера, ловя глазами его сияющий, умиротворенный взгляд.

МОЛОДОЖЕНЫ

Чудесны первые дни совместной жизни. На своих знаменитых велосипедах Пьер и Мари разъезжают по дорогам Иль-де-Франса. В багажники втиснуто кое-что из платья и два длинных прорезиненных плаща, купленных поневоле — из-за дождливого лета. Усевшись на мшистой полянке где-нибудь в лесу, они завтракают хлебом с сыром, персиками и вишнями. Вечером останавливаются в первой попавшейся гостинице. Там они получают густой горячий суп и комнату, оклеенную выцветшими обоями, по которым пляшут тени от свечи.

Когда им хочется обследовать лесные заросли или скалы, они прерывают свое путешествие прогулкой пешком. Пьер страстно любит природу, и, несомненно, длинные молчаливые прогулки необходимы его дарованию, ровный ритмичный шаг способствует размышлениям ученого. Он не может оставаться бездеятельным даже в саду. Он не умеет «просто отдыхать». Не любит и классических прогулок по намеченным маршрутам.

Не признает определенности во времени. Почему принято гулять только днем, а не ночью, затем назначать точные, неизменные часы для еды? Пьер привык с детства уходить из дому как-то вдруг, то на утренней заре, то в сумерках, не зная, вернется ли он через час или через три дня. О своих прогулках вместе с братом он сохранил удивительные воспоминания:

«О! Как хорошо провел время в этом благодатном безлюдье, вдали от множества досадных мелочей, терзающих меня в Париже. Нет, я не жалею о ночах в лесу и днях, проведенных в одиночестве. Будь у меня свободное время, я дал бы себе волю рассказать о множестве разнообразных грез, каким я предавался там. Хотелось бы мне описать прелестную долину, благоухающую ароматами растений; красивый лес, густой и влажный, пересеченный речкой Бьевр; дворец фей с колоннами, затянутыми хмелем; скалистые холмы, все красные от вереска, где было так приятно посидеть. Да, постоянно, с глубокой благодарностью я буду вспоминать о лесе; из всех знакомых уголков он мой самый любимый, и в нем я чувствовал себя наиболее счастливым. Я уходил туда нередко вечером и шел моей долиной, и оттуда я возвращался с двумя десятками разнообразных идей в голове...»

В 1895 году такие «свадебные вылазки» стали еще приятнее: любовь приукрашивает и вдохновляет их. Несколько франков за комнату в деревне и тысячи нажимов на педали дают супругам роскошную возможность наслаждаться волшебными днями и ночами в полном уединении, только вдвоем.

Сегодня Пьер и Мари, оставив велосипеды в крестьянском домике и захватив с собой только компас и фрукты, шествуют по тропке куда-то наугад. Пьер идет впереди широким шагом. Мари, не отставая, следует за ним. Нарушая приличия, она укоротила юбки, чтобы идти свободнее. Голова не покрыта. На Мари белая, чистенькая, хорошенькая блузка, талия стянута кожаным, не очень изящным, но практичным поясом с кармашками, где лежат перочинный нож, деньги и часы.

Даже не оборачиваясь, чтобы поймать взгляд своей жены, Пьер громко излагает ход своих мыслей и говорит о трудности одной своей работы по кристаллографии. Он знает, что Мари слушает его, что она ему ответит, и ответ ее будет умным, оригинальным и полезным. У нее тоже большие планы. Она намерена подготовиться к конкурсу на получение звания преподавателя средней школы и почти уверена, что директор Школы физики Шютценбергер даст ей разрешение заниматься исследо-

ваниями в той же лаборатории, где работает и Пьер. Быть все время вместе! Никогда не расставаться!

Пробираясь сквозь лесные заросли, они доходят до берега маленького пруда, кругом поросшего тростником. Пьер с детской радостью исследует флору и фауну этого стоячего бассейна. Он превосходно знает всех животных: наземных и водяных, саламандр, стрекоз, тритонов. В то время как жена его улеглась на берегу, он ловко пробирается по стволу упавшего дерева и с риском упасть и искупаться тянется за желтыми ирисами, за белыми кувшинками, плавающими на воде.

Мари лежит неподвижно, почти дремля, и смотрит в небо, где проплывают облачка. Вдруг она вскрикивает, почувствовав на ладони что-то холодное и мокрое. Это зеленая трепещущая лягушка, которую Пьер осторожно положил ей на руку. Он это сделал не ради шутки; дружба с лягушками, на его взгляд, дело вполне естественное.

— Пьер... Послушай, Пьер! — возмущается она, пугливо отстраняясь.

Физик обижен.

— Неужели ты не любишь лягушек?

— Люблю, но не у себя в руках...

— Совершенно напрасно,— говорит он невозмутимо,— это так занятно — разглядывать лягушку. Раскрой тихонько пальцы... Ну посмотри, какая она миленькая!

Пьер снимает с ее руки лягушку, и Мари облегченно улыбается. Он кладет лягушку на берег, возвращая ей свободу. Но ему уже надоела остановка, он идет дальше по тропинке. Мари вскакивает и следует за ним, украсив голову венком из кувшинок и желтых ирисов.

Вновь увлеченный неотступной мыслью о своей работе, Пьер сразу забывает и лес, и небо, и пруд, и лягушку. Он раздумывает о малых и больших трудностях в исследованиях, о волнующих тайнах роста кристаллов. Описывает аппаратуру, какую собирается создать для нового опыта. И снова слышит голос Мари, ее ясные вопросы, ее разумные ответы.

В эти счастливые дни завязываются прекраснейшие из уз, какие когда-либо соединяли мужчину с женщиной. Два сердца бьются в унисон, два тела сливаются воедино, два одаренных мозга привыкают мыслить сообща. Мари нельзя было выйти замуж ни за кого другого, кроме этого физика, умного и благородного человека. Пьеру нельзя было жениться ни на какой другой женщине, кроме этой белокурой, живой и нежной польки, которая умеет быть на протяжении нескольких минут ребячливой и серьезной, товарищем и подругой, ученым и возлюбленной.

* * *

Теплое, чудесное лето! В середине августа молодые супруги устраиваются в Шантийи, на ферме под названием «Козочка»: ее отыскала та же Броня и сняла на несколько месяцев это тихое жилище. Пьер и Мари поселяют у себя старушку Длусскую, Казимежа, Броню, их дочку Елену, по прозвищу Лу, и старика Склодовского с Элей, продливших свое пребывание во Франции. Очарование поэтического дома, одиноко стоящего в лесу, населенном фазанами и зайцами и устланном листвою ландышей. Очарование дружбы, сблизившей две нации и три поколения.

Пьер Кюри покорил семью своей жены. Он ведет научную беседу с месье Склодовским, очень серьезно разговаривает с трехлетней Лу, общей любимицей, хорошенькой, забавной и веселой. Иногда наезжают из Со доктор Кюри с женой. Тогда разговор оживляется, переходит с химии на медицину, на воспитание детей, к общим взглядам на Францию, на Польшу.

В Пьере нет и следа недоверия к иностранцам, как это часто бывает у наших польских патриотов. Он очарован Склодовскими и Длусскими. Чтобы доказать жене свою любовь к ним, он, несмотря на сомнения Мари, обязуется выучить польский язык, самый трудный из европейских языков, а так как Польша порабощена, то и самый бесполезный.

В «Козочке» Пьер проходит курс «ополячивания», а в Со, куда он увозит в сентябре свою жену, наступает очередь Мари «офранцуживаться». Ей только этого и надо. Мари уже полюбила родителей мужа, теплота их чувств смягчит ее тоску, когда старик Склодовский с Элей уедут к себе в Варшаву.

Женитьба Пьера на бедной иностранке, взятой с мансарды Латинского квартала, не оскорбила, не удивила таких исключительных людей, как старики Кюри. Мари пленила их с первых минут знакомства. И дело было не только в ее «славянском обаянии». Их удивляет и ее мужской ум, и ее твердый характер.

В числе новых впечатлений от окружающей среды в Со ее поразила пылкая политическая страстность свекра и его друзей. Доктор Кюри, увлеченный идеями 1848 года, был в близкой дружбе с радикалом Анри Бриссоном. Характер у него воинственный. Мари, воспитанная в борьбе против чужеземных угнетателей и преданности мирному общественному идеалу, знакомится теперь с политическими спорами, которые так нравятся французам. Она прислушивается к длинным прениям, к изложению кипучих теорий, задорных, но и великодушных. Устав от них, она бежит к мужу, молчаливому мечтателю, стоя-

щему в стороне от этих споров. Если воскресные гости стараются втянуть и Пьера в дружеское обсуждение событий сегодняшнего дня, физик мягко, как бы извиняясь, говорит им: «Я недостаточно крепок, чтобы приходить в гнев!»

Только дело Дрейфуса явилось тем редким исключением, когда Пьер Кюри потерял свою обычную сдержанность и бросился в политическую борьбу. Но и тогда поведение его было продиктовано не как-нибудь политической платформой: вполне естественно он стал на сторону невинного и преследуемого человека. Просто, как человек справедливый, он вступил в бой с вызывавшей в нем отвращение несправедливостью.

* * *

В новой квартире на улице Гласьер, 24, где с октября поселились молодожены, окна смотрят на деревья большого сада. Это единственная прелесть квартиры, на удивление лишенной комфорта.

Мари и Пьер ничего не сделали для украшения трех маленьких комнат. Даже отказались от меблировки, предложенной им доктором Кюри. Каждый диван, каждое кресло — только лишний предмет для вытирания пыли по утрам и наведения лоска в дни общей уборки. У Мари нет ни сил, ни времени для этого. Да и к чему все эти диваны, кресла, раз молодые Кюри с обоюдного согласия отменили у себя прием гостей и вечеринки? Назойливый посетитель, взобравшийся на пятый этаж с целью потревожить молодых супругов в их берлоге, потеряет к этому всякую охоту, когда попадет в «кабинет» с голыми стенами, книжным шкафом и столом из простых досок. У одного конца стола стоит стул для Мари, у другого — для Пьера. На столе книги по физике, керосиновая лампа и букет цветов. Ничего больше. Очутившись перед двумя стульями и изумленными взорами Мари и Пьера, самому дерзкому не оставалось ничего другого, как бежать...

Пьер жил во имя одной идеальной цели: заниматься научными исследованиями бок о бок с любимой женщиной, живущей теми же интересами. Жизнь Мари сложнее: помимо любимого труда на нее падают все будничные, утомительные обязанности замужней женщины. Теперь она не может пренебрегать материальной стороной жизни так, как в свои студенческие годы. Первой ее покупкой после возвращения с каникул была счетоводная тетрадь в черном переплете с многозначительной надписью золотыми буквами «Расходы».

Пьер зарабатывает в Школе физики пятьсот франков в месяц. Пока Мари не получит диплома на право преподавания

во Франции, эти пятьсот франков останутся единственным средством существования супружеской четы.

Все было бы прекрасно: на эти деньги скромная семья может жить прилично. Беда в том, что надобно вместить в двадцать четыре часа все утомительные дела на данный день. Большую часть времени Мари проводит в лаборатории института, где ей отвели собственное место. Лаборатория, конечно, счастье! Но ведь там, на улице Гласьер, нужно убрать постель, подмести паркет. Надо, чтобы у Пьера было в полном порядке платье и приличная еда. А прислуги нет...

Мари встает очень рано, чтобы сходить на рынок, а в конце дня, возвращаясь под руку с Пьером из института, заходит к бакалейщику, к молочнику. Где те времена, когда беспечная мадемуазель Склодовская не ведала таинственных ингредиентов, необходимых для приготовления бульона? Мадам Кюри считает долгом чести это знать! Как только вопрос о замужестве был окончательно решен, вчерашняя студентка стала тайно брать уроки по кулинарии у Брони и старухи Длусской. Научилась жарить картофель и цыплят и честно готовит кушанья для Пьера, а он — сама снисходительность, да к тому же так рассеян, что даже не замечает ее стараний.

Ребяческое самолюбие подзадоривает Мари. Какой был бы удар, если бы ее свекровь-француженка в один прекрасный день, взглянув на неудавшийся омлет, спросила, чему же учат варшавских девушек? Мари читает, перечитывает поваренную книгу, добросовестно делает на полях отметки, описывая в строго научных терминах свои опыты, провалы и удачи.

Она изобретает блюда, не требующие больших хлопот, способные «доходить» сами собой за те часы, когда она бывает в институте. Но кухня оказывается делом не легче химии и также полна тайн! В какую воду класть говядину — в холодную или в горячую? Сколько времени варить зеленую фасоль? Стоя у плиты, Мари с раскрасневшимися от жары щеками тяжко вздыхает. Насколько проще было раньше, когда она питалась хлебом с маслом, чаем, редиской, вишнями!

Мало-помалу Мари набирается хозяйственной премудрости. Газовый шкаф, несколько раз превращавший жаркое в уголь, теперь понял свои обязанности. Перед уходом Мари регулирует пламя с точностью физика, затем, окинув тревожным взглядом доверенные огню кастрюли, запирает входную дверь, скатывается с лестницы и догоняет мужа, чтобы идти с ним вместе в институт.

Через четверть часа, склонясь над приборами другого вида, она так же старательно отрегулирует высоту пламени лабораторной горелки.

* * *

Восемь часов на научные исследования, три на домашние дела. Но это еще не все. Вечером, расписав ежедневный бюджет по рубрикам с пышными названиями: «расход на мужа», «расход на жену», Мари Кюри садится у дощатого стола и самозабвенно готовится к конкурсу на звание преподавателя. По другую сторону лампы Пьер, склонив голову, составляет программу своего нового курса в Школе физики. Временами, почувствовав на себе его взгляд, Мари поднимает глаза. Любящие друг друга мужчина и женщина обмениваются улыбкой. До двух-трех часов ночи еще светится огонь у них в квартире, а в кабинете о двух стульях слышится нежное пианиссимо в шорохе переворачиваемых страниц и торопливого пера.

Мари — Юзефу Склодовскому, 23 ноября 1895 года:

«...У нас все благополучно: мы здоровы и жизнь нас милует. Мало-помалу устраиваю нашу квартиру, но рассчитываю сохранить в ней стиль, не вызывающий никаких хлопот и не требующий ухода, так как я мало пользуюсь чужими услугами: на один час в день приходит женщина вымыть посуду и сделать черную работу. Я сама готовлю и веду хозяйство.

Через каждые несколько дней мы ездим в Со навестить родных мужа. Это не нарушает ритма нашей работы. Нам предоставлены две смежные комнаты на втором этаже, что нам и требуется; там мы чувствуем себя как дома и можем свободно делать ту часть работы, какую нельзя выполнить в лаборатории.

В хорошую погоду мы ездим в Со на велосипедах, а железной дорогой пользуемся только в том случае, если дождь льет как из ведра.

Мои «доходные предприятия» пока не определились, надеюсь получить в этом году одну работу, которую буду выполнять в лаборатории. Это работа полунаучная, полутехническая, и я предпочла бы ее урокам».

Мари — Юзефу Склодовскому, 18 марта 1896 года:

«...Жизнь наша по-прежнему однообразна. Мы ни с кем не видимся, кроме Длусских в Париже и родителей мужа в Со. Почти не бываем в театрах и не позволяем себе никаких развлечений. Возможно, что на пасху воспользуемся несколькими днями каникул и отправимся в экскурсию.

Мне очень горько, что не могу быть на свадьбе Эли. Если бы никого из нас не было в Варшаве, я, может быть, несмотря на затруднения, нашла бы деньги на проезд. Но, к счастью, Эля там не одинока. И я вынуждена отказаться от этой большой радости, не имея возможности позволить ее себе без угрызений совести.

Уже несколько недель стоит теплая погода. За городом все зелено. Обыкновенные фиалки появились в Со еще в феврале, а теперь их множество: садовые клумбочки полны ими. На улицах в Париже продают много цветов по очень доступным ценам, и у нас в квартире всегда стоят букеты».

Мари — Юзефу и его жене, 17 июля 1896 года:

«Дорогие мои, мне так хотелось этим летом приехать на родину и обнять вас! Но, увы! Об этом даже думать нечего из-за недостатка денег и отсутствия времени. Я держу экзамены на звание преподавателя, а они могут продлиться до половины августа...»

В конкурсе на звание преподавателя средней школы Мари заняла первое место. Не говоря ни слова, Пьер покровительственно и гордо обнимает свою польку. Обнявшись, они доходят до улицы Гласьер... и не теряя не минуты накачивают шины своих велосипедов, увешанных пакетами. В Овернь — на разведку!

Как щедро тратят оба супруга свои умственные и физические силы! Даже их каникулы — это какой-то разгул человеческой энергии.

«Лучезарное воспоминание,— будет писать потом Мари,*— осталось у нас об одном солнечном дне, когда после длинного, тяжелого подъема ехали по зеленым лугам Обрана, в чистом воздухе высоких плато. Другое яркое воспоминание оставил один вечер, в долине Трюйер, где уже в сумерках мы задержались, наслаждаясь народной песней, что неслась с лодки, плывшей по течению, и замирала где-то вдали. Плохо рассчитав время на дорогу, мы не могли добраться до нашей квартиры раньше утренней зари из-за встречи с какими-то телегами: лошади испугались велосипедов, и нам пришлось срезать путь по вспаханным полям; затем мы снова попали на дорогу, идущую по высокому плато, залитому нереальным лунным светом, и только сонные коровы, ночевавшие в загонах, подходили к загородке и степенно разглядывали нас большими, спокойными глазами».*

* * *

Второй год замужества. От первого он отличается лишь состоянием здоровья Мари, нарушенного беременностью. Мадам Кюри хочет иметь ребенка, но чувствует она себя настолько слабой, что с трудом может стоять у приборов. И она жалуется.

Мари — Казе, 11 марта 1897 года:

«Дорогая Казя, я запоздала поздравить тебя с днем рождения, но за последнее время я чувствую себя очень больной, а это лишает меня энергии и трезвости в мыслях, необходимых для писания.

У меня будет ребенок, но надежда на него достается жестоким образом. Больше двух месяцев у меня постоянные головокружения, и это с утра до вечера — весь день. Я сильно утомляюсь и слабею, чувствую себя не способной к работе и плохо в моральном отношении.

Мое состояние тем более меня тревожит, что моя свекровь тяжело больна...»

Мари — Юзефу Склодовскому, 31 марта 1897 года:

«...Ничего нового. Я все время болею, хотя нисколько не чахну — у меня даже хороший вид. Моя свекровь все больна, а так как болезнь ее неизлечима (рак груди), то это нас очень угнетает. Особенно боюсь того, что развязка ее болезни и моей беременности наступят в одно время. Если случится так, то бедному Пьеру придется пережить тяжкие недели».

В июле 1897 года Пьер и Мари, уже два года почти не покидавшие друг друга ни на один час, впервые расстаются. Старик Склодовский приехал на лето во Францию и устроился вместе с Мари в гостинице «Рош-Гриз» в Пор-Блане, где он заботится о дочери, пока Пьер, задержавшийся в Париже, сможет присоединиться к ним.

Пьер — Мари, июль 1897 года:

«Моя милая, дорогая девочка, которую люблю так сильно. Я получил сегодня твое письмо и очень счастлив. Здесь ничего нового, только мне очень не хватает тебя: моя душа осталась с тобой...»

Эти строки старательно написаны... по-польски, на том трудном языке, из которого физик усвоил наиболее нежные

слова. Мари отвечает ему тоже на польском языке. Подбирает детские простые фразы, чтобы Пьеру было легче разобраться:

«Дорогой муж, погода прекрасная, солнце светит, тепло. Я очень грущу по тебе, приезжай скорее. Жду тебя с утра до вечера, а тебя все нет. Я здорова, работаю, сколько могу, но книга Пуанкаре труднее, чем я думала. Мне надо поговорить о ней с тобой и вместе пересмотреть то, что для меня трудно».

Перейдя на французский язык в других письмах, начинающихся: «Моя горячо любимая детка», Пьер наспех описывает свою жизнь в Со и свою работу. Совершенно серьезно говорит о пеленках, кофточках и рубашечках для будущего ребенка.

«...Сегодня отправил почтой посылку на твое имя. Ты в ней найдешь две вязаные кофточки, кажется, от мадам П. Размер маленький и соответствующего покроя. Маленький размер годится для кофточек эластичной вязки, но из бумажной материи следует делать пошире. Тебе надо иметь кофточки двух размеров».

И тут же подыскивает серьезные и редкостные слова для выражения своей любви:

«...Я думаю о своей милой, наполняющей всю мою жизнь, и мне хотелось бы иметь необыкновенные способности. Мне кажется, если я сосредоточу свои мысли только на тебе, как я сейчас сделал, я непременно увижу и самое тебя, и чем ты занята, а вместе с тем дам тебе почувствовать, что в эту минуту я весь принадлежу тебе,— но образное представление мне не дается».

В начале августа Пьер мчится в Пор-Блан. Можно подумать, что умиленный состоянием Мари на восьмом месяце беременности он спокойно проведет с ней это лето? Нисколько! Как безумные или, вернее, как ученые, не сознавая того, что делают, они садятся на велосипеды и едут в Брест, совершая перегоны не короче обычных. Мари все время утверждает, что не чувствует усталости, а Пьеру очень хочется верить этому. У него смутное представление о ней как о существе сверхъестественном, не подвластном человеческим законам.

Однако на этот раз ее тело стало просить пощады, и Мари, к своему великому стыду, была вынуждена, прервав поездку, вернуться в Париж, где и родила 12 сентября дочь Ирен, чудесного младенца, будущую обладательницу Нобелевской пре-

мии! Доктор Кюри присутствовал при родах, которые Мари Кюри перенесла, стиснув зубы, но не вскрикнув.

Рождение не произвело никакого шума и обошлось недорого. В счетной тетради за 12 сентября под рубрикой «экстренные расходы» находим запись: «Шампанское — 3 франка. Телеграммы — 1 франк 10 сантимов». А в графе «болезни»: «Лекарство и сиделка — 71 франк 50 сантимов». Однако же расход семейства Кюри за сентябрь месяц — 430 франков 40 сантимов — настолько превысил норму, что Мари выразила свое недовольство, подчеркнув цифру 430 двумя жирными линиями.

* * *

Мысль о выборе между семейной жизнью и ученой карьерой даже не приходила в голову Мари. Она решила действовать на всех фронтах: любви, материнства и науки,— ничем не поступаясь. Страстное желание и воля обеспечили ей успех и тут.

Мари — пану Склодовскому, 10 ноября 1897 года:

«Я продолжаю сама кормить мою принцессу, но за последнее время у нас возникли опасения, что я не в состоянии кормить. За три недели вес ребенка стал резко уменьшаться. У Ирен плохой вид, угнетенный и вялый. В последние дни ей стало лучше. Если ребенок станет нормально прибавлять в весе, я буду продолжать ее кормить сама. В противном случае возьму кормилицу, хотя это и огорчит меня и вызовет дополнительные расходы: ни за какие блага мира я не допущу ничего вредного для развития ребенка.

Погода стоит отличная, тепло, солнечно. Ирен гуляет каждый день или со мной, или со служанкой. Я купаю ее в бачке для стирки».

Вскоре, по строгому предписанию врача, Мари пришлось бросить кормление дочери. Но утром, в полдень, вечером и ночью она сама меняет пеленки, купает, одевает. Кормилица гуляет с девочкой в парке Монсури, а в это время молодая мать трудится в лаборатории и пишет работу о магнитных свойствах закаленных сталей, которая появится в «Известиях Общества поощрения национальной промышленности».

В один и тот же год, с промежутком в три месяца, Мари дала миру своего первого ребенка и результат своих первых изысканий.

Здоровье Мари ухудшилось со времени беременности. Казимеж Длусский и доктор Вотье, постоянный врач семьи Кюри,

говорят о туберкулезном очаге в левом легком. Встревоженные опасной наследственностью Мари, мать которой умерла от чахотки, они советуют ей провести несколько месяцев в санатории. Но упрямица выслушивает их рассеянно и наотрез отказывается последовать совету.

У нее много других забот! Лаборатория, муж, дом, дочь. Плач Ирен, у которой прорезываются зубки, или грипп, или какая-нибудь более мелкая напасть частенько нарушают домашний покой и вынуждают обоих физиков проводить бессонные, томительные ночи. Или же Мари, охваченная внезапной паникой, вдруг оставляет лабораторию и бежит в парк Монсури. Не потеряла ли кормилица свою питомицу? Нет... Она еще издали замечает кормилицу, колясочку, в которой шевелится что-то в белом.

Свекор оказался драгоценным помощником Мари. Доктор Кюри, потеряв жену через несколько дней после рождения Ирен, нежно привязался к ребенку. Он наблюдает за ее первыми попытками ходить в садике на улице Саблон.

Когда Пьер и Мари переедут с улицы Гласьер в небольшой флигель на бульваре Келлермана, старик поселится у них. Он станет воспитателем Ирен и самым близким ее другом.

* * *

Какой путь пройден с ноябрьского утра 1891 года, когда эта полька с кучей всяких свертков прибыла в вагоне четвертого класса на Северный вокзал! Перед Маней Склодовской раскрылись физика, химия и целая жизнь женщины. Она преодолела множество препятствий, и мелких и огромных, всецело полагаясь на свою выдержку и исключительное мужество.

Эта борьба, эти победы изменили ее физически, преобразили даже само лицо. Нельзя без трогательного чувства смотреть на фотографию Мари Кюри в тридцатилетнем возрасте. Крепкая, слегка приземистая девушка стала каким-то нематериальным существом. Хочется сказать: «Какая обольстительная, интересная, хорошенькая женщина!» Но не решаешься, взглянув на этот огромный лоб и потусторонний взгляд.

Мадам Кюри собралась на свидание со славой и навела на себя красоту...

ОТКРЫТИЕ РАДИЯ

Молодая супруга ведет дом, купает дочку и ставит на плиту кастрюли..., а в убогой лаборатории Школы физики ученая делает самое важное открытие современной науки.

* * *

Два диплома, звание преподавателя, работа по изучению магнитных свойств закаленных сталей — таков итог деятельности Мари к концу 1897 года, когда она, оправившись от родов, возвращается к научной деятельности.

Следующая ступень в поступательном развитии ее карьеры — защита докторской диссертации. Несколько недель проходят в колебаниях. Речь идет о выборе плодотворной, оригинальной темы. В поисках темы Мари просматривает новейшие работы по физике. В этом основном вопросе мнение Пьера, конечно, играет большую роль. Он руководитель лаборатории, где работает Мари, ее «хозяин». Этот физик и старше, и гораздо опытнее как ученый, нежели Мари. Рядом с мужем она пока лишь подмастерье. Тем не менее самый характер этой польки, ее природная сущность должны были сильно повлиять на выбор темы диссертации.

Уже в детстве в ней проявились любознательность и смелость, столь свойственные первооткрывателям. Такой же, как у них, инстинкт погнал ее из Варшавы в Сорбонну, побудил переехать в одинокую мансарду Латинского квартала из уютной квартиры Длусских. В прогулках по лесу она обычно выбирает не проторенные тропинки, а стежки напрямик.

Мари похожа на путешественника, который обдумывает план большого похода. Путешественник, склонясь над картой мира, отмечает где-нибудь в далекой стране место, разбудившее его воображение, и сразу решает ехать именно туда, и никуда больше. Мари, перелистывая отчеты о последних научно-экспериментальных работах, останавливается на опубликованных в прошлом году статьях французского физика Анри Беккереля. Пьер и Мари были уже знакомы с ними. Теперь она их перечитывает снова и старательно изучает.

После открытия Рентгеном Х-лучей Анри Пуанкаре решил исследовать, не подобны ли Х-лучам Рентгена и те лучи, какие исходят от флуоресцирующих тел под воздействием света. Увлеченный такой же задачей, Анри Беккерель исследовал соли урана. Но вместо ожидаемого явления он обнаружил другое, совершенно отличное и необъяснимое: соли урана самопроизвольно, без предварительного воздействия на них света испускали лучи неизвестного происхождения. Содержащее уран вещество, положенное на фотографическую пластинку, обернутую в черную бумагу, воздействовало на пластинку и сквозь бумагу. Подобно Х-лучам и «урановые» лучи разряжали электроскоп, превращая окружающий воздух в проводник.

Анри Беккерель убедился, что эти свойства не зависели от предварительного облучения, а неизменно проявлялись и тогда, когда содержащее уран вещество выдерживали долго в темноте. Он открыл то самое явление, которое впоследствии получит от Мари Кюри наименование «радиоактивность». Но происхождение этого излучения оставалось загадкой.

Лучи Беккереля в высшей степени заинтриговывают чету Кюри. Откуда возникает эта, хотя и минимальная, энергия, какую непрестанно выделяет содержащее уран вещество в виде излучения? Какова природа этих излучений? Какая замечательная тема для научного исследования, для диссертации на степень доктора! Этот предмет соблазняет Мари, в особенности потому, что поле исследования — еще целина: эти новейшие работы в европейских лабораториях пока никем не изучались, а точкой отправления и единственными литературными источниками оказываются последние доклады Беккереля, прочитанные им в 1896 году в Академии наук. Как увлекательно вдруг кинуться на произвол судьбы в неведомую область!

* * *

Остается лишь найти место, где проводить опыты; вот здесь и начинаются затруднения. Пьер не раз заговаривал об этом с директором Школы физики, но результат оказался весьма скромным: в полное распоряжение Мари предоставляется застекленная мастерская на первом этаже института. Эта комната, загроможденная и сыроватая от пара, служит складом и машинным отделением. Техническое оборудование примитивно. Комфорта никакого.

Мари не унывает. Несмотря на отсутствие нужного ей электрического оборудования и приборов, необходимых для начала научных исследований, она изыскивает возможности ставить опыты и в этом помещении. Это дается нелегко. Точные приборы коварны: подводит влажность, колебания температуры. Климат в этой небольшой мастерской оказывается роковым для чувствительных электрометров, да не очень полезен и для здоровья самой Мари... Но разве это так важно, не правда ли? Когда становится уж очень холодно, физик отмечает в своей рабочей записной книжке температуру с точностью до сотых градуса. Так, в записи от 6 февраля 1898 года среди различных цифр и формул находим: «Температура 6,25°!!»

Шесть градусов, конечно, мало! В знак осуждения Мари добавляет два маленьких знака восклицания.

Она применяет хорошо знакомый ей отличный метод, еще раньше предложенный двумя физиками — Пьером и Жаком Кюри для изучения других явлений, и этот метод окажется

ключом успеха ее опытов. Все оборудование, необходимое для работы, состоит из ионизационной камеры, электрометра Кюри и кристалла пьезокварца.

После нескольких недель работы получен первый результат: Мари устанавливает, что интенсивность таинственного излучения пропорциональна количеству урана в исследуемых образцах, что излучение может быть измерено совершенно точно, что на него не влияет ни состояние химических соединений урана, ни такие внешние воздействия, как освещенность или температура.

Результаты далеко не сенсационные для профана, но увлекательные для ученого. В физике случается нередко, что какое-нибудь необъяснимое явление после тщательного исследования может быть подведено под уже известные законы и тем самым сразу теряет для ученого всякий интерес.

Так бывает при чтении плохих детективных романов, где уже в третьей главе мы узнаем, что «роковая» женщина, которая могла бы оказаться виновницей преступления, в действительности честная мещанка и ведет отнюдь не таинственную жизнь. Тогда мы сразу разочаровываемся и перестаем читать книгу.

В данном случае — ничего подобного. Чем ближе знакомится Мари с лучами, испускаемыми ураном, тем больше они ей представляются совершенно особенными, непонятными. Они ни на что не похожи. На них ничто не действует. Несмотря на очень слабую их интенсивность, в них есть какое-то собственное, совершенно отличное от других своеобразие.

Кандидатка на степень доктора прежде всего старается измерить ионизирующее действие лучей урана, иными словами — их способность превращать воздух в проводник электричества и разряжать электроскоп.

Раздумывая над этой тайной, Мари нащупывает верный подход к ней и вскоре получает возможность утверждать, что непонятное излучение атомного происхождения. Она задает себе вопрос: хотя данное явление наблюдается только у урана, это еще не доказывает того, что уран единственный химический элемент, испускающий таинственные лучи. Почему бы и другим элементам не обладать таким же свойством? Может быть, случайно то обстоятельство, что данные лучи были открыты прежде всего у урана, и в представлении физиков остались связанными с ним. Теперь надо поискать их и у других веществ.

Сказано — сделано! Бросив изучение урана, Мари принимается за исследование всех известных химических элементов. И результаты не заставили себя долго ждать. Соединения то-

рия, как оказалось, излучают самопроизвольно лучи, подобные лучам урана и аналогичной интенсивности. Молодая ученая взглянула на дело правильно: данное явление свойственно не одному урану, и этому свойству необходимо дать особое название. Мадам Кюри предложила назвать его «радиоактивностью», а уран и торий — «радиоэлементами».

Радиоактивность до такой степени увлекла Мари, что молодая ученая неустанно исследует все тем же методом самые различные вещества. Любознательность — главная добродетель ученого, а Мари обладала ею в высокой степени, чудесной женской любознательностью! Не ограничиваясь рассмотрением чистых элементов, их солей и окислов, она решила использовать коллекцию минералов в Школе физики и так, наобум, подвергнуть различные их образцы своего рода таможенному досмотру посредством электроскопа. Пьер одобрил ее намерение.

Идея Мари проста, как все гениальные мысли. На той ступени работы, до какой дошла мадам Кюри, сотни исследователей застряли бы на месяцы, а может быть, и на годы. Пересмотрев все известные химические элементы и открыв, как она, излучение тория, они напрасно задавали бы вопрос, откуда берется это таинственное излучение. Мари тоже задает такой вопрос и тоже в недоумении. Но ее недоумение преобразуется в ряд плодотворных действий. Все явные возможности ею исчерпаны, теперь она вступает в область неведомого, неисследованного.

Она предвидит, что даст изучение минералов, или лучше сказать, ей кажется, что она знает, какие будут получены результаты. Образцы, не содержащие урана или тория, окажутся полностью «неактивными». Другие же, содержащие уран или торий, будут радиоактивными.

Действительность оправдала ее предположения. Отбросив «неактивные» минералы, Мари принимается за другие и производит измерения их радиоактивности. И вдруг — полная неожиданность: радиоактивность, оказывается, гораздо значительнее, чем можно было ожидать, судя по количеству урана или тория в данных образцах!

«Какая-то ошибка в постановке опыта...»,— думает молодая ученая, так как сомнение — первая, непременная реакция ученого при получении неожиданного результата.

Мари тщательно заново производит измерения — тот же результат. Десять, двадцать раз проверяет себя. В конце концов нельзя не признать очевидный факт: количество урана или тория в данных минералах никоим образом не объясняет такую исключительную интенсивность излучения.

Что является причиной этой чрезвычайной, ненормальной

радиоактивности? Остается единственное объяснение: вероятно, исследуемые минералы содержат в очень небольшом количестве некое вещество с гораздо большей радиоактивностью, чем торий и уран.

Но что это за вещество? Ведь в предыдущих своих опытах Мари исследовала все известные химические элементы?

Молодая ученая дает уверенный ответ с той исключительной смелостью, какая свойственна только выдающимся умам. Она высказывает дерзкую гипотезу: данные минералы, несомненно, содержат радиоактивное вещество, а само это вещество — еще не известный химический элемент, новый химический элемент!

Новый элемент! Гипотеза, чарующая, заманчивая, но... всего лишь гипотеза. Пока это радиоактивное вещество находится только в воображении Пьера и Мари. Но оно существует! И придет день, когда Мари сдержанным тоном, но с увлечением скажет Броне:

— Послушай, то излучение, природу которого я не могла объяснить, происходит от неизвестного химического элемента. Он существует, надобно лишь его найти! Мы в этом уверены. Мы говорили об этом с некоторыми физиками, но они предполагают ошибку в опыте и советуют быть осторожнее. Но я убеждена, что ошибки не было!

Исключительные минуты исключительной жизни. Об исследователе и его открытии профаны создают себе представление романтическое... и совершенно ложное. Самый «момент открытия» бывает не всегда. В работе ученого столько тонкостей, столько тяжелого труда, поэтому невозможно, чтобы уверенность в достигнутом успехе вдруг вспыхнула как молния и ослепила своим блеском. Мари перед своими приборами едва ли сразу испытала упоение победой. Оно растянулось на несколько дней решающих усилий, подстегнутых блестящей надеждой.

Но тот момент, когда Мари, убежденная, что идет по горячим следам неведомого вещества, поверила свою тайну старшей сестре, своей союзнице,— этот момент, наверно, был особенным. Не говоря друг другу приятных слов, обе сестры, наверно, пережили в потоке волнующих воспоминаний годы былых тягостных ожиданий, взаимного самопожертвования, несладкую, но полную надежд и веры студенческую жизнь.

Прошло всего четыре года с той поры, когда Мари писала брату:

«Жизнь, как видно, не дается никому из нас легко. Ну что ж, надо иметь настойчивость, а главное — уверенность

в себе. Надо верить, что ты на что-то годен, и этого «что-то» нужно достигнуть во что бы то ни стало».

Это «что-то» оказалось способностью направить науку на еще не известный путь.

В сообщении, представленном через профессора Липпмана академии и напечатанном в «Докладах Парижской академии наук» в связи с заседаниями 12 апреля 1898 года, говорится: «Мари Склодовска-Кюри заявляет о том, что в минералах с окислом урана, вероятно, содержится новый химический элемент, обладающий высокой радиоактивностью»:

«...Два урановых минерала: уранинит (окисел урана) и хальколит (уранилфосфат меди) — значительно активнее, чем сам уран. Этот крайне знаменательный факт вызывает мысль о том, что в данных минералах может содержаться элемент, гораздо более активный, чем уран...»

Так был сделан первый шаг к открытию радия.

* * *

Силой собственной гениальной интуиции Мари пришла к убеждению, что неведомое вещество должно существовать. Она приказывает ему быть. Но требуется раскрыть его инкогнито. Гипотезу надо проверить опытом, выделить это вещество. Надо иметь возможность открыто заявить: «Оно есть. Я видела его».

Пьер Кюри с горячим участием следит за успешными опытами своей жены. Не вмешиваясь в самое работу, он часто помогает Мари советами и замечаниями. Учитывая поразительный характер уже достигнутого, Пьер Кюри решает оставить временно свою работу над кристаллами и принять участие в попытках Мари обнаружить новый элемент.

Всякий раз, как только обширность поставленной задачи вызывала, требовала сотрудничества, известный физик становился рядом с другим физиком — спутником его жизни.

Три года тому назад любовь соединила его с удивительной женщиной. Любовь..., а может быть, таинственное предвидение, непогрешимый инстинкт?

* * *

Теперь боевые силы удвоились. В сырой мастерской на улице Ломон два мозга и четыре руки ищут неведомый химический элемент. И с этих пор в творчестве супругов уже нель-

зя будет различить вклад каждого из них. Мы знаем, что Мари, избрав темой диссертации излучение урана, открыла радиоактивность и других веществ. Мы знаем, что в результате исследования минералов она имела возможность заявить о существовании какого-то нового химического элемента с высокой радиоактивностью и что этот результат первостепенной важности вызвал решение Пьера Кюри прервать свои работы в другой области и попытаться помочь жене выделить этот новый элемент. Теперь, в мае или июне 1898 года, начинается их совместная работа, которая продлится восемь лет и будет так жестоко прервана трагической смертью Пьера.

Мы не можем и не должны пытаться выяснить, что за эти восемь лет сделано Мари, а что — Пьером. Это противоречило бы желанию супругов. Талант Пьера Кюри известен благодаря его собственным работам до сотрудничества с женой. Талант его жены нам выявляется в ее первом предчувствии открытия, в ее подходе к задаче. Этот талант себя проявит и потом, когда мадам Кюри, уже вдовой, будет одна, не сгибаясь, нести все бремя новых открытий и доведет их до гармоничного расцвета. У нас есть определенные доказательства того, что в этом прославленном союзе мужчины с женщиной их вклад был равным.

Пусть вера в это удовлетворит и наше любопытство, и наше восхищение. Не станем разделять пару, полную любви друг к другу, если их почерки, сменяясь, идут один вслед за другим в рабочих записях и формулах; пару, которая подписывала вместе почти все научные работы, опубликованные ими. Они пишут: *«мы нашли...»*, *«мы наблюдали...»*,— и только изредка вынуждены употреблять такой трогательный оборот:

«Некоторые минералы, содержащие в себе уран и торий (уранинит, хальколит), очень активны с точки зрения испускания лучей Беккереля. В предшествующей работе один из нас обнаружил, что их активность даже больше, чем урана и тория, и высказал мнение, что это вызывается действием другого очень активного вещества, содержащегося в малом количестве в этих минералах...»

(Пьер и Мария Кюри. *«Доклады Парижской академии наук»*, 18 июля 1898).

* * *

Супруги Кюри ищут это «очень активное вещество» в содержащем уран минерале — урановой смолке (уранините). В своем природном виде она проявляла радиоактивность, вчет-

веро большую, чем чистый окисел урана, входящий в состав самого минерала. Но состав минерала был достаточно хорошо изучен. Следовательно, новый элемент представлен в нем в столь малых количествах, что его присутствие ускользнуло от внимания ученых и не соответствовало чувствительности применяемых химических анализов.

По самым пессимистическим расчетам (как и подобает настоящим физикам, всегда выбирающим из двух вероятностей наименьшую), Пьер и Мари полагают, что количество нового вещества должно составлять, как максимум, один к ста по отношению к содержанию урановой смолки. Они считают, что это очень мало. Как бы изумились они, если бы узнали, что новый радиоактивный элемент представлен в урановой смолке отношением даже меньшим, чем один к миллиону!

Терпеливо приступают они к исследованию по их собственному методу: обычными аналитическими приемами выделяют все элементы, входящие в состав уранинита, а затем измеряют радиоактивность каждого из них в отдельности. Путем последовательного отбора они мало-помалу убеждаются, что необычной радиоактивностью обладают только определенные составные части минерала. Чем дальше продвигаются они в своей работе, тем больше ограничивают поле этого исследования. Здесь тот же принцип, какой применяют детективы, обследуя один за другим дома данного квартала, чтобы напасть на след преступника и задержать его.

Но здесь преступник не один: радиоактивность сосредоточивается в двух различных химических фракциях. Для супругов Кюри это обстоятельство являлось указанием на то, что существуют два новых элемента. В июле 1898 года они уже могут заявить об открытии одного из них.

— Ты должна придумать «ему» имя! — сказал Пьер жене. Бывшая панна Склодовская с минуту раздумывает. Перенесясь душою к своей родине, она робко предлагает:

— Не назвать ли нам его «полонием»?

В «Докладах Парижской академии наук» за июль 1898 года находим:

«...Мы полагаем, что вещество, извлеченное нами из урановой руды, содержит еще не описанный металл, по своим химическим свойствам близкий к висмуту. Если существование этого металла подтвердится, мы предлагаем назвать его «полонием» — по имени страны, откуда происходит один из нас».

Выбор такого названия показывает, что Мари, став французским физиком, не отреклась от своей родины. Об этом же

говорит и то, что, прежде чем заметка «О новом радиоактивном веществе в составе уранинита» появилась в «Докладах Парижской академии наук», Мари послала рукопись на родину, к Юзефу Богускому, руководителю той лаборатории Музея промышленности и сельского хозяйства, где начались ее первые научные опыты. Сообщение было опубликовано в «Swiatlo», ежемесячном иллюстрированном обозрении, почти одновременно с опубликованием в Париже.

* * *

Характер жизни в квартире на улице Гласьер не изменился. Только работают Пьер и Мари больше, чем обычно. Когда наступила летняя жара, Мари нашла время закупить целые корзины ягод и, по обыкновению, заготовила на зиму варенье по рецепту, принятому в семье Кюри. Потом опустила жалюзи на окнах, сдала велосипеды в багаж на Орлеанском вокзале и, следуя примеру многих тысяч юных парижанок, уехала на летние каникулы с дочерью и мужем.

Супруги сняли крестьянский дом в Ору, Овернь. Как легко дышится на чистом воздухе после вредной лабораторной атмосферы на улице Ломон! Кюри совершают экскурсии в Манд, Пюи, Клермон-Ферран, Мон-Дор, поднимаются и спускаются по крытым склонам, купаются в речках, осматривают гроты. Одни среди деревенского простора, они беседуют о своих новых металлах — полонии и о «другом», который еще предстоит найти. В сентябре они снова вернутся в сырую мастерскую, к тусклым минералам. И с новым пылом возьмутся за исследования. Но упоение работой нарушается горестным событием: Длусские собираются уезжать из Парижа. Они решили обосноваться в Польше и построить в Закопане, среди Карпатских гор, туберкулезный санаторий. С большой грустью простились Мари и Броня. Мари теряет друга, покровительницу. Впервые она почувствовала себя изгнанницей.

Мари — Броне, 2 декабря 1898 года:

«...Ты не можешь себе представить, какую пустоту оставила ты после себя. С вами двумя я утратила все, что привязывало меня к Парижу, кроме мужа и ребенка. Мне кажется, что вне нашей квартиры и института, где мы работаем, Париж не существует.

Спроси у пани Длусской-матери о том цветке, который вы здесь оставили: надо ли его поливать и сколько раз в день, требует ли он тени или много солнца?

Мы здоровы, несмотря на плохую погоду, дождь, и слякоть. Ирен становится уже большой девочкой. Очень трудно с ее кормлением: кроме тапиоки на молоке, она почти ничего не желает есть, даже яиц. Напиши мне, какое меню подходит для особ ее возраста...»

* * *

Несколько выдержек из записей Мари Кюри в этом памятном 1898 году следует, по нашему мнению, привести здесь, несмотря на их прозаический характер, а может быть, именно поэтому.

Приведенные ниже записи нанесены на полях книги «Домашняя кухня» и касаются приготовления желе из крыжовника:

«Я взяла восемь фунтов ягод и столько же сахарного песка. Прокипятив все вместе десять минут, я пропустила эту смесь сквозь очень тонкое сито. У меня получилось четырнадцать банок непрозрачного, но отличного желе, которое застыло превосходно».

В школьной тетради с парусиновым переплетом, куда молодая мать день за днем записывает вес маленькой Ирен, ее режим и появление молочных зубов, читаем под датой 20 июля 1898 года — через неделю после опубликования статьи об открытии полония:

«Ирен делает ручонкой «спасибо»... очень хорошо двигается на четвереньках. Произносит: «Гогли, гогли, го». Весь день она проводит в саду в Со на ковре. Валяется на нем, сама встает, садится...»

15 августа в Ору:

«У Ирен прорезается седьмой зуб, внизу, слева. С полминуты может стоять совсем одна. Уже три дня, как начали купать ее в реке. Она кричит, но сегодня (четвертое купание) уже перестала кричать, а играет, шлепая ручками по воде.

Ирен играет с кошкой и бегает за ней на четвереньках с воинственными криками. Перестала бояться чужих. Много поет. Со стула взбирается на стол».

Два месяца спустя. 11 октября, Мари с гордостью отмечает:

«Ирен ходит очень хорошо и уже не ползает на четвереньках».

А 5 января 1899 года:

«У Ирен появился 15-й зубок!»

* * *

Между двумя заметками — от 17 октября 1898 года о том, что Ирен перестала передвигаться на четвереньках, и от 5 января 1899 года о 15 зубках,— несколько позже заметки о желе,— есть еще запись, достойная упоминания. Она составлена Пьером и Мари вместе с их сотрудником по имени Ж. Бемон. Написанная для Академии наук и опубликованная в «Докладах Академии наук» в сообщении о заседании 26 декабря 1898 года, она говорит о существовании в составе уранинита второго радиоактивного химического элемента.

Вот несколько строк из этого сообщения:

«...В силу различных, только что изложенных оснований мы склонны считать, что новое радиоактивное вещество содержит новый элемент, который мы предлагаем назвать **радием.**
Новое радиоактивное вещество, несомненно, содержит также примесь бария, и даже в очень большом количестве, но, несмотря на это, обладает значительной радиоактивностью.
Радиоактивность же самого радия должна быть огромной».

ЧЕТЫРЕ ГОДА В САРАЕ

Любой наугад взятый человек, прочитав сообщение об открытии радия, уже ни минуты не будет сомневаться в его существовании: люди, у которых критическое чутье не обострено и в то же время не извращено узкой специальностью, обладают свежим непосредственным воображением. Они способны поверить любому неслыханному факту и восхищаться им, как бы необычен он ни казался.

Несколько по-другому воспринимает новость физик, какой-нибудь собрат супругов Кюри по науке. Особенные свойства полония и радия разрушают основные теории, которым верили ученые в течение веков. Чем объяснить радиоактивность элементов? Это открытие потрясает целый мир накопленных веками знаний и противоречит крепко укоренившимся пред-

ставлениям о строении материи. Поэтому физик ведет себя сдержанно. Его в высшей степени интересует работа Пьера и Мари Кюри, он понимает ее безграничные возможности в дальнейшем, но, для того чтобы составить свое мнение, ждет решающих точных результатов.

Отношение химика еще придирчивее. По своему характеру химик поверит в существование какого-нибудь нового химического элемента только тогда, когда сам увидит его, коснется, взвесит, исследует, подвергнет воздействию кислот, заключит в сосуд и определит его атомный вес.

А радия до сих пор никто не видел. Никто не знает атомный вес радия. И химики, верные своим принципам, делают вывод: «Нет атомного веса — нет и радия. Покажите радий, и мы поверим».

Чтобы показать скептикам радий и полоний, доказать миру существование их детищ и окончательно убедить самих себя, супругам Кюри понадобится четыре года упорной работы.

* * *

Теперь их цель — добыть радий и полоний в чистом виде. В тех наиболее радиоактивных продуктах, какие добыли эти ученые, оба вещества представлены только неуловимыми следами. Чтобы выделить новые элементы, предстояло обработать большие количества сырья.

Отсюда возникали три мучительных вопроса:

Где достать нужное количество минерала?

Где его обрабатывать?

Из каких средств оплачивать неизбежную подсобную работу?

Урановая смолка, содержащая полоний и радий,— минерал очень дорогой; она добывается из руд Иоахимсталя в Богемии с целью извлечения из нее урановых солей, употребляемых в стекольном производстве. Необходимые тонны обойдутся дорого. Чересчур дорого для четы Кюри! Находчивость заменит им деньги. По мнению обоих ученых, после извлечения урана из минерала те ничтожные количества полония и радия, которые в нем содержатся, должны оставаться в уже отработанном сырье. Следовательно, ничто не мешает им находиться в отходах, и если необработанная урановая смолка стоит очень дорого, то ее отходы после извлечения урана стоят гроши. А если попросить у австрийского коллеги рекомендацию к директору рудников Иоахимсталя, то не удастся ли получить большое количество этих отходов по доступным ценам?

Все это просто, но надо еще подумать.

Необходимо закупить сырье и оплатить перевозку до Парижа. Пьер и Мари позаимствуют нужную сумму из своих весьма скромных сбережений. Они не так наивны, чтобы просить на это средства у правительства Хотя оба физика находились на верном пути к важнейшему открытию, но, если бы они обратились к университету или правительству с просьбой о вспомоществовании на покупку отходов от переработки урановой руды, им рассмеялись бы в лицо. Во всяком случае, их докладная записка затерялась бы в делах какой-нибудь канцелярии, а им пришлось бы целые месяцы ждать ответа, и, вероятно, отрицательного. Из всех традиций и принципов Французской революции, которая создала метрическую систему, основала нормальные школы и не однажды поощряла науки, к сожалению, государство спустя век запомнило только слова Фукье-Тенвиля, сказанные на заседании трибунала, отправившего Лавуазье на гильотину: «Республике не нужны ученые» *.

А можно ли найти, хотя бы в многочисленных зданиях Сорбоннского университета, подходящее место для работы и предоставить его супругам Кюри? Видимо, нет! После напрасных ходатайств Пьер и Мари возвращаются ни с чем к точке их отправления, то есть к Школе физики, в которой преподает Пьер, к той небольшой мастерской, где нашли себе приют первые опыты Мари. Мастерская выходит во двор, а по другую сторону двора стоит деревянное строение — заброшенный сарай со стеклянной крышей, протекающей во время дождя,— в жалком состоянии. Медицинский факультет некогда использовал это помещение для вскрытий, но уже с давних пор оно считалось непригодным даже для хранения трупов. Пола нет — сомнительный слой асфальта покрывает землю. Обстановка — несколько ветхих кухонных столов, неизвестно как уцелевшая черная классная доска и старая железная печь со ржавой трубой.

Простой рабочий не стал бы работать по доброй воле в таком месте. Пьер и Мари все-таки пошли на это. У этого сарая имелось свое преимущество: он был так плох, так мало соблазнителен, что никто и не подумал возражать против передачи его в полное распоряжение Кюри Директор института Шютценбергер, всегда благоволивший к Пьеру Кюри, высказал сожаление, что не может предложить ему ничего лучшего. Как бы то ни было, но лучшего он не предложил, а супруги,

* Достоверность этих слов ничем не подтверждается.— *Прим. ред.*

довольные уже тем, что не очутились на улице со всем своим оборудованием, благодарили, уверяя, что «это их вполне устроит, они приспособятся».

Пока они входили во владение своим сараем, пришел ответ из Австрии. Вести добрые! Вопреки обыкновению, отходы, полученные за последнее время при извлечении урана, еще не были вывезены. Ненужный производству материал ссыпали в кучу у рудника на пустыре, поросшем сосняком. Благодаря посредничеству профессора Зюсса и Венской академии наук, австрийское правительство в качестве владельца этого государственного завода постановило отпустить безвозмездно тонну отходов в распоряжение двух лунатиков в науке, уверяющих, что эти отбросы им необходимы. Если понадобится большее количество такого материала, рудник уступит его на самых выгодных условиях.

Однажды утром большая конная повозка, вроде тех, что развозят уголь, остановилась на улице Ломон, перед Школой физики. Об этом известили Пьера и Мари. Без шляп, в лабораторных фартуках они бегут на улицу. Пьер сохраняет обычное спокойствие, но Мари, увидав рабочих, выгружающих мешки, не может скрыть свою радость. Это же урановая руда, ее урановая руда! Еще несколько дней тому назад товарная станция известила о ее прибытии.

Лихорадочно волнуясь от любопытства и нетерпения, Мари не в состоянии ждать, ей хочется сейчас же вскрыть какой-нибудь мешок и взглянуть на свое сокровище. Разрезает бечеву и расправляет грубую мешковину. Запускает руки в бурый, тусклый минерал с примесью хвойных игл.

Вот где таится радий! Вот откуда будет извлекать его Мари, хотя бы ей пришлось переработать гору этого вещества, похожего на дорожную пыль.

* * *

Мария Склодовская прожила самые упоительные времена своего студенчества в мансарде. Мари Кюри предстоит вновь пережить много чудесных часов в полуразрушенном сарае. Странная повторяемость обстоятельств, когда суровое и утонченное счастье (наверно, не испытанное ни одной женщиной до Мари) оба раза выбирает для себя самое жалкое убранство.

Сарай на улице Ломон образцовый по отсутствию удобств. Летом из-за стеклянной крыши в нем жарко, как в теплице. Зимой не знаешь, что лучше — дождь или мороз. Если дождь, то водяные капли с мягким, но раздражающим стуком падают на пол, на рабочие столы, на разные места, отмеченные физи-

ками, чтобы не ставить там аппаратуру. Если мороз, то мерзнешь сам. А помочь нечем. Печка, даже раскаленная докрасна, одно разочарование. Подходишь к ней вплотную, немного согреваешься, но чуть отойдешь, как начинаешь дрожать от холода. Мари и Пьеру необходимо привыкать к жестоким внешним климатическим условиям: из-за отсутствия в числе прочего необходимого оборудования — тяги для вывода наружу вредных газов — большинство процессов переработки надо осуществлять под открытым небом, на дворе. Стоит разразиться ливню — и физики спешно переносят аппаратуру опять в сарай. А чтобы продолжать работу и не задыхаться, они устраивают сквозняк, отворяя дверь и окна.

«У нас не было ни денег, ни лаборатории, ни помощи, чтобы хорошо выполнить эту важную и трудную задачу,— запишет Мари позже.— *Требовалось создать нечто из ничего, и если Казимеж Длусский когда-то назвал мои студенческие годы «героическими годами жизни моей свояченицы», то я могу сказать без преувеличения, что этот период был для меня и моего мужа героической эпохой в нашей совместной жизни.*

...Но как раз в этом дрянном, старом сарае протекли лучшие и счастливейшие годы нашей жизни, всецело посвященные работе. Нередко я готовила какую-нибудь пищу тут же, чтобы не прерывать ход особо важной операции. Иногда весь день я перемешивала кипящую массу железным прутом длиной почти в мой рост. Вечером я валилась с ног от усталости».

В таких условиях чета Кюри будет работать с 1898 по 1902 год.

В первый год они работают совместно над химическим выделением полония и радия, добывают радиоактивные продукты, а затем измеряют интенсивность их излучения. Вскоре оба супруга находят более целесообразным действовать раздельно. Пьер стремится уточнить свойства радия, изучить новый металл. Мари продолжает переработку руды, чтобы получить чистые соли радия.

При этом разделении труда Мари избрала мужскую долю, взяв на себя роль чернорабочего. В сарае — ее супруг, весь поглощенный постановкой тонких опытов, во дворе — Мари с развевающимися на ветру волосами, в старом, запыленном и сожженном кислотами фартуке, окруженная клубами дыма, разъедающего глаза и горло, и выполняющая функции целого завода.

«Мне приходилось обрабатывать в день до двадцати килограммов первичного сырья,— пишет она,— *и в результате*

весь сарай был заставлен большими химическими сосудами с осадками и растворами; изнурительный труд переносить мешки, сосуды, переливать растворы из одного сосуда в другой, по нескольку часов подряд мешать кипящую жидкость в чугунном котле.»

Но радий упорно хранит свою тайну и не выражает ни малейшего желания знакомиться с людьми. Где та пора, когда Мари, по простоте душевной, определяла его содержание в отходах урановой руды как один к ста? Излучение нового вещества обладает такой силой, что ничтожное количество радия, рассеянное в минерале, является источником поразительных явлений, которые можно не только наблюдать, но и легко измерить. Вся трудность — в невозможности выделить даже ничтожное количество радия, изъять его из той среды, с которой он прочно связан.

Рабочие дни превращаются в месяцы, а месяцы в годы. Пьер и Мари не теряют мужества. Это вещество завораживало их своим сопротивлением. Он и она, соединенные нежной любовью и общностью интересов, созданы для той противоестественной жизни, какую вели в деревянном сарае.

«В ту пору мы с головой ушли в новую область, которая раскрылась перед нами благодаря неожиданному открытию,— запишет Мари.— *Несмотря на трудные условия работы, мы чувствовали себя вполне счастливыми. Все дни мы проводили в лаборатории. В жалком сарае царил полный мир и тишина; бывало, что приходилось только следить за ходом той или другой операции, тогда мы прогуливались взад и вперед по сараю, беседуя о нашей теперешней и будущей работе; озябнув, подкреплялись чашкой чаю тут же у печки. В нашем общем, едином увлечении мы жили как во сне.*

...В лаборатории мы очень мало виделись с людьми; время от времени кое-кто из физиков и химиков заходил к нам: или посмотреть на наши опыты, или спросить совета у Пьера Кюри, уже известного своими познаниями в нескольких разделах физики. И у классной доски начинались те беседы, что оставляют лучшие воспоминания, возбуждая еще больший научный интерес и рвение к работе, и в то же время не прерывают естественный ход мысли и не смущают атмосферу покоя и внутренней сосредоточенности, какой и должна быть атмосфера лаборатории».

Иногда Пьер и Мари оставляют на несколько минут свою аппаратуру и начинают мирно беседовать.

— Очень интересно, как «он» будет выглядеть,— говорит в один прекрасный день Мари с нетерпеливым любопытством девочки, которой обещана игрушка. — Пьер, ты каким представляешь его себе?

— Кто его знает...— спокойно отвечает физик.— Видишь ли, мне бы хотелось, чтобы у него был красивый цвет.

* * *

Странно, что в переписке Мари Кюри мы не находим по поводу этой многотрудной работы ни одного картинного, прочувствованного замечания вроде тех, какие некогда проскальзывают в ее письмах. Оттого ли, что годы изгнания ослабили духовную близость ее с родными? Или спешная работа не оставляла времени для этого?

Действительная причина такой сдержанности заключалась, может быть, в другом. Не случайно то обстоятельство, что письма Мари Кюри теряют свою оригинальность как раз в то время, когда история ее жизни начинает приобретать исключительный характер. Будучи гимназисткой, учительницей, студенткой, невестой, Мари могла быть откровенной. Но теперь ее обособляют от других тайна и неизъяснимое чувство своего призвания. Среди тех, кого она любит, для нее уже нет собеседника, способного ее понять, постичь ее заботу, трудность цели. Только одному человеку может она поверить свои думы: Пьеру Кюри, товарищу в жизни и в работе. Только ему она высказывает свои сокровенные мысли, свои мечты. Начиная с этого времени, всем другим, как бы они ни были дороги ее сердцу, Мари будет казаться почти заурядной личностью. Станет описывать только будничную сторону своей жизни. Временами у нее найдутся и прочувствованные выражения, чтобы похвалиться своим женским счастьем. Но о работе обмолвится лишь несколькими невыразительными короткими фразами в двух-трех строках... В этом мы чувствуем твердое желание не затрагивать в переписке самое сокровенное в своей жизни. Из щепетильной скромности, из отвращения к пустой болтовне, ко всякому позерству Мари прячется, пригибается к земле, или, вернее, показывает только один свой профиль. Стыдливость, отвращение, рассудок поднимают голос, и даровитая ученая стушевывается, принимает облик «обычной женщины».

Мари — Броне, 1899 год:

«...Живем по-прежнему. Много работаем, но спим крепко, а поэтому работа не вредит нашему здоровью. По вечерам во-

жусь с дочуркой. Утром ее одеваю, кормлю, и около 9 часов я уже обычно выхожу из дому. За весь год мы не были ни разу ни в театре, ни на концерте, ни в гостях. При всем том чувствуем себя хорошо... Очень тяжело только одно — отсутствие родимой семьи, в особенности вас, мои милые, и папы. Часто и с грустью думаю о своей отчужденности. Ни на что другое я пожаловаться не могу, поскольку состояние нашего здоровья неплохое, ребенок хорошо растет, а муж у меня — лучшего даже нельзя себе вообразить, это настоящий божий дар, и чем дольше живем мы вместе, тем сильнее любим друг друга.

Наша работа продвигается вперед. Скоро я буду делать о ней доклад, он был назначен на прошлую субботу, но я не смогла присутствовать, поэтому он состоится непременно или в субботу, или же через две недели».

Работа, лишь сухо упомянутая в письме Мари, блестяще продвигается вперед. В течение 1899 и 1900 годов Пьер и Мари опубликовали статью об открытии индуцированной радиоактивности, вызываемой радием, другую статью — о явлениях радиоактивности и третью — о переносе электрического заряда посредством обнаруженных лучей. Наконец, для Физического конгресса 1900 года они пишут общий обзор по исследованию радиоактивных веществ, который вызывает огромный интерес в научном мире.

* * *

Развитие новой науки о радиоактивности обещает принять ошеломляющий размах. Чета Кюри нуждается в помощниках. До сих пор им помогал только один лабораторный служитель института по имени Пти, отличный человек, который по собственному желанию и почти тайком заходил поработать с ними во внеслужебные часы. Но теперь им нужны сотрудники более высокой квалификации. Их открытие намечает дальнейшие, очень важные работы в области химии, которые требуют внимательного изучения. Кюри хотят объединиться со знающими исследователями.

«Нашу работу по радиоактивности мы начали в одиночестве,— запишет Мари.— *Но ввиду широты самой задачи все большее и большее значение для пользы дела приобретало сотрудничество с кем-нибудь еще. Уже в 1898 году руководитель научных работ института Ж. Бемон оказал нам временную помощь. Незадолго до 1900 года Пьер Кюри познакомился с мо-*

лодым химиком Андре Дебьерном, работавшим препаратором у профессора Фриделя, который очень ценил его как ученого. На предложение Пьера Андре Дебьерн охотно выразил свое согласие заняться радиоактивностью: он предпринял исследование нового радиоэлемента, существование которого предполагалось в группе железа и редких земель. Он открыл этот элемент, названный актинием. Хотя Андре Дебьерн работал в физико-химической лаборатории Сорбоннского университета, руководимой Жаном Перреном, он часто заходил к нам в сарай, вскоре став очень близким другом и нашим, и доктора Кюри, а впоследствии и наших детей».

Так, еще до выделения полония и радия французский химик Андре Дебьерн открыл их «брата» — актиний.

«В это же время,— рассказывает Мари,— *французский физик Жорж Саньяк, занятый изучением X-лучей, часто заходил поговорить с Пьером Кюри об аналогиях, которые можно провести между X-лучами, их вторичными лучами и излучением радиоактивных тел. Они совместно сделали работу о переносе электрического заряда вторичными лучами».*

Все это время Мари обрабатывает, килограмм за килограммом, тонны урановой руды, присланные в несколько приемов из Иоахимсталя. С удивительным упорством в течение четырех лет она ежедневно перевоплощалась по очереди в ученого, квалифицированного научного работника, инженера и чернорабочего. Благодаря ее уму и энергии все более и более концентрированные продукты с большим и большим содержанием радия появлялись на ветхих столах сарая. Мари Кюри приближается к своей цели. Прошло то время, когда она стояла во дворе в клубах дыма и следила за тяжелыми котлами, где растворялся исходный материал. Наступает следующий этап в работе — очистка и дробная кристаллизация растворов высокой радиоактивности. Теперь необходимо предельно чистое помещение с аппаратурой, изолированной от пыли и от влияния колебаний температуры. В жалком, продуваемом со всех сторон сарае носится пыль с частицами железа и угля, которые примешиваются к старательно очищенным продуктам переработки, что приводит Мари в отчаяние. У нее болит душа от ежедневных происшествий такого рода, попусту отнимающих и время, и силы.

Пьеру так надоела эта бесконечная борьба, что он готов отказаться от нее. Будем понимать его правильно: он и не думал бросать исследования радия и радиоактивности, но охотно

бы приостановил на данный момент специальные технические операции *по выделению чистого радия*. Препятствия к этой работе казались непреодолимыми. Разве нельзя возобновить ее позднее, в лучших условиях? Более склонный искать в природе значение ее явлений, чем их материальную реальность, Пьер Кюри выходит из себя при виде тех ничтожных результатов, какие получаются от изнурительных работ Мари. Он ей советует сделать передышку.

Но Пьер не учел характера своей жены. Мари хочет выделить радий, и выделит. Она не обращает внимания ни на переутомление, ни на трудности, ни на пробелы в своих знаниях, усложняющие ее задачу. В конце концов она еще очень молода в науке. В ней нет ни уверенности, ни глубокой научной культуры, как у Пьера, работающего уже двадцать лет; то и дело она наталкивается на явления и методы, мало ей знакомые, и тогда приходится наспех собирать сведения о них из литературы. Ну и пусть трудно! С упрямством она хватается за свою аппаратуру и пробирки.

В 1902 году, спустя сорок восемь месяцев с того дня, когда супруги Кюри заявили о вероятном существовании радия, Мари наконец одерживает победу. Ей удалось выделить один дециграмм чистого радия и установить его атомный вес, равный 225.

Неверующим химикам — такие еще оставались — пришлось только склониться перед фактами и перед сверхчеловеческим упорством этой женщины. Теперь радий получил официальное признание.

* * *

Девять часов вечера. Пьер и Мари у себя дома на бульваре Келлермана. Дом очень их устраивает. Со стороны бульвара, где тройной ряд деревьев наполовину заслоняет укрепления, видны только навевающая печаль стена и маленький подъезд, но за этим двухэтажным флигелем скрывается от посторонних глаз небольшой садик провинциального вида, довольно милый и очень тихий. Оттуда можно через заставу Шантийи укатить на велосипедах в предместье, а затем в леса.

Старый доктор Кюри удалился к себе в комнату. Мари выкупала дочку и уложила ее спать, довольно долго постояла у кроватки. Это ритуал. Если Ирен вечером не чувствует матери около себя, она без устали зовет ее тем «Мэ!», которое навсегда заменит у нее слово «мама». Тогда Мари, уступая маленькому четырехлетнему деспоту, взбирается на второй

этаж, усаживается у изголовья дочки и сидит в темноте, пока детский голосок не перейдет в ровное дыхание.

Только тогда она спускается вниз к Пьеру, уже проявляющему нетерпение. Несмотря на всю мягкость своего характера, он до такой степени привык к постоянному обществу жены, что малейшее отклонение от этого мешает ему сосредоточиться. Стоит Мари чуть дольше задержаться, как он встречает ее горьким упреком: «Ты только и занята ребенком!».

Пьер прохаживается по комнате, Мари садится и начинает подшивать незаконченный край нового фартучка для Ирен. Одно из ее основных правил — никогда не покупать для девочки готовых платьев; по ее мнению, они слишком дороги и неудобны. В те времена, когда Броня жила еще в Париже, обе сестры шили платья своим дочкам по выкройкам собственного изобретения. Эти выкройки служат Мари и до сих пор...

Но в этот вечер она не в состоянии сосредоточить свое внимание. Нервничая, Мари встает и откладывает в сторону работу. И вдруг говорит:

— А не пойти ли нам туда?

Просительная интонация в ее вопросе оказывается лишней, потому что Пьеру также не терпится пойти в сарай, откуда они ушли два часа тому назад. Радий, капризный, как живое существо, притягательный, как любовь, зовет их к себе, в свое жилище, в их убогую лабораторию.

Рабочий день выдался трудный, и было бы разумнее для двух ученых дать себе отдых. Но Пьер и Мари не всегда разумны. Они накидывают на себя плащи, предупреждают доктора Кюри о своем бегстве и скрываются. Идут пешком, под руку, изредка обмениваясь несколькими словами. Они минуют людные улицы этого отдаленного квартала, заводские мастерские, пустыри, дома бедняков, доходят до улицы Ломон и пересекают двор. Пьер вкладывает ключ в замочную скважину, дверь скрипит, как тысячи раз прежде, и вот они в своих владениях, в царстве своей мечты.

— Не зажигай свет,— говорит Мари. И добавляет тихо:— Помнишь день, когда ты сказал: «Мне бы хотелось, чтобы у радия был красивый цвет».

Действительность, уже несколько последних месяцев восхищающая Мари и Пьера, превзошла все желания. У радия есть нечто важнее, чем красивый цвет: он излучает свет! И среди темного сарая стеклянные сосудики с драгоценными частицами радия, расставленные, за отсутствием шкафов, просто на столах, на прибитых к стенам дощатых полках, сияют голубоватыми фосфоресцирующими силуэтами, как бы висящими во мраке.

— Гляди... гляди! — шепчет Мари.

Она осторожно продвигается вперед, нащупывает рукою плетеное кресло и садится. В темноте, в безмолвии, два лица обращены к бледному сиянию, к таинственному источнику лучей — к радию, их радию! Наклонив корпус вперед, с напряженным лицом Мари сидит в том же положении, как и час тому назад у изголовья своего заснувшего ребенка.

Рука друга тихо гладит ее по волосам.

Навсегда запомнится ей этот вечер...

ТРУДНОЕ ЖИТЬЕ

Пьер и Мари жили бы вполне счастливо, если бы в жаркий бой с природой, какой они вели на поле битвы их жалкого сарая, могли вложить все свои силы.

Увы! Им приходится вступать в бои другого рода и терпеть в них поражения.

За пятьсот франков в месяц Пьер читает в Школе физики курс из ста двадцати лекций и, сверх того, руководит практическими занятиями студентов. Помимо этой утомительной педагогической работы он занимается научными исследованиями. Пока у четы Кюри не было детей, пятисот франков хватало на домашние расходы. Но после рождения Ирен наем служанки и кормилицы сильно отразился на бюджете. Пьер и Мари предпринимают поход за новыми денежными средствами.

Трудно себе представить что-нибудь более прискорбное, чем те неловкие и неудачные попытки, какие делали два крупных ученых, стараясь добыть нехватавшие им две-три тысячи в год. Дело было не в том, чтобы просто получить какую-нибудь незначительную должность и покрыть этим дефицит. Как мы уже знаем, Пьер Кюри видел в научных исследованиях непреодолимую потребность своей жизни. Работать в лаборатории — пусть хоть в сарае, раз нет настоящей — было для Пьера более необходимо, чем есть или спать. Но его служебные обязанности в институте поглощали большую часть времени. Нельзя было брать на себя новые нагрузки, а наоборот, требовалось уменьшить уже существующие. Как тут быть?

Выход из положения мог бы быть простым, совсем простым. Если бы Пьера назначили профессором в Сорбонне, а сделанные им работы, совершенно очевидно, давали ему право на это место, он получал бы десять тысяч франков в год, читал меньше лекций, чем в институте, а его знания обогащали бы студентов и подняли престиж университета. А если бы эта профессура была дополнена лабораторией, Пьеру было бы не-

чего просить у провидения. У него лишь два желания: профессорская кафедра для обеспечения своей семьи и для обучения молодых физиков, затем лаборатория, оснащенная электрическим и техническим оборудованием, с местами для нескольких ассистентов, сравнительно теплая зимой...

Безумные требования! Профессорскую кафедру Пьер получит лишь в 1904 году, когда о нем заговорит весь мир. Лабораторию же он так и не получит до конца жизни. Гениальных людей смерть настигает раньше, чем их успевают признать власти.

Пьер, рожденный, чтобы раскрывать таинственные явления природы, чтобы бороться с противостоящей ему материей, оказывается воплощенной несуразностью, когда надо добиться какого-нибудь места. Первый минус: он талант, а в условиях личной конкуренции это вызывает тайную, непримиримую враждебность. Он невежда в области интриги, всяких комбинаций. Самые бесспорные его заслуги бесполезны, он не умеет пускать их в ход. «Всегда готовый стушеваться перед своими друзьями и даже перед своими соперниками, Кюри принадлежал к разряду так называемых «кандидатов-неудачников»,— скажет впоследствии Анри Пуанкаре.— Но при нашей демократии таких кандидатов очень много...»

В 1898 году открылась кафедра физической химии в Сорбонне. Пьер Кюри решает ходатайствовать о предоставлении этой кафедры ему. По справедливости такое назначение напрашивалось само собой. Но Пьер не окончил Нормальной школы, не учился в Политехническом институте, а следовательно, у него не было той прочной основы, какую дают эти учреждения своим ученикам. Кроме того, некоторые дотошные профессора утверждают, что его работы, опубликованные за последние пятнадцать лет, имеют лишь косвенное отношение к физической химии. Кандидатура Пьера отклонена.

«Мы потерпели поражение,— пишет Пьеру Кюри один из его сторонников, профессор Фридель,— *и мне ничего не оставалось бы, как только сожалеть о том, что мы уговорили Вас выставить Вашу кандидатуру, не имевшую успеха, если бы само обсуждение ее не проходило гораздо благоприятнее для Вас, чем голосование. Но, несмотря на старания Липпмана, Бути, Пелла и мои, несмотря на похвалы Вам даже со стороны противников, несмотря на Ваши прекрасные работы, что можно было выдвинуть против кандидата, окончившего «Эколь нормаль», и предвзятого отношения математиков?»*

Конечно, благожелательное обсуждение кандидатуры Пьера приносит некоторое утешение, но ... платоническое. Проходят месяцы, а ни одного интересного места не освобождается, и супруги Кюри, всецело увлеченные большой работой по исследованию радия, предпочитают жить перебиваясь, вместо того чтобы терять время, ожидая в приемных. Однако же — и это надо подчеркнуть — они не унывают и не жалуются на судьбу. В конце концов пятьсот франков — это еще не бедность. Жизнь налаживается... плоховато.

Мари — Юзефу Склодовскому, 19 марта 1899 года:

«Нам приходится быть очень осмотрительными, так как жалованья мужа не вполне хватает на жизнь, но до сих пор ежегодно у нас бывали кое-какие неожиданные приработки, так что дефицита пока нет.

Впрочем, надеюсь, что муж или я получим вскоре место с твердым окладом. Тогда мы сможем не только сводить концы с концами, но даже скопить немного денег для обеспечения будущности нашего ребенка. Но раньше чем искать себе место, я хочу защитить докторскую диссертацию.

В настоящее время у нас столько работы с нашими новыми металлами, что я не в состоянии писать докторскую диссертацию, хотя, правда, она должна основываться как раз на этих работах, но требует дополнительных опытов, а сейчас у меня нет возможности заняться ими.

Наше здоровье в хорошем состоянии. Мой муж меньше страдает от ревматизма. Я чувствую себя хорошо, совсем перестала кашлять, в легких чисто, как это установило и медицинское обследование и анализ мокроты.

Ирен развивается нормально. После восемнадцати месяцев я отняла ее от груди, но, конечно, еще раньше подкармливала молочными супами. Теперь кормлю ее теми же супами и свежими яйцами, «прямо из-под курицы».

1900-й год... В счетной тетрадке расходы все растут и превышают приход. Теперь старик доктор Кюри живет вместе с сыном, и Мари, чтобы разместить своих домашних — пять человек, считая служанку,— сняла флигель на бульваре Келлермана за тысячу четыреста франков в год. В силу необходимости Пьер ходатайствует о месте в Политехническом институте. Просьба его удовлетворена, и за свою работу он станет получать две тысячи пятьсот франков в год.

И вдруг совершенно неожиданное предложение... но не из Франции. Открытие радия не дошло до сведения широкой пуб-

лики, но стало известно физикам. Женевский университет с целью привлечь мужа и жену, стоявших, по его мнению, в первом ряду европейских ученых, решил сделать исключительный шаг. Декан факультета предлагает Пьеру Кюри кафедру физики, жалованье в десять тысяч франков в год, оплату квартиры и руководство лабораторией, причем «кредиты на нее будут увеличены по соглашению с профессором Кюри, и ему будут даны два ассистента. По рассмотрению наличных средств лаборатории набор физических инструментов будет пополнен». В той же лаборатории представлялось штатное место и Мари.

Судьба иной раз любит подшутить: она подносит вам то, что вы больше всего хотели получить... но в таком чуть измененном виде, что принятие этого делается невозможным. Достаточно было бы на конверте этого великодушного письма вместо «Республика и кантон Женевы» прочесть: «Парижский университет», как супругов Кюри стали бы превозносить на все лады.

Женевское предложение было сделано с такой сердечностью, с таким уважением, что Пьер под первым впечатлением согласился. В июле он и Мари едут в Швейцарию, где их коллеги оказывают им наилучший прием. Но за лето рождаются сомнения. А не придется ли им потерять несколько месяцев, посвятив их подготовке к преподаванию такого важного предмета? Временно прекратить исследования радия, которые не легко перенести в другое место? Отложить работы по выделению его в чистом виде? Все это слишком большие жертвы для двух ученых — ярых, одержимых.

Тяжко вздыхая, Пьер Кюри пишет в Женеву письмо со всякими извинениями и благодарностями, отказываясь от кафедры. Он отклоняет соблазнительное предложение и решает из любви к радию остаться в Париже. Он бросает Политехнический институт и переходит на лучше оплачиваемое место преподавателя в Институт физики, химии и естественных наук на улице Кювье, рядом с Сорбонной. Мари, желая принять участие в жизненных заботах, выставляет свою кандидатуру на место преподавательницы в Высшей нормальной школе для девиц в Севре, близ Версаля. От заместителя ректора она получает письменное уведомление о своем назначении:

«Мадам, имею честь сообщить Вам, что, по моему предложению, на Вас возлагается в учебном 1900/01 году преподавание физики на первом и втором курсах Севрской нормальной школы.

Будьте любезны поступить в распоряжение мадемуазель Директрисы с будущего понедельника, т. е. 29 сего месяца».

Сразу две «удачи». Бюджет сбалансирован теперь надолго, но оба Кюри оказываются непомерно перегруженными работой как раз в то время, когда опыты по радиоактивности требуют от них напряжения всех сил. Пьеру не дают единственно достойного для него места — кафедры в Сорбонне. Но с большой готовностью поручают такому выдающемуся ученому занятия второстепенного значения, отнимающие время у науки.

Оба супруга Кюри сидят над учебниками, придумывают задачи, намечают курсовые работы. На Пьера навалилось преподавание в двух местах и практические занятия с двумя группами учеников. Мари, озабоченная своим дебютом на поприще французской педагогики, тратит много сил на подготовку к урокам и на организацию лабораторных работ. Она вносит свежую струю в методы преподавания и так своеобразно ведет уроки, что ректор Люсьен Пуанкаре изумляется и поздравляет ее с успехом. Мари не умеет делать что-нибудь иначе, чем наилучшим образом.

Сколько растраченных сил, сколько времени, потерянного для настоящей работы! Набив портфель исправленными тетрадями своих учениц, Мари несколько раз в неделю ездит в Севр на трамвае, доводящем до отчаяния своей медлительностью, вдобавок приходится ждать его по получасу, стоя на тротуаре. Пьер бегает с улицы Ломон на улицу Кювье, а оттуда обратно на улицу Ломон, в свой сарай. Едва начнет он какой-нибудь опыт, как надо его бросать и бежать в другое место — экзаменовать безбородых физиков...

Можно было бы надеяться, что на новом месте он получит лабораторию. Лаборатория утешила бы его вполне! Но нет... В Институте физики, химии и естественных наук ему отводят две маленькие комнатки. Он так разочарован, что, превозмогая свое отвращение ко всяким просьбам, пытается испросить себе помещение большего размера. Безуспешно.

«Каждый, кто предпринимал ходатайство такого рода,— пишет Мари, — *хорошо знает, сколько финансовых и административных препятствий встречает он при этом, сколько нужно официальных писем, визитов, заявлений, чтобы добиться малейшего успеха. Пьер невыносимо уставал от этого и приходил в отчаяние».*

Эти усилия супругов Кюри отражаются на их работе и даже на здоровье. Пьер настолько устал, что приходится срочно уменьшать число его «часов». В Сорбонне оказывается свободной кафедра минералогии, и такой ученый, как автор основных работ по физике кристаллов, в особенности подходил

для замещения ее. Пьер выступает соискателем. И снова верх одерживает конкурент.

«При больших заслугах и при большой скромности можно долго пребывать в неизвестности»,— писал Монтэнь.

Друзья Пьера Кюри стараются всеми способами продвинуть его на профессорское место. В 1902 году профессор Маскар настаивает на том, чтобы Пьер выставил свою кандидатуру в Академию наук. Успех ему обеспечен, а это очень значительно улучшит его материальное положение.

Пьер колеблется, но потом соглашается без особого удовольствия. Он с трудом обрекает себя на необходимость нанести визиты академикам, выполняя традиционный обычай, который представляется ему унизительным и нелепым. Физическое отделение академии единогласно высказывается за Пьера. Он тронут этим и выступает кандидатом. Получив от профессора Маскара должное внушение, он просит каждого из членов знаменитого сообщества назначить ему аудиенцию.

Имя Пьера получит широкую огласку после того, как журналисты расскажут пикантные анекдоты об известном ученом, а один из них опишет «объезд» академиков Пьером Кюри в мае 1902 года в таких выражениях:

«...Подниматься по лестнице, звонить, просить доложить о себе, говорить, зачем пришел,— одно это невольно переполняет кандидата чувством стыда; но это еще не все: необходимо перечислить свои заслуги, хорошо отозваться о самом себе, похвалиться своими знаниями, работами, а ему кажется, что вся эта процедура превышает человеческие силы. Затем он искренне и щедро расхваливает своего конкурента, уверяя, что месье Амага имеет гораздо больше оснований баллотироваться в Академию, чем он, Кюри!»

Результаты выборов опубликованы 9 июня. При обсуждении двух кандидатов — Пьера Кюри и Амага — академики предпочли последнего.

В письме к своему близкому другу Жоржу Гуи Пьер сообщает ему эту новость:

«Дорогой друг, как Вы и предвидели, выбор пал на Амага, получившего 23 голоса, тогда как я получил 20, а Жерне — 6.

В общем, я сожалею, что потратил так много времени на визиты для получения столь блестящего результата. Отделение представило меня единогласно, из-за этого я и согласился.

Передаю Вам эти сплетни, зная, что Вы охотник до таких вещей, но не думайте, что я сильно огорчен таким маловажным обстоятельством.

Преданный Вам

Пьер Кюри».

Новый декан, Поль Аппель, тот самый профессор, лекции которого слушала Мари с таким восторгом, вскоре пытается действовать в интересах Пьера другим образом.

Поль Аппель — Пьеру Кюри:

«Министр требует от меня представлений к награде орденом Почетного легиона. Вы должны стоять в этом списке. Я прошу Вас, как об услуге факультету, разрешить мне внести Вас в список. Я знаю, что человеку такого значения, как Вы, орден совсем не интересен, но мне важно представить наиболее достойных членов факультета, тех, кто наиболее отличился своими открытиями и работами. Это способ ознакомить министра с ними и показать, как мы работаем в Сорбонне. Если Вас наградят, то станете ли Вы носить орден или нет, это, конечно, будет зависеть только от Вашего желания, но я прошу Вас: разрешите представить Вас.

Извините меня, дорогой коллега, за надоедливость и будьте уверены в моей сердечной преданности».

Поль Аппель — Мари Кюри:

«...Несколько раз я говорил ректору Лиару о прекрасных работах господина Кюри, о непригодности его рабочего помещения, о том, как было бы важно дать ему хорошую лабораторию. Господин ректор доложил о Кюри министру и воспользовался для этого таким удобным случаем, как представление его к награде орденом Почетного легиона в связи с Четырнадцатым июля. Министр, видимо, очень заинтересовался господином Кюри и, может быть, хотел бы для начала выказать свой интерес к господину Кюри, наградив его орденом. В этом предположении я просил бы Вас использовать все Ваше влияние для того, чтобы господин Кюри не отказался. Сама по себе эта награда не имеет явного значения, но по своим последствиям — лаборатории, кредиты и т. п. — имеет значение большое.

Прошу Вас воздействовать на господина Кюри во имя науки и высших интересов факультета, чтобы он предоставил мне свободу действий».

На этот раз Пьер Кюри не «предоставил свободу действий». Всегдашнее отвращение ко всяким почестям вполне оправдывает его поведение. Пьера Кюри возмущает и другое. Ему действительно кажется смешным, что человеку науки отказывают в средствах для работы, а в то же время предлагают как поощрение, как «хорошую отметку» эмалевый крестик на красной ленточке.

Вот ответ Пьера Кюри декану:

«Прошу Вас, будьте любезны передать господину министру мою благодарность и уведомить его, что не имею никакой нужды в ордене, но весьма нуждаюсь в лаборатории».

* * *

Надежда на облегчение существования исчезла. Не получив желанного помещения для своих опытов, супруги Кюри довольствуются сараем, и долгие часы горячей, увлекательной работы служат им утешением в их неудачах. Они продолжают преподавательскую деятельность. Делают это добросовестно, без огорчения. Не один юноша с благодарностью вспомнит живые, ясные лекции Пьера. Не одна «севрянка» будет обязана своей склонностью к знанию преподавательнице Мари. Разрываясь на части между научными исследованиями и преподаванием, Пьер и Мари забывают о пище и сне. «Нормальный» образ жизни, когда-то установленный самой Мари, ее достижения как поварихи и хозяйки дома — все забыто. Оба супруга слишком перенапрягают свои силы, доходя до истощения. Повторные приступы невыносимой боли в руках и ногах вынуждают Пьера слечь в постель. Мари держится на одном нервном напряжении и пока не сдается; излечив своеобразным методом презрения и ежедневного нарушения режима туберкулез, вызывавший столько опасений у ее родных, Мари считает себя неуязвимой. Но в маленькой записной книжке, куда она заносит систематически свой вес, с каждой неделей числа становятся все меньше. За четыре года работы в их сарае Мари похудела на семь килограммов. Друзья дома отмечают ее бледность и нездоровый вид. Один молодой физик даже пишет Пьеру Кюри письмо, где умоляет его поберечь здоровье и собственное, и Мари. Его письмо рисует тревожную картину жизни четы Кюри, их самопожертвования.

Жорж Саньяк — Пьеру Кюри:

«...увидав мадам Кюри на заседании Физического общества, я поразился тому, насколько изменились черты ее лица. Мне хорошо известно, что причиной ее переутомления является подготовка диссертации. Но мне эта причина ясно говорит об отсутствии у нее достаточных сил, чтобы жить такой чисто умственной жизнью, какую Вы ведете, и все, что я говорю, относится и к Вам лично.

В подтверждение моей мысли приведу только один пример: Вы почти ничего не едите, ни тот, ни другой. Неоднократно я видел, как мадам Кюри наспех жует несколько кусочков колбасы и запивает чашкой чаю. Как Вы думаете, может ли организм, даже крепкий, не пострадать при таком недостаточном питании? А что будет с Вами, если мадам Кюри потеряет здоровье?

Возможно, что Вы и встретите с ее стороны пренебрежение или упрямство, но это не послужит Вам извинением. Я предвижу Ваше возражение такого рода: «Она не чувствует голода. Она взрослый человек и знает, что делает!» Нет, это не так. Сейчас она ведет себя, как ребенок. Говорю Вам это по-дружески, с полным убеждением.

Вы не уделяете достаточно времени для принятия пищи. Вы кушаете, когда придется, а вечером ужинаете так поздно, что желудок, утомленный ожиданием, в конце концов отказывается действовать. Несомненно, может иной раз случиться, что какое-нибудь исследование отсрочит Ваш обед до вечера, но Вы не имеете права возводить это в правило. Нельзя заполнять научными занятиями все моменты своей жизни, как это делаете Вы. Надо давать телу передышку. Надо спокойно сесть за стол и кушать медленно, избегая разговора о вещах грустных или утомительных для ума. Во время еды нельзя читать, нельзя говорить о физике...»

На все упреки и наставления такого рода Пьер и Мари наивно отвечают: «Мы же отдыхаем. Летом мы уезжаем на каникулы».

* * *

Летом они действительно пользуются отдыхом или, вернее говоря, думают, что это отдых. В разгар лета они, как и прежде, ездят с места на место. По их мнению, отдыхать — это значит объехать на велосипедах все Севенны, как было в 1898 году. Спустя два года они проехали все побережье Ла-Манша от Гавра до Сен-Валери-де-Сомм, а затем отправились на остров Нуармутье. В 1901 году их встречают в Пульдю, в 1902 году —

в Арроманше, в 1903 году — в Ле-Трипоре, потом в Сен-Трожане.

Дают ли все эти разъезды необходимый им физический и духовный отдых? Можно сомневаться. И виноват в этом Пьер, которому не сидится на одном месте. Пробыв где-либо два-три дня, он уже заговаривает о Париже и мягко обращается к жене:

— А уж давно мы ничего не делали!

В 1899 году Кюри предприняли поездку в далекие края, доставившую им много радостей. Впервые после своего замужества Мари приехала на родину, но не в Варшаву, а в Закопане, где Длусские строили свой санаторий для больных туберкулезом. Рядом со строительными лесами, на которых работало много каменщиков, в пансионе «Егерь» приютилась теплая компания. Тут остановился старик Склодовский, еще очень подвижный, помолодевший от радости, что вокруг него собрались все его дети, четыре молодые семьи. Как быстро пронеслись годы! Еще недавно его три дочери и сын бегали в Варшаве по урокам... А теперь Юзеф — уважаемый врач, обзавелся семьей, детьми; Броня и Казимеж строят санаторий; Эля преуспевает в педагогике, а ее муж Станислав Шалай управляет большим предприятием по графике и фототехнике; Маня работает в лаборатории, и ее статьи напечатаны! Милая «плутовка» — как звали в детстве эту любимицу семьи.

Пьер Кюри, как иностранец, оказывается предметом всяческого внимания. Поляки с гордостью показывают ему Польшу. Сначала он не проявляет большого восхищения этой суровой страной с мрачными соснами, тянущимися к небу, но после экскурсии на вершины Ризи его затронула поэзия и величавость этих высоких гор. Вечером он говорит жене в присутствии ее родных:

— Красивая страна. Теперь я понимаю, что можно ее любить.

Пьер умышленно сказал это по-польски, чем и пленил своих свойственников, несмотря на плохое произношение. На сияющем лице Мари он уловил наивно-самодовольную улыбку...

Спустя три года, в мае 1902 года, Мари вновь села в поезд, отходящий в Польшу. Она получила до этого несколько писем, извещавших о внезапной болезни отца, об операции желчного протока, откуда извлекли огромные желчные камни. Сначала приходили утешительные вести, и вдруг — телеграмма. Это был конец. В тот же момент Мари собралась ехать. Но выправить заграничный паспорт — дело не простое: прошло несколько часов, пока все бумаги оказались в порядке. Через двое с половиной суток Мари приезжает в Варшаву, в дом к Юзефу, где проживал старик Склодовский. Слишком поздно.

Мысль, что она не увидит его лица, невыносимо мучила ее. Известие о смерти отца застало ее в дороге. Мари ответной телеграммой умоляла сестер задержать погребение. Она проходит в комнату и с необычайной настойчивостью требует открыть уже заколоченный гроб. Ее желание исполнили. Глядя на безжизненное, спокойное отцовское лицо, Мари прощается с отцом и умоляет простить ее. В глубине души она не переставала упрекать себя за то, что осталась во Франции, обманув ожидания старика, который надеялся провести остаток своей жизни в ее присутствии. Стоя перед раскрытым гробом, в полной тишине, она шепотом продолжает упрекать себя, пока, наконец, брат и сестры не прекращают тяжкой сцены.

Это мучительное самобичевание несправедливо. Последние годы жизни ее отца протекли спокойно, счастливо, и в особенности благодаря ей. Окруженный любовью близких, удовлетворенный как отец и дед, старик Склодовский успел забыть былые превратности своей жизни. Самые последние, наибольшие радости доставила ему как раз Мари. Открытие полония и радия, появление в «Докладах Парижской академии наук» поразительных сообщений за подписью его ребенка вызвали глубокое, хорошее волнение в учителе физики, занятом ежедневным обязательным трудом, исключавшим возможность бескорыстного занятия наукой. Он следил за каждым шагом в работе своей дочери. Еще недавно Мари известила его о том, что после четырех лет настойчивой работы ей удалось добыть радий в чистом виде. И за шесть дней до своей смерти старик Склодовский начертал дрожащею рукой следующие строки уже не прежним четким, ровным почерком:

«Наконец ты располагаешь чистой солью радия! Если принять во внимание, сколько затрачено труда, чтобы добыть его, то, конечно, это самый дорогой из химических элементов. Жаль одного — что работа эта имеет интерес, по-видимому, только теоретический...»

Как был бы горд и счастлив старик отец, если бы прожил еще два года и узнал, что имя его дочери приобрело громкую известность, что Нобелевская премия присуждена Анри Беккерелю, Пьеру Кюри и Мари Кюри — его милому Анчупечо!..

Мари уезжает из Варшавы бледная, худая. В сентябре она вернется в Польшу. После горестной утраты Склодовские-дети чувствуют потребность собираться, как доказательство, что их братское единство нерушимо.

* * *

Октябрь. Пьер и Мари вернулись в свою лабораторию. Оба устали. Мари помогает в исследованиях мужу и в то же время записывает результаты своих работ по выделению радия. Но она пала духом, у нее ни к чему нет интереса. То страшное напряжение, какому она так долго подвергала свою нервную систему, вызвало странные явления: по ночам на нее находили приступы сомнамбулизма, она вставала с постели и бессознательно бродила по дому.

Наступивший год также приносит печальные события. Прежде всего беременность Мари, закончившаяся преждевременно выкидышем. Мари трагически переживает это разочарование.

Мари — Броне, 20 августа 1903 года:

«Я настолько убита этим несчастным случаем, что у меня нет мужества писать кому-либо о нем. Я так привыкла к мысли иметь этого ребенка, что не могу утешиться. Прошу тебя, напиши, надо ли мне, по твоему мнению, винить в этом общую усталость, так как должна сознаться, что не щадила своих сил. Я надеялась на крепость моего организма, а теперь горько сожалею об этом, заплатив так дорого за самонадеянность. Ребенок — девочка, в хорошем состоянии, была еще живой. А как я ее хотела!».

Несколько позже, уже из Польши, приходит дурная весть: второй ребенок Брони, мальчик, умер в несколько дней от менингита.

«Я совершенно подавлена несчастьем, какое обрушилось на Длусских,— пишет Мари своему брату. — *Этот ребенок был воплощенное здоровье. Если возможно потерять такого ребенка, несмотря на хороший уход, мыслимо ли надеяться сохранить других детей и воспитать их? Я не могу без ужаса смотреть на свою дочку. Горе Брони разрывает мое сердце».*

Эти печальные события омрачают существование Мари, а в то же время ее изводит другое тяжелое, мучительное обстоятельство: болеет Пьер. И раньше у него случались приступы болей, которые, вследствие неясных симптомов, врачи называли ревматическими, теперь они усилились и жестоко угнетают Пьера. Мучительно страдая, он стонет целые ночи напролет, а перепуганная жена ухаживает за ним.

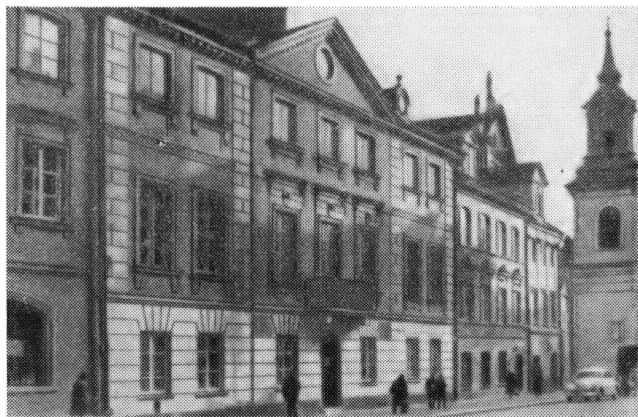


Мать Марии Склодовской-Кюри



Отец Марии Склодовской-Кюри

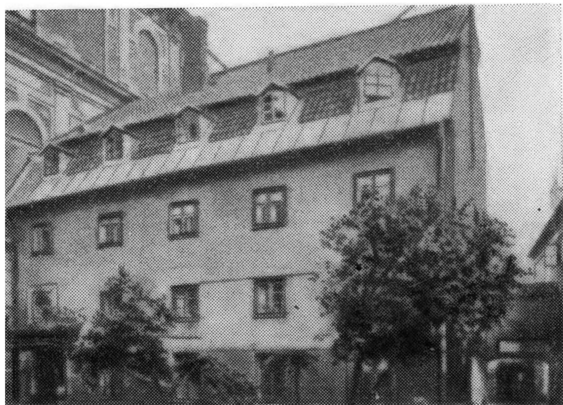
Дом на Фретской улице в Варшаве, где родилась Мария Склодовская-Кюри. Здесь в настоящее время находится музей





Маня и Броня Склодовские (1886 год)

Флигель бывшего Музея промышленности и сельского хозяйства в Варшаве на улице Краковске пшедмесьце, где работала Мария Склодовская в 1890 году



Мария Склодовская (1894 год)





Сорбонна — крупнейший университет XIX века. Здесь Марии Кюри присудили степень доктора, здесь она стала профессором и читала курс лекций по радиоактивности

Лабораторные записи Марии Кюри (1898 год)

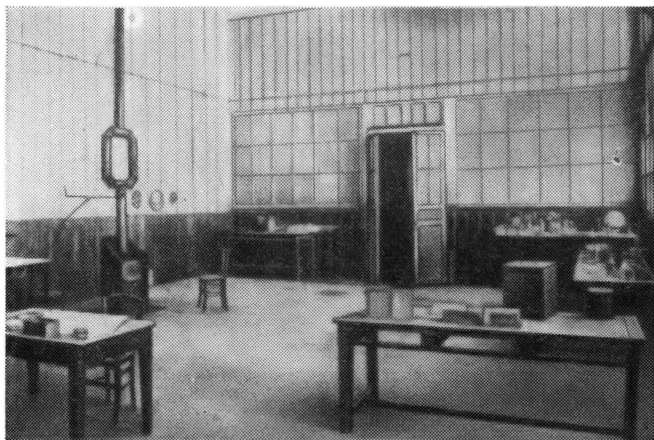


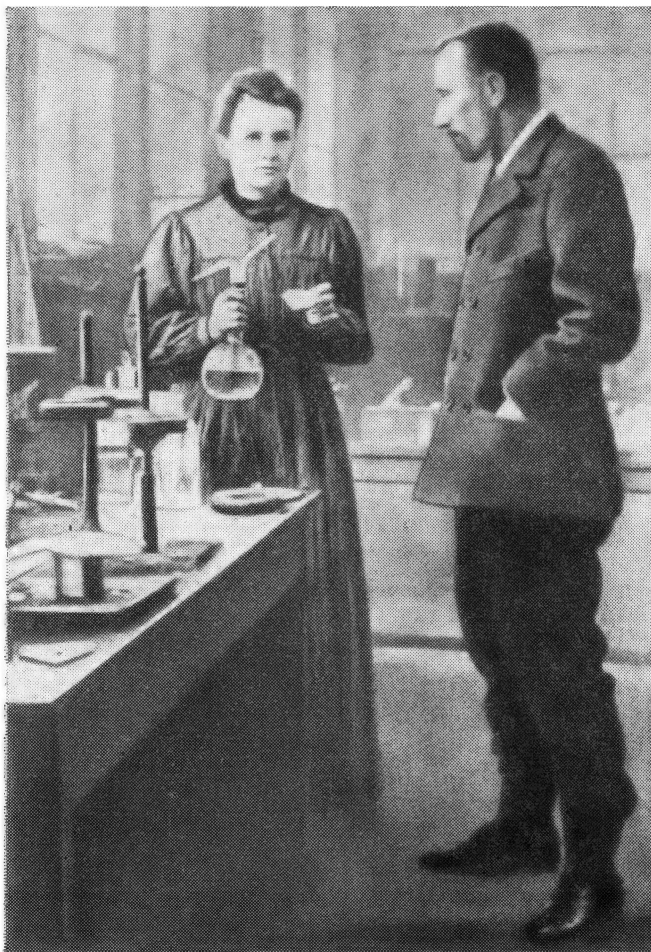
Мария Кюри с дочерьми Ирен и Евой (1905 год)



Мария Кюри в лаборатории

Сарай на улице Ломон





Мария и Пьер Кюри в лаборатории



Диплом лауреатов Нобелевской премии, врученный Пьеру и Марии Кюри



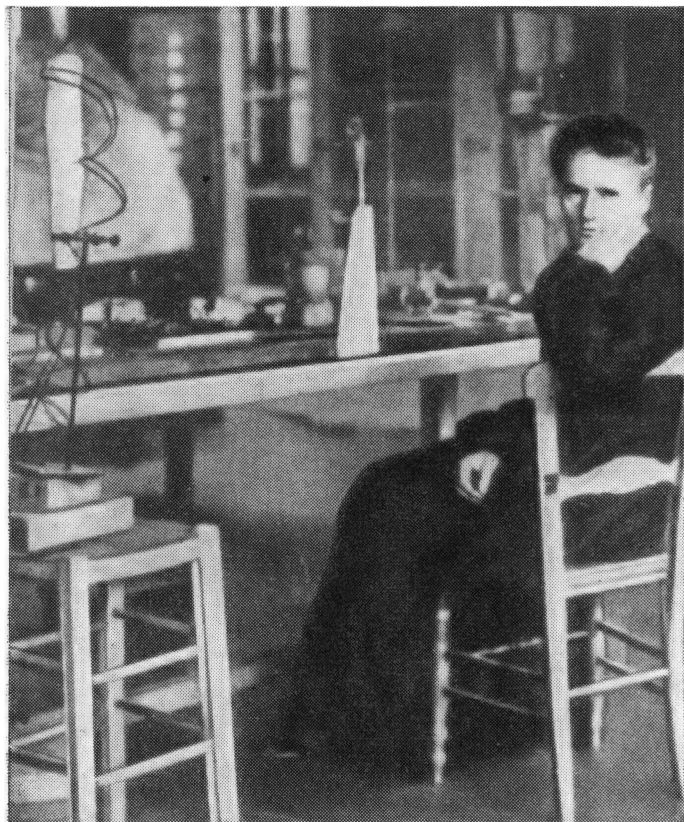
Ирен, старшая дочь Марии Кюри, в будущем лауреат Нобелевской премии



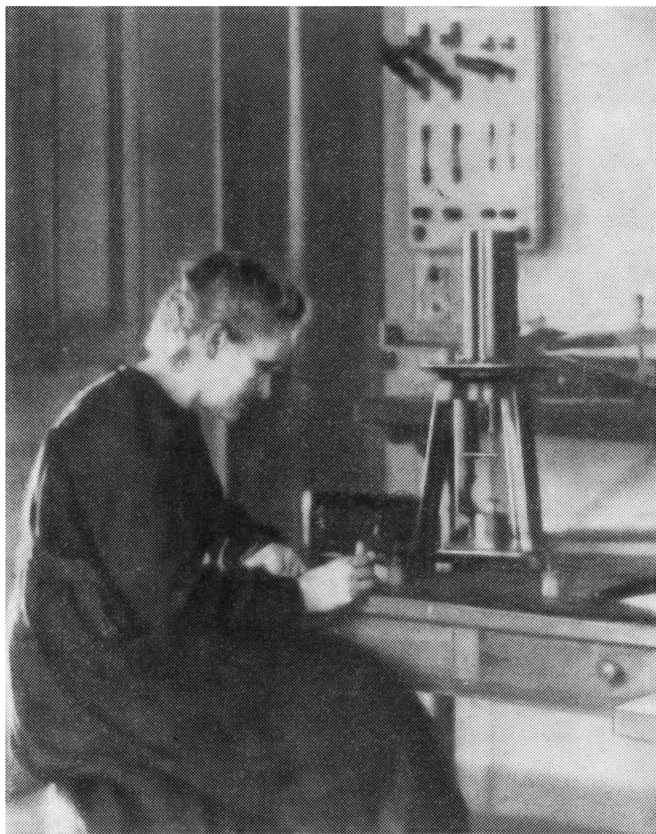
Ева, младшая дочь Марии Кюри, автор настоящей книги



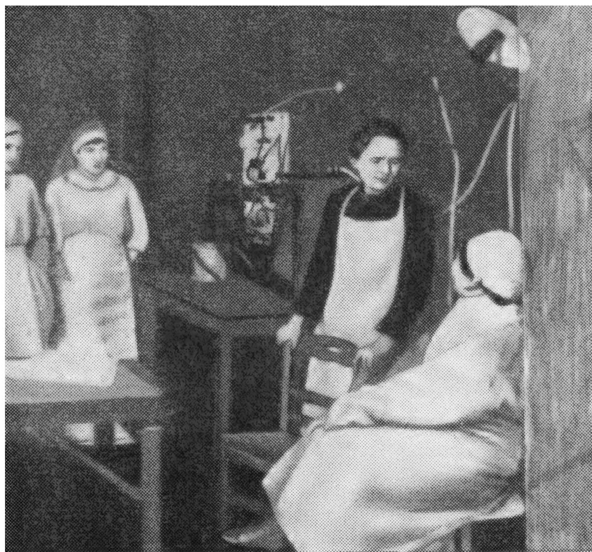
Мария Кюри с дочерью Ирен в лаборатории



Мария за рабочим столом (1905 год)



...и снова в 1925 году



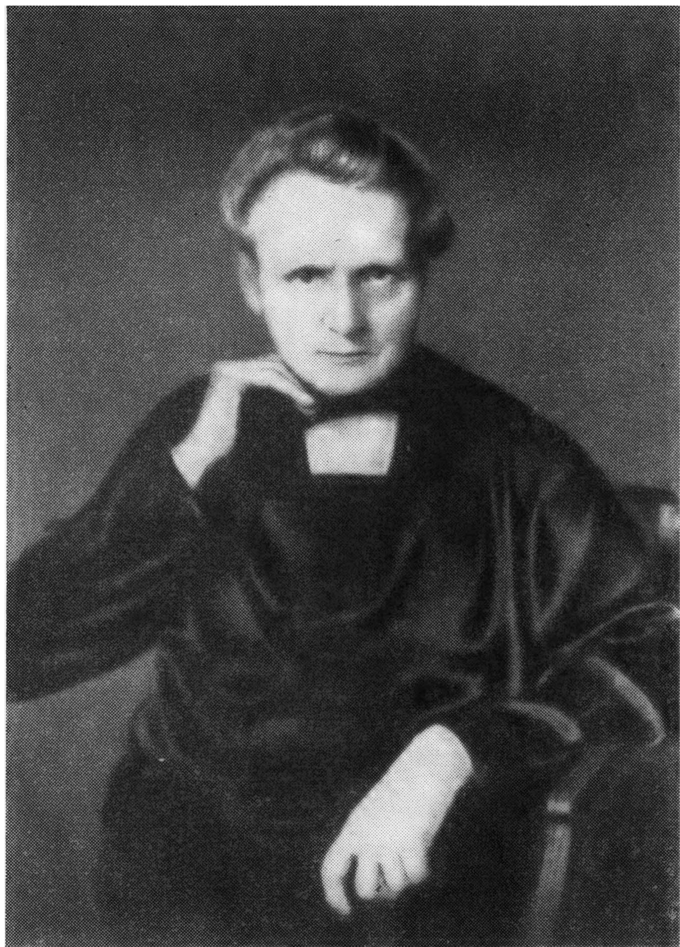
Мария Кюри в передвижной радиологической лаборатории во время первой мировой войны

Санитарная машина организованной Марией Кюри радиологической службы французской армии





Институт радия в Париже



Мария Кюри в последние годы жизни



Могила Марии Кюри в Со под Парижем



Памятник Марии Склодовской-Кюри перед зданием Института радия в Варшаве

Однако ж Мари должна вести занятия в Севре, а Пьеру надо опрашивать своих многочисленных учеников и проводить с ними практические работы. Не имея желанной лаборатории, необходимо продолжать кропотливые опыты.

Только один раз вырывается у него жалоба. Он тихо произносит:

— А все-таки тяжелую жизнь избрали мы с тобой.

Мари пытается возразить ему, но ей не удается скрыть свою тоску. Если так приуныл даже Пьер, разве это не значит, что уходят его силы? Уж не болен ли он какой-нибудь страшной, неизлечимой болезнью? А сможет ли она сама преодолеть ужасную усталость? Уже несколько месяцев как призрак смерти бродит вокруг нее и овладевает ее мыслями.

— Пьер!

Пораженный тоном отчаяния и сдавленным звуком голосом Мари, он резко оборачивается.

— В чем дело? Что с тобой, дорогая?

— Пьер... если кого-нибудь из нас не станет... другой не должен пережить его. Жить один без другого мы не можем. Правда?

Пьер отрицательно покачивает головой. Эти слова, сказанные женщиной, притом влюбленной, забывшей о своем предназначении, полностью противоречат его убеждению, что ученый не имеет права покидать Науку — цель его жизни.

С минуту он вглядывается в удрученное, осунувшееся лицо Мари. Потом твердо произносит:

— Ты ошибаешься. Что бы ни случилось, хотя бы душа расставалась с телом, все равно — надо работать.

ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ И ПЯТИМИНУТНЫЙ РАЗГОВОР

Не все ли равно для науки, бедны ли, богаты ли, счастливы или несчастливы, здоровы или больны ее служители? Она знает, что они созданы искать и открывать и что до полного истощения сил они будут искать и находить. Ученый не в состоянии бороться со своим призванием. Даже в дни упадка физических и духовных сил ноги сами ведут его, как рок, в лабораторию.

Поэтому не станем удивляться результатам работы Пьера и Мари за годы трудной жизни. Молодая наука о радиоактивности растет и расцветает, истощая мало-помалу чету физиков, давших ей жизнь.

С 1899 по 1904 год супруги Кюри, то вместе, то раздельно, то в сотрудничестве с кем-нибудь из коллег, публикуют тридцать два научных сообщения. Заголовки у них непривлекательные, текст испещрен диаграммами и формулами, пугающими неспециалиста. Однако каждое из этих сообщений знаменует собой победу. Читая сухое перечисление наиболее важных работ, опубликованных в различных журналах, согласимся с тем, что все они — плод любознательности, настойчивости и дарования.

О химическом действии лучей радия (Мари Кюри и Пьер Кюри, 1899 год).

Об атомном весе бария, содержащего радий (Мари Кюри, 1900 год).

Новые радиоактивные вещества и их лучеиспускание (Мари Кюри и Пьер Кюри, 1900 год).

Об индуцированной радиоактивности, вызываемой солями радия (Пьер Кюри и Андре Дебьерн 1901 год).

Физиологическое действие лучей радия (Пьер Кюри и Анри Беккерель, 1901 год).

О радиоактивных телах (Мари Кюри и Пьер Кюри, 1901 год).

Об атомном весе радия (Мари Кюри, 1902 год).

Об абсолютном измерении времени (Пьер Кюри, 1902 год).

Об индуцированной радиоактивности и эманации радия (Пьер Кюри, 1903 год).

О теплоте, самопроизвольно выделяемой солями радия (Пьер Кюри и А. Лаборд, 1903 год).

Исследование радиоактивных веществ (Мари Кюри, 1903 год).

О радиоактивности газов, выделяемых минеральными водами (Пьер Кюри и А. Лаборд, 1904 год).

Физиологическое действие эманации радия (Пьер Кюри, М. Бушар и В. Бальтазар, 1904 год).

Известие об открытии радиоактивности французскими учеными быстро распространяется за границей. С 1900 года из Англии, Германии, Австрии, Дании поступают на улицу Ломон запросы, подписанные именами крупных ученых. Супруги Кюри обмениваются письмами с сэром Вильямом Круксом, с венскими профессорами Зюссом и Больцманом, с датским исследователем Паульсеном. «Родители» радия щедро дают своим коллегам всяческие разъяснения и практические советы. В нескольких странах ученые кидаются отыскивать новые радиоактивные элементы, надеясь на новые открытия. Охота за ними дает хорошую

добычу: мезоторий, радиоторий, ионий, протактиний, радиосвинец....

В 1903 году два английских ученых, Рамзай и Содди, доказывают, что радий непрерывно выделяет небольшое количество газа — гелия. Это первый пример ядерного превращения. Немного позже, и опять в Англии, Резерфорд и Содди, исходя из гипотезы, высказанной Мари в 1900 году, публикуют замечательную «Теорию радиоактивных превращений». Они утверждают, что радиоактивные элементы, даже когда они кажутся неизменными, находятся в состоянии самопроизвольного распада; чем быстрее процесс их превращения, тем больше их активность.

«Это настоящая теория превращения простых тел, но не такого, какое мыслили алхимики, — напишет по этому поводу Пьер Кюри. — *Неорганическая материя будет веками непреложно эволюционировать по незыблемым законам».*

Чудесный радий! Его соединение с хлором в чистом состоянии представляет собой белый, тусклый порошок, который легко принять за обычную поваренную соль. Но чем лучше познаешь его свойства, тем поразительнее они кажутся. Излучение его, благодаря которому и обнаружила чета Кюри существование самого радия, по своей интенсивности превосходит все их предположения: оно в два миллиона раз сильнее, чем излучение урана. Наука анализировала радий, разложила его излучение на три вида, установила, что эти лучи способны проходить, правда, теряя энергию, сквозь самые светонепроницаемые материалы. Лишь толстый свинцовый экран может остановить поток этих невидимых лучей.

У радия есть своя тень, свой фантом: он самопроизвольно распадается, выделяя особое газообразное вещество — эманацию радия, тоже активное; и если даже заключить его в стеклянную трубку, то оно непрестанно разлагается со строгой закономерностью. Его присутствие обнаруживается в многочисленных источниках минеральных вод.

Другой вызов радия теориям, как будто составляющим незыблемую основу физики: он самопроизвольно выделяет тепло. Количество тепла, выделяемого частицей радия в час, способно растопить равный по весу кусочек льда. Если вы изолируете радий, он нагревается, и его температура может превысить температуру окружающей среды на десять и больше градусов. Да и на что только он не способен? Он действует на фотографическую пластинку сквозь черную бумагу; он превращает воздух в проводник электричества и таким образом разряжает на рас-

стоянии электроскоп; стеклянную посуду, в которой он находится, он окрашивает в розовато-сиреневый и лиловый цвет; если его обернуть бумагой или ватой, он разрушает их и мало-помалу превращает в прах.

Что радий светоносен, мы уже знаем.

«*Эту люминесценцию нельзя видеть при дневном свете*, — запишет Мари, — *но легко наблюдать в полумраке. Излучаемый небольшим количеством радия свет может иметь силу, достаточную, чтобы читать в темноте*».

Радий пользуется своим чудесным свойством не только эгоистически, для самого себя. Он заставляет фосфоресцировать многие тела, которые сами по себе не способны излучать свет. Так, например, обстоит дело с алмазами:

«*Если алмазу, путем воздействия на него радием, придать фосфоресцирующее свойство, то этим можно отличить алмаз от его подделки — страза, который будет светиться очень слабо*».

Наконец, излучение радия — «прилипчиво». Прилипчиво, как стойкий запах, как болезнь. Нельзя оставить какой-нибудь предмет, растение, животное или человека рядом с пробиркой, заключающей радий, чтобы на них тотчас же и заметно не повлияла его активность. Эта «прилипчивость», вносящая погрешности в результаты опытов большой точности, являлась повседневным врагом Пьера и Мари Кюри.

«*При исследовании сильно радиоактивных веществ*, — пишет Мари, — *надо принимать особо тщательные предосторожности, если хочешь ставить продолжительные тонкие опыты. Различные предметы, употребляемые в химической лаборатории, и те, которые необходимы для физических экспериментов, незамедлительно сами становятся радиоактивными и начинают действовать на фотографические пластинки сквозь черную бумагу. Пыль, воздух в комнате, сама одежда делаются радиоактивными. Воздух превращается в проводник электричества. В той лаборатории, где мы работаем, эта напасть приобрела такую остроту, что мы уже не в состоянии иметь ни одного вполне изолированного аппарата*».

Спустя тридцать — сорок лет после смерти обоих Кюри их рабочие записные книжки будут все еще проявлять живую, таинственную активность и действовать на измерительные приборы!

Радиоактивность, выделение теплоты, образование гелия и эманации, спонтанный распад... Как далеко мы ушли от теорий

инертной материи, неделимого атома! Каких-нибудь пять лет тому назад ученые еще верили, что Вселенная состоит из вполне определенных тел, из неизменных элементов. А теперь оказывается, что частицы радия каждую секунду выталкивают из самих себя атомы гелия и выбрасывают их в пространство с огромной силой. Этот микроскопический и страшный взрыв Мари назовет «катаклизмом ядерного превращения»; остаток же его представляет собой атом эманации радия, который превратится в другое радиоактивное вещество, а оно в свою очередь также претерпит распад. Сейчас мы знаем, что радиоактивные элементы образуют своеобразные семейства, где каждый из его членов образуется в результате самопроизвольного превращения материнского вещества: радий — потомок урана, полоний — потомок радия. Каждый радиоактивный элемент, распадаясь, теряет половину своей массы в точно определенное, одно и то же время, которое назвали периодом полураспада. Чтобы уменьшиться наполовину, урану нужно несколько миллиардов лет, радию — тысяча шестьсот, эманации радия — четыре дня, а «потомкам» эманации — лишь несколько секунд.

В неподвижной внешне материи происходят рождения, столкновения, убийства и самоубийства. В ней заключены драмы, вызываемые беспощадным предопределением. В ней жизнь и смерть.

Вот что стало нам известно благодаря открытию радия. Философам не осталось ничего, как с новых позиций начать изучать философию, так же как физикам — физику.

* * *

Последнее волнующее чудо: радий будет кое-что значить и для здоровья человека. Он станет его союзником в борьбе с жестокой болезнью — раком.

Немецкие ученые Вальхов и Гизель заявили в 1900 году, что новое вещество действует физиологически, и Пьер, пренебрегая опасностью, тотчас подверг свое предплечье действию радия. К его радости, участок кожи оказался поврежденным! В заметке для Академии наук он спокойно описывает наблюдаемые симптомы:

«Кожа покраснела на поверхности в шесть квадратных сантиметров; имеет вид ожога, но не болит или болезненна чуть-чуть. Через некоторое время краснота, не распространяясь, начинает становиться интенсивнее; на двадцатый день образовались струпья, затем рана, которую лечили перевязками; на сорок

второй день стала перестраиваться эпидерма от краев к центру, а на пятьдесят второй день остается еще ранка в квадратный сантиметр, имеющая сероватый цвет, что указывает на более глубокое омертвление тканей.

Добавим, что мадам Кюри, перенося в запаянной стеклянной трубочке несколько сантиграммов очень активного вещества, получила ожоги такого же характера, хотя маленькая пробирка находилась в тонком металлическом футляре.

Кроме таких резких воздействий мы за время наших работ с очень активными веществами испытали на себе различные виды их воздействия. Руки вообще имеют склонность к шелушению; концы пальцев, державших пробирки или капсулы с сильно радиоактивными веществами, становятся затвердевшими, а иногда очень болезненными; у одного из нас воспаление оконечностей пальцев длилось две недели и кончилось тем, что сошла кожа, но болезненная чувствительность исчезла только через два месяца».

Анри Беккерель нес в жилетном кармане пробирку с радием и тоже получил ожоги. Он приходит в восторг и ярость, бежит к Кюри жаловаться на проделки их страшного детища. В заключение он говорит:

— Радий я люблю, но сердит на него!

...А затем спешно записывает результаты своего невольного эксперимента, которые появятся 3 июня 1901 года в «Докладах Академии наук» рядом с наблюдениями Пьера Кюри.

Заинтересованный этой поразительной способностью, Пьер изучает действие радия на животных. Он работает вместе с известными учеными-медиками Бушаром и Бальтазаром. Вскоре они пришли к такому заключению: радий, разрушая больные клетки, излечивает волчанку, злокачественные опухоли и некоторые формы рака. Этот вид терапии будет называться «кюритерапией». Французские врачи-практики (Доло, Викам, Доминичи, Дегре и др.) с успехом применяют первые опыты этого лечения на своих больных. Они употребляют пробирки с эманацией радия, полученные от Пьера и Мари Кюри.

«Действие радия на кожу изучено доктором Доло в больнице Сен-Луи, — запишет Мари. — *С этой точки зрения радий дает ободряющие результаты: эпидерма, частично разрушенная действием радия, преобразуется в здоровую».*

Радий полезен, изумительно полезен! Нетрудно догадаться о прямых следствиях такого убеждения. Выделение нового элемента представляет интерес не только теоретический. Оно явля-

ется необходимым, благодетельным. Должно начаться промышленное производство радия.

Пьер и Мари кладут начало такому производству. Собственными руками, больше всего руками Мари, они добывают первый на свете грамм радия из восьми тонн уранинита разработанным ими способом. Мало-помалу свойства радия все больше возбуждают умы, и супруги Кюри находят действенную помощь для организации производства радия на широкой основе. Массовая переработка минерального сырья под руководством Андре Дебьерна была начата Центральным обществом химических продуктов, согласившимся производить всю переработку по себестоимости, без прибыли. В 1902 году Академия наук отпускает супругам Кюри кредит в двадцать тысяч франков «на выделение радиоактивных веществ». Сразу же была начата переработка пяти тонн минерала.

В 1904 году решительный и образованный Арме де Лиль надумал построить завод по производству радия для врачей, занимающихся лечением злокачественных опухолей. Он предлагает Пьеру и Мари помещение при заводе, где они могут с удобством вести свои работы, которые из-за тесноты сарая были до сих пор невыполнимы. Супруги подбирают себе таких сотрудников, как Ф. Одепин и Жак Дани, которым Арме де Лиль поручает извлечение драгоценного вещества.

Мари так и не расстанется с полученным ею первым граммом радия. Позже она завещает его своей лаборатории. Он не имел и никогда не будет иметь другой ценности, кроме как воплощения ее бескорыстного труда. Когда сарай рухнет под ломами рабочих, а мадам Кюри уже не будет на свете, этот грамм останется излучающим свет символом подвига и героической поры двух людей.

Другие граммы будут цениться по-иному — на вес золота. Радий, регулярно поступающий на рынок, становится самым дорогим веществом на свете. Один грамм радия стоит семьсот пятьдесят тысяч франков золотом.

Такое аристократическое вещество заслуживает того, чтобы о нем знали. В январе 1904 года выходит первый номер обозрения «Радий», посвященного только радиоактивным продуктам.

На рынке радий выступает как нечто самостоятельное. У него своя котировка и своя пресса. На бланке с заголовком завода Арме де Лиля вскоре будет печататься большими буквами:

СОЛИ РАДИЯ — РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Адрес для телеграмм: Радий — Ножан-сюр-Марн.

* * *

Все эти плодотворные работы ученых в разных странах, организация производства радия и первые врачебные опыты осуществились в конце концов благодаря тому, что юная блондинка, движимая горячей любознательностью, в 1897 году выбрала темой своей диссертации изучение лучей Беккереля; благодаря тому, что она угадала в уранините присутствие нового химического элемента и, присоединив к своим силам силы мужа, доказала существование этого элемента, выделив чистый радий.

И вот 25 июня 1903 года эта женщина стоит у черной доски в небольшой аудитории Сорбонны, в «студенческой аудитории», куда можно попасть по скрытой винтовой лестнице. Прошло больше пяти лет с тех пор, как Мари приступила к теме своей диссертации. Закружившись в вихре крупнейшего открытия, она долго откладывала защиту докторской диссертации, не имея времени соединить в целое необходимые для этого элементы. И вот теперь она перед судом ученых.

По обычаю, она вручила своим оппонентам — Липпману, Бути и Муасану — на рассмотрение текст своей работы «Исследование радиоактивных веществ». И — событие невероятное — она купила себе новое платье, черное, шелк с шерстью. Говоря точнее, Броня, приехавшая в Париж на защиту диссертации, пристыдила Мари ее заношенными платьями и насильно повела в магазин. И уже сама вела переговоры с продавщицей, щупала материю, указывала переделки, не обращая внимание на хмурое лицо младшей сестры.

В раннее июньское утро, солнечное и торжественное, Броня сама нарядила Мари с такой же тщательностью, с тем же увлечением, как двадцать лет тому назад, в 1883 году, когда девочке Манюше, одетой, как и теперь, в черное платье, предстояло получить из рук русского чиновника золотую медаль по окончании гимназии в Краковске пшедмесьце.

Мадам Кюри стоит совершенно прямо. На ее бледном лице, на выпуклом лбу, совсем открытом благодаря зачесанным наверх волосам, заметны тонкие морщинки — следы того сражения, которое она дала и выиграла. Физики, химики теснятся в комнате, пронизанной лучами солнца. Пришлось поставить дополнительные стулья: исключительный интерес к тем исследованиям, о которых будет идти речь, привлек людей науки.

Старый доктор Кюри, Пьер Кюри, Броня сели в глубине зала, втиснувшись между студентами. Рядом с ними расположилась говорливая стайка юных девиц — это севрские ученицы Мари, явившиеся аплодировать своей преподавательнице.

Три оппонента во фраках сидят за длинным дубовым столом. Они по очереди задают вопросы кандидатке. И господину Бути, и Липпманну, своему первому учителю с тонкими вдохновенными чертами лица, и господину Муасану Мари спокойно отвечает приятным голосом. Держа в руке кусочек мела, она рисует на доске схему какого-нибудь прибора или пишет основную формулу. Она излагает результаты своих работ сухим техническим языком с тусклыми прилагательными. Но в умах окружающих ее физиков, молодых и старых, жрецов науки и учеников, все это преобразуется по-другому. Сухая речь Мари превращается в зажигательный блестящий рассказ об одном из самых крупных открытий XIX века.

Ученые не одобряют красноречия и разглагольствований. Присуждая Мари степень доктора, судьи, собравшиеся на факультет естествознания, тоже употребляют выражения простые, не яркие, но, когда их перечитываешь через тридцать лет, эта крайняя простота придает им глубоко волнующее значение.

Председатель Липпманн произносит сакраментальную фразу:

— Парижский университет дарует Вам степень доктора физических наук с весьма почетным отзывом.

Когда умолкли скромные аплодисменты, он добавляет просто, дружески, застенчивым голосом старого профессора:

— А от имени жюри, мадам, я должен передать Вам самые сердечные поздравления...

Этот строгий, серьезный и скромный церемониал защиты, совершенно одинаковый для талантливого соискателя, и просто добросовестного труженика науки, не должен вызывать иронического отношения.

В нем есть свой стиль, свое величие.

* * *

За несколько лет до защиты диссертации и до того как промышленное производство радия развилось во Франции и за границей, супруги Кюри приняли одно решение, не придавая ему особого значения, а между тем оно сильно отразится на всей остальной их жизни.

Очищая уранинит и выделяя радий, Мари разработала для этого нужную технологию и создала самый способ производства.

С тех пор как стали известны лечебные свойства радия, повсюду начались поиски радиоактивных минералов. В нескольких странах возникают проекты промышленного производства радия, между прочим в Америке и Бельгии. Однако же заводы не смогут производить «чудотворный металл», пока их инже-

неры не узнают тайны, какими способами выделить чистый радий.

Как-то воскресным утром в домике на бульваре Келлермана Пьер освещает своей жене создавшееся положение вещей. Только что почтальон принес ему письмо из Соединенных Штатов. Пьер внимательно прочел его, сложил и бросил на письменный стол.

— Надо бы нам поговорить о нашем радии, — начал он спокойным тоном.— Теперь совершенно ясно, что производство радия широко развивается. Вот как раз послание из Буффало. Тамошние технологи намереваются создать завод для получения радия и просят меня дать им сведения.

— Дальше? — спрашивает Мари, не проявляя большого интереса к теме разговора.

— Дальше... у нас есть выбор между двумя решениями этого вопроса. Описать во всех подробностях результаты наших исследований, включая и способы очистки...

Мари утвердительно кивает головой и быстро говорит:

— Ну да, конечно.

— Или же, — продолжает Пьер, — мы можем рассматривать себя как собственников, как «изобретателей» радия. В таком случае, прежде чем опубликовать то, каким способом ты обрабатывала уранинит, надо запатентовать эту методику и закрепить свои права на промышленную технологию получения радия во всем мире.

Он делает усилие, чтобы вполне объективно уточнить положение. Если, произнося мало ему свойственные слова: «запатентовать» и «закрепить свои права», его голос звучал в тоне едва заметного презрения, то это не вина Пьера.

Несколько секунд Мари раздумывает. Потом говорит:

— Нельзя. Это противно духу науки.

Пьер сознательно настаивает:

— Я тоже так думаю.., но не хочу, чтобы мы приняли это решение легкомысленно. Жизнь у нас тяжелая, и надо опасаться, что она всегда такой и будет. А у нас есть дочь... Возможно, что у нас будут еще дети. Для них, да и для нас патент — это деньги, богатство. Это обеспеченная жизнь в довольстве, отсутствие забот о заработке.

С легким смешком он называет еще одну вещь, от которой ему тяжело отказаться:

— Мы могли бы иметь отличную лабораторию.

Мари смотрит в одну точку. Она обдумывает вопрос о практической выгоде, о материальном вознаграждении... И почти тотчас отвергает его:

— Физики публикуют результаты своих исследований всег-

да бескорыстно. Если наше открытие будет иметь коммерческое значение, то как раз этим не следовало бы пользоваться. Радий будет служить и для лечения больных людей. И мне кажется невозможным извлекать из этого выгоду.

Мари не пытается убеждать мужа. Она хорошо понимает, что о патенте Пьер заговорил лишь для очистки совести. Полная уверенность, звучавшая в ее словах, выражала чувства их обоих, их непреложное понятие о долге ученого.

В наступившем молчании Пьер, как эхо, повторяет фразу:

— Да. Это было бы противно духу науки.

На душе у него отлегло. И, в порядке разрешения как бы частного вопроса, Пьер добавляет:

— Вечером я напишу американским инженерам и дам им все указания, которые они просят.

«*По соглашению со мной,* — пишет Мари спустя двадцать лет, — *Пьер отказался извлечь материальную выгоду из нашего открытия; мы не взяли никакого патента и, ничего не скрывая, обнародовали результаты наших исследований, а также способы извлечения чистого радия. Более того, всем заинтересованным лицам мы давали требуемые разъяснения. Это пошло на благо производства радия, которое могло свободно развиваться, сначала во Франции, потом за границей, поставляя ученым и врачам продукты, в которых они нуждались. Это производство до сего времени использует почти без изменений предложенные нами методы получения радия.*

...Общество естественных наук в Буффало прислало мне в знак памяти свое издание, посвященное развитию производства радия в Соединенных Штатах, с приложением фотокопий с писем Пьера, в которых он самым подробным образом ответил на вопросы, заданные ему американскими инженерами в 1902—1903 годах».

* * *

Через четверть часа после этого пятиминутного разговора воскресным утром Пьер и Мари на велосипедах проезжают заставу Шантийи и, нажимая на педали, направляются в Кламарский лес.

Раз и навсегда они предпочли богатству бедность, а вечером усталые возвращаются домой с ветками деревьев и букетами цветов.

ВРАГ

Первой предложила супругам Кюри достойное их положение Швейцария, как это нам известно из письма Женевского университета, а первые почести пришли к ним из Англии.

Франция несколько раз награждала их за научные заслуги. В 1895 году Пьер получил премию Планте, в 1901 году — премию Лаказа, а Мари три раза награждалась премией Жегне. Но имя их не было связано с отличиями особо высокого ранга до 3 июня 1903 года, когда знаменитый Королевский институт официально пригласил Пьера Кюри сделать доклад о радии. Французский физик отправляется в Лондон на торжественное заседание вместе с женой.

Там их встречает знакомое лицо, светящееся дружбой и благожелательностью, — лорд Кельвин. Великий старец считает их успех вопросом своей чести и так гордится исследованиями Кюри, как гордился бы собственными. Он ведет их осматривать свою лабораторию и на ходу отечески кладет руку на плечо Пьера. Показывает с трогательной радостью сотрудникам подарок из Парижа, настоящий подарок ученому: драгоценную частичку радия в стеклянной ампуле.

Вечером во время доклада Пьера лорд Кельвин сидит рядом с Мари, первой женщиной, присутствующей на заседаниях Королевского института. В зале вся научная Англия: сэр Уильям Крукс, лорд Релей, лорд Эйвбери, сэр Фредерик Брамуэлл, сэр Оливер Лодж, профессор Дьюар, Рей Ланкестер, Айртон, С. П. Томпсон, Армстронг... Неторопливо Пьер на французском языке излагает свойства радия. Затем он просит погасить свет и проводит несколько поразительных опытов: волшебной силой радия разряжает на расстоянии электроскоп; заставляет фосфоресцировать экран, пропитанный раствором сернокислого цинка; действует на фотографические пластинки, завернутые в черную бумагу; доказывает самопроизвольное выделение теплоты чудесным веществом...

Восхищение, царившее на этом вечере, сказалось и на следующем дне. Весь Лондон пожелал увидеть «родителей» радия. «Профессор и мадам Кюри» приглашаются на обеды, на банкеты. Пьер и Мари присутствуют на блестящих приемах, слушают тосты, произносимые в их честь. Пьер, одетый в чуть лоснящийся черный фрак, в котором он ходил на лекции, производит впечатление человека как бы «потустороннего», с трудом осознающего, что все эти поздравления и похвалы относятся к нему. Мари чувствует себя неловко под взглядами множества глаз, направленных на нее, на такое редчайшее существо, на такой феномен, как женщина-физик.

Мари в темном, слегка открытом платье без рукавов, на попорченных кислотами руках никаких украшений, нет даже обручального кольца. А рядом с ней на обнаженных шеях сверкают самые красивые бриллианты Британской империи. Мария с искренним удовольствием разглядывает сверкающие драгоценности и с удивлением замечает, что обычно рассеянный ее супруг тоже уставился глазами на эти ожерелья и бриллиантовые нити...

— Я и не представляла, что существуют такие украшения, — говорит Мари Пьеру вечером, раздеваясь. — Как это красиво!

Физик смеется:

— Представь себе, я за обедом, не зная, чем заняться, придумал себе развлечение: стал вычислять, сколько лабораторий можно выстроить за камни, украшающие шею каждой из присутствующих дам. К концу обеда, когда начался общий разговор, я уже выстроил астрономическое число лабораторий!

Через несколько дней супруги Кюри возвращаются в Париж, в свой сарай. В Лондоне завязались надежные дружеские отношения, наметились возможности сотрудничества. Вскоре Пьер совместно с английским коллегой Дьюаром опубликовывает работу о газах, выделяемых бромистым соединением радия.

Англосаксы верны тем, кого они ценят. В ноябре 1903 года Королевское общество в Лондоне известило письмом «месье и мадам Кюри» о том, что в знак своего уважения оно присудило им одну из высших наград — медаль Дэви.

Мари нездорова, поэтому на эту церемонию отправляется один Пьер. Он привозит из Англии тяжелую золотую медаль, где выгравированы их имена. Он ищет место, куда бы ее спрятать во флигеле на бульваре Келлермана. Неуклюже вертит медаль в руках, роняет, теряет и опять находит... Наконец, по внезапному наитию, отдает ее Ирен, еще не переживавшей за свои шесть лет такого празднества.

Когда друзья приходят навестить Пьера, он им указывает на дочку, играющую этой новой игрушкой.

— Ирен обожает свой новенький «большой сантим», — добавляет он в заключение.

Блестящий успех двух коротких путешествий, маленькая девочка, играющая золотым диском... Такова прелюдия к симфонии, которая вскоре закончится мощным аккордом.

* * *

На этот раз знак оркестру подает дирижер из Швеции. На торжественном общем собрании 10 декабря 1903 года

Стокгольмская академия наук публично объявляет, что Нобелевская премия по физике присуждается Анри Беккерелю и супругам Кюри за открытия в области радиоактивности.

Никто из Кюри не присутствовал на заседании. От их имени французский посол принял из рук короля диплом и золотые медали.

Пьер и Мари, плохо себя чувствуя и будучи перегруженными работой, уклонились от долгого пути в разгар зимы.

Профессор Ауривилиус — месье и мадам Кюри, 14 ноября 1903 года:

«Месье и мадам Кюри,
как я уже имел честь сообщить Вам телеграммой, Шведская академия наук на заседании 12 ноября приняла решение присудить Вам половину Нобелевской премии по физике за этот год — в знак высокой оценки ваших выдающихся совместных работ по исследованию лучей Беккереля.

10 декабря на общем торжественном собрании будут обнародованы державшиеся до этого в строгой тайне решения различных комиссий, которые обсуждали вопрос о назначении премии, и на этом же заседании будут вручены дипломы, а также золотые медали.

От имени Академии я приглашаю Вас соблаговолить явиться на данное собрание, чтобы получить лично Вашу премию.

На основании статьи девятой Устава о Нобелевской премии Вам предстоит сделать в Стокгольме публичный доклад, касающийся темы премированной работы, в течение шести месяцев со дня торжественного собрания. Если бы Вы приехали в указанное время, для Вас было бы, несомненно, лучше выполнить это обязательство в первые же дни после собрания, если такой порядок Вам удобен.

В надежде, что Академия будет иметь удовольствие видеть Вас в Стокгольме, прошу Вас принять уверения в моих отменных чувствах».

Пьер Кюри — профессору Ауривилиусу, 19 ноября 1903 года:

«Господин Непременный секретарь,
мы крайне признательны Стокгольмской академии наук за ту большую честь, какую она нам оказала, присудив нам половину Нобелевской премии. Мы просим Вас быть столь любезным и передать Академии нашу самую искреннюю признательность и благодарность.

Нам очень трудно приехать в Швецию на торжественное заседание 10 декабря.

Нам нельзя уезжать отсюда в это время года, так как это внесло бы большие осложнения в чтение лекций, порученное каждому из нас двоих. В случае, если бы мы и поехали на данное заседание, мы смогли бы остаться лишь на очень короткий срок, так что едва успели бы познакомиться со шведскими учеными.

Кроме того, мадам Кюри болела все это лето и не совсем еще поправилась.

Я просил бы Вас отложить на более поздний срок наше путешествие и доклад. Например, мы могли бы приехать в Стокгольм на пасху или, еще удобнее, в середине июня.

Соблаговолите, господин Непременный секретарь, принять уверение в нашем уважении».

После этих выражений официальной любезности приведем другое письмо — неожиданное и поразительное. Оно написано самой Мари по-польски и адресовано брату. Дата письма достойна внимания: 11 декабря 1903 года. На следующий день после торжественного заседания в Стокгольме. В первый день ее славы! В этот момент Мари, наверно, была упоена своим торжеством. Разве ее судьба не исключительна? Еще никогда ни одна женщина не достигала такой известности в требовательной научной среде. Она первая и до той поры единственная во всем мире знаменитая ученая!

Мари Кюри — Юзефу Склодовскому, 11 декабря 1903 года:

«Дорогой Юзеф,
нежно благодарю Вас обоих за Ваши письма. Не забудь поблагодарить Манюсю (дочь Юзефа — Е. К.) за ее письмецо, так хорошо написанное, что оно доставило мне большое удовольствие. Отвечу ей, как только у меня будет свободная минута.

В начале ноября у меня было что-то вроде гриппа, после чего остался небольшой кашель. Я ходила к доктору Ландрие, который выслушал мои легкие и не нашел ничего плохого. Зато он обвиняет меня в малокровии. Между тем я чувствую себя крепкой и в настоящее время способна работать больше, чем осенью, не очень утомляясь.

Муж мой ездил в Лондон получать медаль Дэви, которую нам дали. Я не поехала с ним, боясь переутомиться.

Нам присудили половину Нобелевской премии. Точно не знаю, сколько это будет, но думаю, что около семидесяти тысяч франков. Для нас это большая сумма. Не знаю, когда мы полу-

чим эти деньги, возможно, лишь когда мы сами поедем в Стокгольм. Мы обязаны сделать там доклад в течение шести месяцев, считая с 10 декабря.

На торжественное заседание мы не поехали, так как устроить это было бы очень сложно. Я не чувствовала себя достаточно крепкой для такого длительного путешествия (48 часов без пересадки, а с пересадкой дольше), в такое суровое время года, да еще в холодную страну, и не имея возможности пробыть там более трех-четырех дней. Мы не могли бы без больших неудобств прервать наши лекции на долгое время. Вероятно, поедем туда на пасху и лишь тогда получим деньги.

Нас завалили письмами, и нет отбоя от журналистов и фотографов. Хочется провалиться сквозь землю, чтобы иметь покой. Мы получили предложение из Америки прочесть там несколько докладов о наших работах. Они нас спрашивают, сколько мы желаем получить за это. Каковы бы ни были их условия, мы склонны отказаться. Нам стоило большого труда избежать банкетов, предполагавшихся в нашу честь. Мы отчаянно сопротивлялись этому, и люди, наконец, поняли, что с нами ничего не поделаешь. Моя Ирен здорова. Ходит в школу довольно далеко от дома. В Париже очень трудно найти хорошую школу для маленьких детей.

Целую всех Вас нежно и умоляю не забывать меня».

«Нам присудили половину Нобелевской премии. Я не знаю, когда мы получим эти деньги», — эти слова, написанные женщиной, еще недавно отказавшейся от возможного богатства, приобретают особое значение. Молниеносно приобретенная известность, масса почитателей среди широкой публики, блестящие отзывы в печати, официальные приглашения, полученные из Америки, — все это Мари упоминает лишь как повод для своих горьких жалоб. Нобелевская премия представляется ей только наградой в семьдесят тысяч франков, выданной шведскими учеными двум собратьям по науке за их труды, а следовательно, ее можно принять, не совершая ничего «противного духу науки». Это единственный способ снизить нагрузку обязательных занятий Пьера и сохранить его здоровье.

2 января 1904 года благодетельный чек поступил в отделение банка на проспекте Гобленов, туда же, где хранились скромные сбережения супругов Кюри. Наконец Пьер может бросить преподавание в Школе физики, где его заменит прежний ученик его, выдающийся физик Поль Ланжевен. Кюри нанимают за свой счет лаборанта в свою лабораторию: так проще и быстрее, чем ждать призрачных сотрудников, обещанных университетом. Мари посылает под видом займа двадцать тысяч

австрийских крон Длусским, чтобы ускорить открытие их санатория. Оставшееся небольшое состояние вскоре увеличится благодаря премии Озириса в пятьдесят тысяч франков, полученной Мари пополам с Эдуардом Бранли, и все деньги будут равными частями помещены во французскую ренту и в облигации города Варшавы.

В черной счетной тетрадке можно найти и другие чрезвычайные расходы: подарки вещами, денежные пособия сестрам Мари и брату Пьера, денежные подарки польским студентам, одной подруге детства Мари, лабораторным служителям, одной нуждающейся ученице в Севре... Вспомнив об очень бедной женщине, когда-то преподававшей ей французский язык, некой мадемуазель де Сен-Обэн, а теперь мадам Козловской, которая родилась в Дьеппе, затем обосновалась и вышла замуж в Польше, но все время мечтала побывать на родине, Мари пишет ей письмо, приглашает приехать во Францию, принимает у себя в доме, оплачивает ее проезд из Варшавы в Париж, а из Парижа в Дьепп. Милая дама со слезами на глазах рассказывала об этой огромной, нежданной для нее радости.

Все эти добрые дела Мари совершает без всякого шума и разумно. Никаких чрезмерно широких жестов, никаких излишеств. Она решила, пока жива, помогать всем, кто в ней нуждается. Она поступает, сообразуясь со своими средствами, чтобы иметь возможность делать это постоянно.

Мари думает и о самой себе. Она распорядилась оборудовать во флигеле на бульваре Келлермана настоящую «современную» ванную комнату и в одной комнатке заменить выцветшие обои новыми. Но ей не приходит в голову, даже по случаю Нобелевской премии, купить себе новую шляпку. Настояв на том, чтобы Пьер ушел из Школы физики, она оставляет за собой преподавание в Севре. Она любит своих учениц и чувствует себя достаточно крепкой, чтобы продолжать уроки, которые обеспечивают ей определенный собственный доход.

* * *

Скажут, что за странная мысль перечислять подробно расходы двух ученых, в то время когда слава открывает им свои объятия! Следовало бы описать, как толпа любопытных и журналистов осаждает дом Кюри и сарай на улице Ломон. Следовало бы перечислить все телеграммы, грудой лежавшие на их рабочем столе, тысячи статей в газетах, изобразить лауреатов, позирующих перед фотографическими аппаратами.

Не имею никакого желания делать это. Такая шумиха вызвала бы только неудовольствие со стороны моих родителей.

Их удовлетворение мы должны искать не в этих внешних признаках, а в другом. Пьер и Мари чувствуют себя счастливыми тем, что члены Шведской академии наук оценили их открытие по достоинству. Их трогает радость близких людей, а семьдесят тысяч франков, облегчающие тяжесть их обязательных занятий, являются желанными гостями. Все же остальное, то остальное, ради чего другие люди способны прилагать столько усилий, а нередко и совершать столько низостей, лишь изводит и стесняет двух ученых.

Между ними и публикой, желающей показать им свою приязнь, установилось длительное непонимание. В этом 1903 году супруги Кюри переживают, пожалуй, самый плодотворный период их жизни. Они достигают того возраста, когда дарование, опираясь на опыт, способно проявлять максимум своих возможностей. В сарае с протекающей крышей они благополучно завершили открытие радия, изумившее весь мир. Но миссия их не закончена. В их умах содержится запас еще неведомых богатств. Они хотят работать и должны работать!

Слава мало заботится о будущем, которое влечет к себе Мари и Пьера. Слава набрасывается на выдающихся людей, наваливается всей своей тяжестью, стремится остановить их движение вперед. Присуждение Нобелевской премии сосредоточило на двух супругах внимание миллионов мужчин и женщин, философов, рабочих, мещан и людей светских. Эти миллионы выражают Кюри свои пылкие чувства. Но чего они требуют от них взамен? Те достижения — умственные затраты на открытие радия, его лечебная сила против страшной болезни,— которые дали ученые авансом этим людям, их не удовлетворяют. Радиоактивность они относят к числу уже достигнутых побед, хотя она находится еще в зачатке, и заняты не столько тем, чтобы помочь ее развитию, сколько смакованием подробностей ее рождения. Они стремятся вторгнуться в интимную жизнь удивительной пары, вызывающей различные толки своим обоюдным дарованием, кристально чистой жизнью и бескорыстием. Жадное стремление этой толпы копаться в жизни ее кумиров и ее жертв отнимает у них единственные драгоценности, которые хотелось бы им сохранить: внутреннюю сосредоточенность и тишину.

В газетах наряду с фотографиями Пьера и Мари и заметками вроде «Молодая женщина, необычного вида, хрупкого сложения», «Очаровательная мать, сочетающая благородные чувства с умом, любознательным к непостижимому», «Их восхитительная дочка» или упоминаниями о Диди — их коте, свернувшемся перед печкою в столовой, появляются красноречивые описания флигеля или лаборатории, — тех убежищ, где оба

Кюри хотели бы одни чувствовать их прелесть и знать их стыдливое убожество. Домик на бульваре Келлермана оказывается «жилищем мудреца», «кокетливым домом, вдалеке от центра, в Париже, незнаемым, особенным, под сенью укреплений — домом, где приютилось искреннее счастье двух великих ученых». Не забыт был и сарай:

«За Пантеоном, на узкой, темной и безлюдной улице, какие изображаются на офортах, иллюстрирующих старинные и мелодраматические романы, улице Ломон, стоит мрачное обшарпанное здание, похожее на сарай,— это Школа физики и химии...

Я прошел двором с дрянным забором, жестоко пострадавшим от превратностей погоды, затем под каким-то одиноким сводом и очутился в сыром тупике, где умирало втиснутое в дощатый угол кривое дерево. Здесь вытянулись в ряд похожие на хижины строения, длинные, низкие, застекленные; внутри я заметил маленькие прямые язычки пламени и стеклянную аппаратуру разных видов... Никаких звуков: полная и грустная тишина, которую не нарушал даже шум города. Наугад я постучал в дверь и вошел в лабораторию, поражающую своею незатейливостью: пол земляной, бугристый, стены покрашены известкой, крыша из дранки, свет слабо проникает сквозь запыленные окна. Какой-то молодой человек, склонившийся над сложным аппаратом, приподнял голову. «Месье Кюри там», — сказал он. И тотчас снова принялся за работу. Прошло несколько минут. Было холодно. Из крана падали капли воды. Горели два-три газовых рожка.

Наконец появился высокий, худой мужчина, с костлявым лицом, с жесткой седоватой бородой, в маленьком потрепанном берете. Это и был месье Кюри...»

(Поль Акер. «Эхо Парижа»)

Кюри напрасно стараются отказывать репортерам, не пускать их к себе в дом, запираться в своей жалкой лаборатории, ставшей исторической: ни их работа, ни они сами не принадлежат уже самим себе. Их быт, вызывавший своею скромностью удивление и уважение самых прожженных газетчиков, приобретает известность, становится общественным достоянием, превосходной темой для газетной статьи:

«Мне хочется отметить здесь одну черту характера месье Кюри. А именно его полное бескорыстие и скромность во всем. Это высокий блондин, немного сутулый, с выражением исключительной кротости в глазах: он пришел к славе еще молодым, но известность не опьянила его; кроме своих работ и узкого

семейного круга, это ученый, этот мастер науки занят только одной заботой. Ему хотелось бы, чтобы его ученики и те молодые люди, которые придут вслед за ними с целью посвятить себя тяжелому научному труду, не были остановлены заботами о материальной стороне жизни. Он забывает о собственных трудностях, о напряженных усилиях совместно со своей супругой, мадам Кюри, и думает лишь об одном: быть может, где-нибудь во Франции существуют исследователи, достойные внимания, никому не ведомые дарования, которые никогда не будут в состоянии что-либо создать только потому, что они вынуждены забрасывать свои научные занятия из-за необходимости добывать хлеб насущный...

Я не в силах передать ни истинную красноречивость, ни горячее волнение, с каким месье Кюри сказал мне это. Заметьте, никто другой не говорит так просто, я бы сказал, так доброжелательно. Вот почему Пьер Кюри заслуживает большего, чем наше удивление, он имеет право на всеобщую симпатию».

(Эжен Тебо. «Маленькая Республика»)

Слава — какое это удивительное зеркало! То отображает верно, то искажает, как кривые зеркала в аттракционах общественных парков, рассеивая в пространстве множество изображений отдельных лиц со всеми их мельчайшими жестами... Жизнь обоих Кюри доставляет модным кабаре материал для сценок в обозрениях: газеты объявили, что Кюри нечаянно потеряли ампулу с радием, и тотчас Монмартрский театр ставит скетч, где изображается, как оба Кюри, запершись в своем сарае, не впускают никого, сами готовят себе пищу и комически обыскивают каждый уголок, чтобы найти пропавший радий...

Вот как описывает это событие Мари.

Мари — Юзефу Склодовскому:

«Недавно у нас произошло большое несчастье. Во время одного тонкого эксперимента с радием пропала значительная часть нашего запаса радия, и мы до сих пор не можем понять причину такой большой беды. Из-за этого происшествия мне придется отложить работу об атомном весе радия, которую я должна была начать на пасхе. Мы оба приуныли».

В другом письме, говоря о радии, своей единственной заботе, она пишет.

Мари — Юзефу Склодовскому, 23 декабря 1903 года:

«...Возможно, нам удастся добыть большее количество нашего незадачливого вещества. Для этого нужно минеральное сырье и деньги. Деньги у нас теперь имеются, но до сего времени нельзя было достать сырье. В настоящее время нас обнадеживают, и, вероятно, мы сможем закупить нужный нам запас руды, в чем нам раньше отказывали. Итак, производство нашего радия увеличится. Если бы ты знал, сколько надо времени, терпения и денег, чтобы выделить крупицу радия из нескольких тонн сырья!»

Вот что занимало Мари спустя тринадцать дней после присуждения Нобелевской премии. В течение этих тринадцати дней университет тоже сделал открытие: он открыл Кюри — великую чету!

Но Пьер и Мари не могут привыкнуть к своим новым ролям на сцене мировой науки.

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 22 января 1904 года:

«Дорогой друг,

Я давно собирался написать Вам, простите меня, но задержка ответа объясняется тем нелепым образом жизни, какой я сейчас веду.

Вы сами явились свидетелем внезапного увлечения радием. Это наградило нас всеми прелестями популярности: нас преследовали журналисты и фотографы со всех стран света; они доходили до того, что передавали разговор моей дочери с няней и описывали нашего тигрового кота. Кроме того, нам писали письма и посещали лично всякие эксцентричные личности и безвестные изобретатели. В большом количестве поступали просьбы помочь деньгами. Наконец, коллекционеры автографов, снобы, светские люди, иной раз даже ученые приходили навестить нас в роскошном помещении на улице Ломон, хорошо Вам известном. А со всем тем ни одной минуты покоя в лаборатории и каждый вечер необходимость писать ворох писем. Я чувствую, как тупею от такого образа жизни...»

* * *

Бедность, переутомление, людскую несправедливость оба Кюри перенесли без жалоб, но теперь они впервые проявляют странную нервозность. Чем больше растет их известность, тем сильнее обостряется эта нервозность.

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 20 марта 1904 года:

«...Как Вы могли заметить, в данный момент судьба нам

благоприятствует, но ее милости сопровождаются множеством всяческих беспокойств. Никогда мы не были в такой степени лишены покоя. Бывают дни, когда нет времени передохнуть. А ведь мы мечтали жить дикарями, подальше от людей!»

Пьер Кюри — Ш.-Эд. Гийому:

«...От нас требуют статей, докладов, а пройдет несколько лет, и те самые лица, которые их требуют, с удивлением увидят, что мы не работали...»

Пьер Кюри — Ш.-Эд. Гийому, 15 января 1904 года:

«Дорогой друг,

мой доклад состоится 18 февраля, газеты были плохо осведомлены. Из-за этого ложного известия я получил двести просьб о входных билетах, на которые отказался отвечать.

Чувствую полнейшую, непреодолимую индифферентность по отношению к своему докладу на Фламмарионской конференции. Мечтаю о более спокойном времени в каком-нибудь тихом краю, где запрещены доклады и изгнаны газетчики».

Мари Кюри — Юзефу Склодовскому, 14 февраля 1904 года:

«Все время суматоха. Люди, как только могут, мешают нам работать. Теперь я решила стать храброй и не принимаю никого, но все-таки мне мешают. Вместе с почетом и славой нарушился уклад всей нашей жизни».

Мари Кюри — Юзефу Склодовскому, 19 марта 1904 года:

«Дорогой Юзеф, шлю тебе самые горячие пожелания в день твоих именин. Желаю тебе здоровья, успеха всему твоему семейству, а также никогда не утопать в таком потоке писем, каким залиты сейчас мы, и не выдерживать таких атак, как мы.

Мне немножко жаль, что я выбросила полученную корреспонденцию, она довольно поучительна... Там были советы, стихи о радии, письма разных изобретателей, письма спиритов и письма философские. Вчера один американец прислал мне письмо с просьбой, чтобы я разрешила ему назвать моим именем скаковую лошадь. Ну и, конечно, сотни просьб об автографах и фотографиях. На большую часть таких писем я не отвечаю, но теряю время на их чтение».

Мари — двоюродной сестре Генриэтте, весна 1904 года:

«Наша мирная трудовая жизнь совершенно нарушена: не

знаю, достигнет ли она когда-нибудь прежней уравновешенности».

Раздражение, пессимизм, пожалуй, горечь в этих письмах не обманчивы. Оба физика утратили внутренний покой.

«Усталость, как результат перенапряжения сил, вызванного малоудовлетворительными материальными условиями нашей работы, увеличилась вторжением общественности, — напишет Мари позже.— *Нарушение нашего добровольного отчуждения стало для нас причиной действительного страдания и носило характер бедствия».*

Но слава должна была бы дать Кюри в качестве вознаграждения кафедру, лабораторию, сотрудников и столь желанные кредиты. Однако когда придут эти благодеяния? Тоскливое ожидание все еще длится.

Тут мы подходим к одной из основных причин волнения Пьера и Мари. Франция оказалась последней страной, которая признала их: потребовались медаль Дэви и Нобелевская премия, чтобы Парижский университет предоставил Пьеру Кюри кафедру физики. Иностранные награды только подчеркивают те отвратительные условия, в которых они успешно совершили свое открытие и которые, по-видимому, не скоро изменятся.

Пьер перебирает в памяти те должности, в которых ему отказывали четыре года, и полагает долгом своей чести выразить признательность единственному учреждению, которое поощрило его и помогло его работе, насколько позволяли бедные средства этого учреждения,— Школе физики и химии. Делая доклад в Сорбонне и вспоминая свой жалкий сарай, он скажет:

«Я хочу здесь напомнить, что все наши исследования мы сделали в Школе физики и химии города Парижа.

Во всяком научном исследовании влияние среды, в которой выполняется данная работа, имеет очень большое значение, и достигнутые результаты частично зависят от этого влияния. В Школе физики и химии я работаю больше двадцати лет. Его первый директор Шутценбергер был выдающимся ученым... С признательностью вспоминаю, что он дал мне возможность работать, хотя в то время я был лишь ассистентом, впоследствии он разрешил мадам Кюри работать со мной вместе, и это разрешение в те времена, когда он дал его, было малообычным нововведением... Теперешние директора, месье Лаут и месье Гариель, сохранили ко мне такое же благожелательное отношение.

Преподаватели Школы и ее выпускники представляют собой благотворную и творческую среду, которая была мне очень полезна. Как раз среди бывших студентов Школы мы обрели себе сотрудников и друзей, и я очень рад предоставленной возможности здесь поблагодарить их всех».

* * *

Отвращение обоих Кюри к известности имело и другие источники, кроме пристрастия к работе или страха перед потерей времени.

У Пьера с его природной замкнутостью эта волна известности наталкивается на его всегдашние убеждения. Он ненавидит всякие иерархические и классовые различия, находит нелепым выделение «первых учеников», а ордена, которых добиваются честолюбцы, кажутся ему ненужными, как и золотые медали в школах. В силу этого убеждения Пьер отказался от ордена, оно же руководило им и в области науки. Ему чуждо стремление к соревнованию, и Пьера нисколько не огорчает, если его обгонит кто-нибудь из собратьев по науке. «Какое значение имеет, что я не опубликовал такой-то работы, — обычно говорил он, — раз это сделал другой».

Его почти неестественное равнодушие имело глубокое влияние на Мари. Но не из подражания Пьеру, не из повиновения ему Мари всю жизнь избегает знаков восхищения. У нее борьба с известностью не убеждение, а инстинкт. Она непроизвольно робеет и вся сжимается, когда должна встретиться с толпой, а иной раз приходит в такое замешательство, что чувствует головокружение, общее физическое недомогание. Кроме того, весь уклад ее жизни заполнен множеством обязанностей, не допускающих напрасной траты энергии. Взвалив на свои плечи всю тяжесть научной работы, материнства, забот о доме, самообразования, мадам Кюри движется по своему трудному пути, как эквилибрист. Еще одна лишняя «роль» — и равновесие нарушено: она свалится с туго натянутого каната. Мари — жена, мать, ученая, преподавательница — не имеет ни одной свободной секунды, чтобы разыгрывать еще роль знаменитой женщины.

Идя различными путями, Пьер и Мари приходят к одной и той же позиции уклонения от славы. Два человека, осуществившие вдвоем огромное дело, могли бы воспринимать славу поразному. Пьер мог быть далеким от нее, Мари тщеславной... Но нет! Обе души, как и оба мозга, — одного качества. Супруги победоносно выдерживают это испытание и в своем уклонении от славы оказываются едины.

* * *

Признаться ли, что я страстно желала разыскать хоть какое-нибудь нарушение этого закона, казавшегося мне жестоким? Мне бы хотелось, чтобы удивительный успех, научная известность, беспримерная для женщины, даровали моей матери минуты счастья. Мне казалось чересчур несправедливым, что великолепные достижения непрестанно вызывали страдание у моей героини, и я дала бы многое за то, чтобы найти в ее письмах, хотя бы в приписке или среди признаний, какой-нибудь признак тщеславной гордости, возглас или облегченный вздох победы.

Напрасная надежда. Мари, получив звание «знаменитой мадам Кюри», будет временами счастливой, но только в тишине лаборатории или в тесном кругу своей семьи. Изо дня в день она становится тусклее, бесцветнее для того, чтобы не стать той «звездой», в которой не узнала бы себя. Всем незнакомцам, подходящим к ней с настойчивым вопросом: «Не вы ли мадам Кюри?», — она в течение нескольких лет будет отвечать безразличным тоном, подавляя вспышку страха и обрекая себя на бесстрастие: «Нет... вы ошибаетесь».

В присутствии своих поклонников или власть имущих, которые теперь обращаются с ней, как с высочайшей особой, она, как и ее супруг, испытывает удивление, усталость и более или менее удачно скрываемое нетерпение, а кроме того — скуку; смертельная, давящая скука угнетает ее, когда навязчивые люди говорят об ее открытии и таланте.

Из множества анекдотов один прекрасно выражает отношение обоих Кюри к тому, что Пьер называет «благостынями судьбы». Супруги обедают в Елисейском дворце у президента Лубе. Вечером одна дама подходит к Мари и говорит:

— Хотите, я Вас представлю греческому королю?

Мари наивно, вежливо, мягко, но чересчур откровенно отвечает:

— Не вижу в этом надобности.

Заметив, что дама опешила, и разглядев, к своему ужасу, что эта сначала не узнанная ею дама не кто иная, как мадам Лубе, Мари краснеет, спохватывается и поспешно говорит:

— Да... конечно, да, я исполню Ваше желание!.. И когда Вам будет угодно.

* * *

У Кюри появляется другой повод жить «дикарями»: они просто убегают от любопытных. Больше, чем прежде, они ездят по безвестным деревням, а если приходится им ночевать в ка-

ком-нибудь деревенском трактире, записываются под вымышленной фамилией.

Однако лучшим способом маскировки оказывается их собственный вид. Глядя на неуклюжего, плохо одетого мужчину, который ведет руками велосипед по проселку где-нибудь в Бретани и на его спутницу в крестьянском наряде, кто бы мог себе представить, что это нобелевские лауреаты.

Даже самые осведомленные люди сомневаются, они ли это. Одному ловкому американскому газетчику удалось напасть на их след. Нагнав их в Пульдю, он останавливается в полной растерянности перед рыбачьим домиком. Газета отправила его проинтервьюировать известную ученую мадам Кюри. Где же она может быть? Надо у кого-нибудь спросить... хотя бы у этой милой женщины, которая сидит босиком на каменных приступках у двери и высыпает песок из деревенских парусиновых туфель.

Женщина поднимает голову, пристально вглядывается в непрошенного гостя пепельно-серыми глазами... и вдруг становится похожей на сотни фотографий, появлявшихся в печати. Это она. Репортер с минуту стоит как громом пораженный, затем усаживается рядом с Мари и вытаскивает записную книжку.

Увидев, что бегство невозможно, Мари покоряется судьбе и отвечает на вопросы короткими, отрывистыми фразами. Да, Пьер Кюри и она открыли радий. Да, они продолжают свои исследования...

Тем не менее она не перестает вытряхивать свои туфли и для верности колотит ими о каменный приступок, затем надевает на свои красивые ноги, исцарапанные колючками и камнями. Какой превосходный шанс для журналиста! Какой благоприятный повод набросать с натуры интимно бытовую сценку. И милый репортер спешно запускает свое жало глубже. Как бы хотелось получить несколько откровенных сведений о юности Мари, о методах ее работы, о психологии женщины, посвятившей себя научным изысканиям!

Но в ту же минуту лицо Мари делается каменным, непреклонным. И всего лишь одной фразой, той самой, какую она будет повторять как свой девиз, одной фразой, рисующей ее характер, жизнь и призвание более выразительно, чем целая книга, Мари прекращает разговор: «В науке мы должны интересоваться фактами, а не личностями».

БУДНИ

Имя Кюри стало «знаменитым». У Пьера и Мари стало больше денег, но меньше счастливых минут.

Мари в особенности утратила свой пыл и чувство радости. Наука не поглощает ее целиком, как Пьера. Всякие события текущего дня действуют на ее настроение и плохо отражаются на ее нервах.

Торжественная шумиха вокруг радия и Нобелевской премии раздражает Мари, не избавляя ни на минуту от заботы, отравляющей ей жизнь: болезни Пьера.

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 31 января 1905 года:

«В данное время ревматизм оставил меня в покое, но летом был такой жестокий приступ, что я вынужден был отказаться от поездки в Швецию. Как видите, мы ни в какой степени не выполнили наше обязательство по отношению к Шведской академии наук. Говоря правду, я держусь только тем, что избегаю всякого физического напряжения. Моя жена в таком же положении, и о работе по целым дням, как прежде, не приходится и думать».

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 24 июля 1905 года:

«Мы продолжаем вести образ жизни людей, очень занятых тем, чтобы не делать ничего интересного. Вот уже год, как мной не выполнено ни одной работы, я ни одной минуты не принадлежу себе. Очевидно, я еще не придумал средства оградить нас от пустой траты времени, а между тем совершенно необходимо это сделать. В этом вопрос жизни или смерти для умственной деятельности.

Причиной моих болей является, по-видимому, не настоящий ревматизм, а какой-то вид неврастении, мне стало лучше с тех пор, как я стал лучше питаться и принимать стрихнин».

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 19 сентября 1905 года:

«...Я ошибался, когда писал Вам, что состояние моего здоровья улучшилось. У меня было несколько новых приступов — их вызывает малейшая усталость. Я задаю себе вопрос, смогу ли я при таком состоянии здоровья когда-нибудь работать в лаборатории»...

О прежних днях каникул, очаровательных, безрассудных, опрометчивых, когда супруги носились по дорогам, точно школьники, — об этом не могло быть и речи. Мари сняла маленький деревенский домик под Парижем, в долине Шеврезы. Там она ухаживает за мужем и дочкой.

Мари — мадам Жан Перрен (из Сен-Реми-ле-Шеврез):

«...Я не очень довольна здоровьем Ирен, она с большим трудом оправляется после коклюша: время от времени она снова начинает кашлять, хотя уже три месяца живет на даче. Муж очень устал, гулять уже не может, время проводим за чтением физико-математических статей.

У Ирен теперь есть маленький велосипед, и она очень хорошо с ним управляется. Ездит в мальчишеском костюме, и вид у нее очень забавный...»

Страдая физически и чувствуя нависшую над ним грозную опасность, Пьер мучится сознанием того, как быстро уходит время. Не боится ли этот еще молодой мужчина смерти? Он точно соревнуется с преследующим его невидимым врагом. Все время куда-то неистово торопится. Заражает жену своей тревогой. Надо ускорить темп исследований, пользоваться каждой минутой, уделять больше времени работе в лаборатории.

Мари считает своим долгом работать с большим напряжением, но это превышает пределы ее выносливости. На ее долю выпал суровый жребий. Двадцать лет тому назад шестнадцатилетняя полька, еще с шумом в голове от всяких празднеств, вернулась из деревни в Варшаву зарабатывать себе на хлеб, и с этих пор она не прерывала тяжелого труда. Всю свою юность прожила она в холодной мансарде, согнувшись над учебниками физики. А когда пришла любовь, то и она оказалась неразрывно связанной с работой.

Соединив в одном горячем увлечении любовь к науке и к мужчине, Мари обрекла себя на беспримерный подвиг. Нежное чувство Пьера к ней и ее к нему были одной силы, их идеалы были одинаковы. Но в своем прошлом Пьер пережил и приступы находившей на него лени, и кипучую юность, и сильные страсти. Мари же со времени замужества ни на минуту не отклонялась от своей цели, своих обязанностей, и временами ей хотелось просто наслаждаться жизнью. Она нежная жена и мать. Она мечтает о приятных, мирных передышках, о днях спокойной, беззаботной жизни.

Такие настроения Мари поражают и обижают Пьера. Ослепленный своей находкой, талантливой подругой, он ждет от

нее такого же самопожертвования, как его собственная жертва собой во имя тех идеалов, которые он зовет «господствующими мыслями». Она повинуется ему, как и всегда, но чувствует себя усталой и духовно, и физически. Она в унынии, винит себя за умственную немощь, за свою «глупость». А все обстоит в действительности гораздо проще. Обычные человеческие желания, так долго находящиеся под спудом у этой тридцатишестилетней женщины, предъявляют свои права. Мари следовало бы на некоторое время перестать быть «мадам Кюри», забыть о радии, а есть, спать и ни о чем не думать, быть только женой и матерью.

Это невозможно. Каждый день приносит все новые обязанности. 1904 год окажется крайне тяжелым, в особенности для Мари, из-за беременности. Как единственное снисхождение к себе она просит Севрскую школу освободить ее на время от занятий. Возвращаясь вечером из лаборатории, усталая, ослабшая, она покупает в память о Варшаве немного паюсной икры, к которой чувствует болезненное, непреодолимое влечение.

К концу беременности Мари впадает в полную прострацию. Кроме мужа, здоровье которого мучительно ее тревожит, ей ничто не мило: ни жизнь, ни наука, ни будущий ребенок. Броня, приехавшая к родам, была потрясена, увидев эту другую, побежденную Мари.

— Зачем вводить мне в мир новое человеческое существо? — Мари все время задает этот вопрос. — Жизнь тяжка, бесплодна. Зачем наказывать ею невинных?...

Роды протекают трудно и долго. Наконец, 6 декабря 1904 года родится пухлый ребеночек с черными волосиками. Опять девочка: Ева.

Броня с рвением помогает сестре. Ее внешнее спокойствие, здравый ум немного разгоняют грусть Мари. Когда она уедет, после нее останется более веселое настроение.

Улыбки, игры новорожденной веселят молодую мать. Ее умиляют очень маленькие дети. Так же, как после рождения Ирен, Мари заносит в серую тетрадку первые жесты, первые зубки Евы, и по мере развития ребенка улучшается и нервное состояние самой Мари. Оправившись благодаря вынужденному отдыху после родов, она вновь приобретает вкус к жизни. С прежним, забытым было удовольствием она берется за лабораторную аппаратуру, а вскоре ее опять встречают в Севре. На одну минуту пошатнувшись, она снова налаживает свой крепкий шаг. И вновь вступает на тернистый путь.

Все ее опять интересует: дом, лаборатория... Страстно следит она за событиями, происходящими на ее родине. В России вспыхивает революция 1905 года, и поляки в безумной

надежде на освобождение поддерживают движение против царя.

Мари — Юзефу Склодовскому, 23 марта 1905 года:

«Ты, как я вижу, надеешься, что это тяжкое испытание будет иметь для нашей родины некоторые благие последствия. Броня и Казимеж того же мнения. Лишь бы наша надежда не обманула нас! Я пламенно желаю этого и беспрестанно думаю об этом. По моему мнению, во всяком случае надо поддержать революцию. Для этой цели я вышлю Казимежу деньги, так как лично, увы, не могу никак помочь.

У нас ничего нового. Дети растут хорошо. Ева спит мало и протестует, если кладу ее в колыбель раньше, чем она заснет. Так как я не стоик, то ношу ее на руках, пока она не угомонится. Она не похожа на Ирен. У нее темные волосы и голубые глаза, а у Ирен волосы до сих пор довольно светлые и зеленовато-карие глаза.

Живем мы в том же доме и теперь, с наступлением весны, начали выходить в сад. Сегодня великолепная погода, а это нас радует тем более, что зима была сырая, неприятная.

С 1 января я возобновила свои уроки в Севре. После полудня ухожу в лабораторию, а по утрам бываю дома, кроме двух дней в неделю, когда занята утром в Севре... У меня столько работы по дому, и с детьми, и в школе, и в лаборатории, что не знаю, куда деваться».

* * *

Погода отличная. Пьер чувствует себя лучше. Мари в хорошем настроении. Самая удобная пора для того, чтобы исполнить уже не раз отложенное обязательство: поехать в Стокгольм и сделать доклад. Супруги Кюри предпринимают торжественное путешествие в Стокгольм, и это путешествие станет в нашей семье традиционным.

6 июня 1905 года Пьер выступает от себя и от имени жены перед Стокгольмской академией наук. Он говорит о последствиях открытия радия: в физике оно изменило основные представления, в химии породило смелые гипотезы об источнике той энергии, которая вызывает радиоактивные явления. В геологии и метеорологии оно дало ключ к явлениям, до сих пор необъяснимым. Наконец, в биологии действие радия на раковые клетки дало положительные результаты.

Радий обогатил Знание и послужил Благу. Но не может ли он послужить и Злу?

«...Можно себе представить и то, — говорит Пьер, — *что в преступных руках радий способен быть очень опасным, и в связи с этим следует задать такой вопрос: является ли познание тайн природы выгодным для человечества, достаточно ли человечество созрело, чтобы извлекать из него только пользу, или же это познание для него вредоносно? В этом отношении очень характерен пример с открытиями Нобеля: мощные взрывчатые вещества дали возможность производить удивительные работы. Но они же оказываются страшным орудием разрушения в руках преступных политических деятелей, которые вовлекают народы в войны.*

Я лично принадлежу к людям, мыслящим как Нобель, а именно, что человечество извлечет из новых открытий больше блага, чем зла».

Прием, оказанный шведскими учеными, порадовал обоих Кюри. Они боялись пышности, но эта дальняя поездка оказалась неожиданно приятной. Никакой толпы, мало официальных представителей. Пьеру и Мари предоставлена возможность познакомиться со страной, оставившей о себе пленительное впечатление, и побеседовать с учеными. Уезжают они полные восхищения.

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 24 июля 1905 года:

«Мы с женой только что вернулись из очень приятного путешествия в Швецию. Нас избавили от всех забот, и благодаря этому мы отдохнули. К тому же в июне не оставалось в Стокгольме почти никого, и, таким образом, официальная часть сильно упростилась.

Швеция — страна озер и фьордов, окруженных небольшим количеством земли; сосны, морены, красные деревянные домики — пейзаж однообразный, но красивый и отдохновенный. Во время нашего путешествия уже не было ночей — почти все время светило солнце.

Дети и мой отец здоровы, я и жена чувствуем себя гораздо лучше».

* * *

На бульваре Келлермана, во флигеле, охраняемом от непрошенных гостей как крепость, Пьер и Мари ведут все тот же простой и замкнутый образ жизни. Хозяйственные заботы сведены к самым необходимым. Приходящей работнице поручена вся черная работа. Одна и та же прислуга и готовит ку-

шанья, и подает на стол. Она посматривает на странных хозяев и напрасно ждет какого-нибудь лестного замечания о жареной говядине или картофельном пюре.

Как-то раз она, не в силах больше сдерживать себя, сама напрашивается на комплимент по поводу бифштекса, только что съеденного Пьером с большим аппетитом. Но получает ошеломляющий ответ.

— Разве это был бифштекс? — говорит ученый. Потом успокоительно добавляет: — Вполне возможно!

Даже в дни, насыщенные работой, Мари уделяет время заботам о детях. По своей профессии она вынуждена оставлять детей на попечение прислуги, но пока она сама не удостоверится, что Ирен и Ева хорошо выспались, поели, умыты и причесаны, что у них не начинается насморк или какая-нибудь другая болезнь, Мари не успокоится. Впрочем, если бы она обратила на них меньше внимания, Ирен сумела бы напомнить о себе! Этот ребенок — деспот. Она ревниво завладевает матерью и с неудовольствием переносит ее заботы о маленькой. Зимой Мари делает длинные концы по Парижу, чтобы найти любимые Ирен яблоки — ранет или бананы, и не смеет приезжать без них домой.

Вечера супруги большей частью проводят дома. Надев халаты и ночные туфли, они просматривают свежие научные журналы. Тем не менее их видят и на художественных выставках, а семь-восемь раз в году они бывают на концертах и в театре.

В начале XX столетия в Париже можно было увидеть чудесных драматических актеров. Пьер и Мари ждут проходящих как видение выступлений Дузе. Красноречие Моне-Сюлли, мастерство Сары Бернар трогают супругов меньше, чем естественная манера игры Жюли Барте, Жанны Гранье или внутренняя сила Люсьена Гетри.

Они следят за спектаклем «авангардистов», пользующихся неизменными симпатиями людей университетского круга. В «Творческом театре» Сюзанна Депре играет в драмах Ибсена; Люнье Пое ставит «Власть тьмы». С таких спектаклей Пьер и Мари приходят довольные и... выбитые из колеи на несколько дней. Доктор Кюри встречает их с лукавой улыбкой.

Старый вольтерьянец не признает болезненных переживаний и, пристально глядя на вытянутые лица супружеской четы, обычно говорит:

— Прежде всего не забывайте, что вы туда ходили ради удовольствия!

В ту эпоху склонность обоих Кюри к мистическому в соединении с научной любознательностью заводит их на странный путь: они присутствуют на спиритических сеансах, которые уст-

раивал знаменитый медиум Эузапия Паладино. Они пытаются разобраться в сути явления. Пьер с особой страстью интересуется этими опытами и, сидя в темноте, измеряет «самодвижения» реальных или воображаемых объектов.

Эти опыты озадачивают его беспристрастный ум. В них нет ни строгости, ни закономерности лабораторных опытов. Иногда медиум получает ошеломляющие результаты, и оба ученых очень близки к убежденности. Но внезапно они обнаруживают грубый обман, и тогда снова появляется скептическое отношение. Их окончательное мнение осталось неизвестным. Через несколько лет у Мари совсем исчез к этому интерес.

Супруги Кюри избегают приемов и не бывают в свете. Но не всегда можно отделаться от официальных обедов или же от банкетов в честь иностранных ученых. Поэтому бывают случаи, когда Пьер снимает свою грубошерстную одежду, в какой ходит каждый день, и надевает фрак, а Мари — вечернее платье.

Это вечернее платье служит годами и только время от времени переделывается какой-нибудь портнихой — оно из черного гранадина с рюшевой отделкой на фаевой подкладке.

Какая-нибудь франтиха посмотрела бы на нее с жалостью: Мари невежественна в модах. Но скромность, сдержанность, присущие ее характеру, спасают Мари от зоркого наблюдателя и создают как бы особый стиль в ее внешности. Когда она снимает свою лабораторную одежду, действительно не эстетичную, и надевает «туалет», зачесывает свои пепельные волосы и робко окружает шею филигранным золотым колье, Мари изысканна. Тонкий стан, вдохновенное лицо сразу обнаруживают свою прелесть. В присутствии Мари, с ее высоким лбом, выразительным взглядом, другие женщины не теряют своей красоты, но многие из них кажутся вульгарными и ограниченными.

Однажды вечером, перед выездом, Пьер с необычным вниманием осматривает фигуру Мари, ее шею, ее обнаженные, такие женственные и изящные руки. Какая-то тень грусти, сожаления пробегает по лицу этого согбенного мужчины.

— Жаль... — тихо произносит он. — Как идут тебе наряды!

И со вздохом добавляет:

— Но что поделаешь, у нас нет времени...

* * *

В тех редких случаях, когда Мари зовет к себе гостей, она прилагает все усилия к тому, чтобы угостить достойно, а пребывание у нее в доме сделать приятным. Озабоченно бродит среди тележек с первой зеленью на улице Муфтар, узнает у хозяина молочной лавки, какие сорта сыра лучше. Затем наби-

рает в цветочном ларьке тюльпаны, лилии... Вернувшись домой, делает букеты, пока служанка готовит несколько более сложные, чем обычно, блюда, а местный кондитер приносит с большой пышностью мороженое.

В этом трудовом жилище самому скромному приему предшествует суматоха. В последнюю минуту Мари осматривает накрытый стол, передвигает мебель...

Да, наконец у Кюри есть мебель! Семейные кресла, от которых отказались на улице Гласьер, пришлись кстати на бульваре Келлермана. Выгнутые оттоманки красного дерева, обитые переливчатым зеленоватым бархатом цвета морской воды, на одной из которых спит Ирен, а также кресла в стиле Реставрации придают изящество гостиной, оклеенной светлыми обоями.

Созывают избранных, проезжающих через Париж иностранных ученых или же поляков, приехавших к Мари с новостями. Чтобы развлечь дикарку Ирен, Мари устраивает и детские праздники.

Рождественская елка, собственноручно украшенная гирляндами, золочеными орехами и разноцветными восковыми свечками, оставит большое впечатление в памяти юного поколения.

Бывают и такие случаи, что дом Кюри становится обрамлением зрелища еще более фееричного, чем сверкающая огнями елка. Являются электрики, устанавливают театральные прожекторы и развешивают электрические лампочки. После обеда, в присутствии двух-трех друзей, прожекторы будут ласкать своим светом развевающиеся покрывала танцовщицы, когда она изображает то пламя, то цветок, то птицу, то волшебницу...

Танцовщица Лои Фуллер, «фея света», чарующая Париж своими фантастическими выдумками, связана эксцентричной дружбой с физиками. Прочитав в газетах о том, что радий светится, эта звезда из Фоли-Бержер задумала сделать себе сенсационный фосфоресцирующий костюм, чтобы заинтриговать публику. Она обратилась за сведениями к супругам Кюри. Ее наивное письмо развеселило ученых: они объяснили Лои, почему проект «крылышек бабочки из радия» химеричен.

Американка Лои Фуллер, с шумным успехом выступавшая каждый вечер, крайне удивила своих благожелательных консультантов. Она не стала хвастаться перепиской с Кюри, не приглашала их приехать и поаплодировать ей в Фоли-Бержер, а написала Мари: «У меня есть только один способ поблагодарить Вас за ответ. Разрешите мне когда-нибудь вечером потанцевать у Вас для вас двоих».

Пьер и Мари ответили согласием. И вот весьма своеобразная, небрежно одетая девушка с калмыцким лицом, без каких-либо следов грима, с детскими голубыми глазами звонит в па-

радную дверь, сопровождаемая толпой электриков с их аппаратурой.

Супруги Кюри несколько встревожены, но уступают место действия захватчикам, отправившись в лабораторию. А Лои в течение нескольких часов трудится, регулируя освещение, размещая привезенные с собой занавеси и ковры, чтобы воссоздать в небольшой столовой у двух ученых свой восхитительный спектакль.

Так степенный флигель с замкнутой для посторонних дверью впустил к себе богиню мюзик-холла. Случилось это потому, что Лои была человеком тонкой души. По отношению к Мари она всегда питала то редкостное восхищение, которое ничего не требует взамен, а ищет случая принести пользу, доставить удовольствие. Также интимно она еще раз танцевала в домике на бульваре Келлермана. Когда Пьер и Мари узнали Лои лучше, они, в свою очередь, стали бывать у нее. Там они встретились с Огюстом Роденом и завязали с ним дружеские отношения. В эти годы можно было иной раз видеть, как Пьер, Мари, Лои Фуллер и Роден мирно беседуют в студии скульптора среди его произведений из мрамора и глины.

* * *

Семь-восемь самых больших друзей были вхожи во флигель на бульваре Келлермана: Андре Дебьерн, Жан Перрен с женой — самой близкой подругой Мари, Жорж Урбен, Поль Ланжевен, Эме Коттон, Жорж Саньяк, Шарль-Эдуард Гийом, несколько учениц из Севрской школы... Ученые, одни ученые!

По воскресеньям, в хорошую погоду, после полудня эта группа ученых собирается в саду. Мари с каким-нибудь рукоделием садится в тени у колясочки Евы. Но штопка и шитье не мешают ей следить за общим разговором, какой для всякой другой женщины казался бы таинственней беседы на китайском языке.

Это время обмена последними новостями: животрепещущие высказывания о лучах радия — «альфа», «бета», «гамма». Перрен, Дебьерн и Урбен говорят с жаром. Они пытаются выяснить происхождение той энергии, которую выделяет радий. Чтобы объяснить ее, приходится отбросить либо принцип Карно, либо закон сохранения энергии, либо закон неизменности элементов. Пьер выдвигает теорию радиоактивных превращений. Урбен протестует во весь голос. Он ничего не хочет слушать и с жаром защищает свою точку зрения. А как продвинулась работа у Саньяка? Что нового в опытах Мари по установлению атомного веса радия?

Радий!... Радий!... Радий!... Иногда это магическое слово, переходя из уст в уста, вызывает у Мари грусть: судьба распорядилась неудачно, сделав радий веществом чудодейственным, а полоний, первый открытый супругами Кюри элемент, — неустойчивым элементом второстепенного значения. Польской патриотке хотелось бы, чтобы полоний с его символическим именем привлек к себе всю славу.

Эти «заумные» беседы время от времени прерываются, когда доктор Кюри говорит о политике с Дебьерном и Ланжевеном. Урбен дружески поддразнивает Мари, критикует чрезмерную скромность ее платья, упрекает в отсутствии кокетства, и молодая женщина слушает, наивно удивленная такой неожиданной проповедью. Жан Перрен, забыв на время об атомах и бесконечно малых величинах, будучи ярым поклонником Вагнера, приподнимает свое красивое вдохновенное лицо и поет арии из «Золота Рейна» или из «Нюрнбергских мейстерзингеров». Немного поодаль, в глубине сада, мадам Перрен рассказывает волшебные сказки Алине и Франсуа, а также их подруге — Ирен.

Перрены и Кюри видятся каждый день. Их дома рядом, и лишь простая решетка, обвитая ползучей розой, разделяет их сады. Когда Ирен необходимо сообщить что-то спешное своим друзьям, она подзывает их к решетке. Сквозь просветы между ржавыми прутьями они обмениваются плитками шоколада, игрушками, детскими тайнами, в ожидании возможности, по примеру старших, поговорить о физике.

* * *

Для Кюри наступает новая эпоха. Франция, наконец, заметила их и намеревается поддержать их работы.

Первой и непременной ступенью должно быть вступление Пьера в Академию наук. Ученый вторично соглашается на томительный объезд академиков. Друзья Пьера, опасаясь за исполнение им роли «благоразумного кандидата», осыпают его тревожными советами.

Э. Маскар — Пьеру Кюри, 22 мая 1905 года:

«Дорогой Кюри,

...Вы, естественно, стоите в первом ряду, не имея серьезного соперника, и Ваше избрание вне сомнения.

Однако же Вам необходимо взять себя в руки и объехать с визитами членов Академии, а в случае, если не застанете никого дома, оставить Вашу визитную карточку с загнутым

уголком. Начните со следующей недели, и через две недели эта каторга закончится».

Э. Маскар — Пьеру Кюри, 25 мая 1904 года:

«Дорогой Кюри, устраивайтесь, как хотите, но круговую визитную жертву академикам надо закончить до двадцатого июня, хотя бы Вам пришлось для этого нанять автомобиль на целый день.

Ваши доводы в принципе превосходны, но надо делать некоторые уступки требованиям практической жизни. Вы должны подумать также о том, что звание академика облегчит Вам возможность оказывать услуги другим людям».

5 июля 1905 года Пьер Кюри избирается в Академию, но... двадцать два академика все же голосовали за его конкурента.

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 24 июля 1905 года:

«...Я очутился в Академии помимо собственного желания и помимо желания Академии. Я один раз объехал всех с визитами, оставляя визитные карточки отсутствовавшим, и все уверяли меня, что мне обеспечено пятьдесят голосов. А я чуть не провалился!

Что поделаешь? В этом учреждении ничего нельзя сделать просто, без интриг. Кроме хорошо подготовленной против меня кампании сыграло свою роль отрицательное отношение ко мне со стороны клерикалов и тех, кто находил, что я сделал слишком мало визитов. С. спросил меня, кто из академиков будет голосовать за меня, я ответил: «Не знаю, я не просил их об этом». — «Ага, вы не снизошли до того, чтобы просить!» И был пущен слух, что я «гордец».

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 6 октября 1905 года:

«...В понедельник я был в Академии, но откровенно спрашиваю себя, что мне там делать. Я ни с кем не близок, интерес самих заседаний ничтожный, я прекрасно чувствую, что эта среда чужда мне».

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, октябрь 1905 года:

«Я еще не постиг, для чего нужна Академия...»

Оставаясь весьма умеренным поклонником блестящего сообщества ученых, Пьер живо интересуется благоприятными для него решениями университета, так как от них будет зави-

сеть его работа. Проректор Лиар добился для него учреждения кафедры физики. Вот наконец столь желанное место штатного профессора! Раньше чем принять это повышение, Пьер спрашивает, где будет лаборатория для занятий кафедры.

Лаборатория? Какая лаборатория? О лаборатории нет и речи!

В одну минуту Нобелевским лауреатам становится ясно, что если Пьер бросит свое старое место в Институте физики, химии и естественных наук, чтобы преподавать в Сорбонне, то его научная работа станет совершенно невозможной. Новому профессору нет места для работы, а его две комнаты в Школе физики, естественно, перейдут к его преемнику. Пьеру предоставляется возможность ставить свои опыты на улице.

Отличным почерком Пьер пишет вежливое, но решительное письмо. Раз предлагаемое место не предполагает ни рабочего помещения, ни кредитов для исследований, он отказывается от кафедры.

Новая канитель. Университет делает широкий жест и хлопочет в Палате депутатов о создании лаборатории и об отпуске кредита в сто пятьдесят тысяч франков. Проект принят... или почти принят. В Сорбонне решительно нет помещения для Пьера, но здание с двумя лабораториями построят на улице Кювье. Самому Кюри будут отпускаться на работы двенадцать тысяч в год, кроме того, он получит единовременно тридцать четыре тысячи по статье расходов на оборудование.

По своей наивности Пьер воображает, что на эти «расходы на оборудование» он купит аппаратуру и пополнит материальную часть. Да, он сможет это сделать, но лишь на то, что останется за вычетом из этой небольшой суммы стоимости постройки самого здания. В представлении властей постройка и оборудование одно и то же!

Так на практике выполняются официальные прожекты.

Пьер Кюри — Жоржу Гуи, 7 ноября 1905 года:

«В Институте физики я сохранил за собой две комнаты, где мы работали; кроме того, мне строят во дворе две другие. Они обойдутся в двадцать тысяч франков, которые вычтут из моего кредита на закупку оборудования...

Завтра начинаю читать курс лекций, но условия для демонстрации опытов крайне неудовлетворительны: аудитория-амфитеатр находится в Сорбонне, а моя лаборатория — на улице Кювье. Кроме того, в амфитеатре читается много других курсов, и для подготовки к моим лекциям у меня остается только утро.

Чувствую себя ни хорошо, ни плохо. Но утомляюсь быстро и сохранил лишь слабую работоспособность. Моя жена, наоборот, ведет очень деятельную жизнь: занята и детьми, и школой в Севре, и лабораторией. Она не теряет ни минуты и гораздо регулярнее, чем я, следит за ходом работы в лаборатории, где проводит большую часть дня».

Скаредное правительство в конце концов находит для Пьера Кюри место профессора, но две неудобные и слишком маленькие комнаты удалось выбить с большим трудом.

Некая богатая женщина предлагает свою помощь обоим Кюри, идет на то, чтобы построить для них особый институт в каком-нибудь тихом предместье. Окрыленный надеждой, Пьер Кюри излагает ей свои планы и желания.

Пьер Кюри — мадам Х., 6 февраля 1906 года:

«Мадам,

вот Вам те указания, какие Вы просили нас сделать о лаборатории. Эти указания нисколько не являются безусловными, их можно изменять в зависимости от ситуации, места и тех средств, какими могли бы мы располагать.

Мы так настаивали на постройке лаборатории где-нибудь за чертой города потому, что для нас крайне важно жить с нашими детьми там же, где работаем. И дети, и лаборатория требуют постоянного внимания. В особенности трудно приходится моей жене, когда наш дом и лаборатория отстоят далеко друг от друга. Временами такая двойная нагрузка становится выше ее сил.

Спокойная жизнь, вне Парижа, очень благоприятствует научным исследованиям, и лаборатории только бы выиграли, если бы их перенесли за город. А жизнь в центре города, наоборот, действует на детей пагубно, и моя жена не может решиться воспитывать их в таких условиях.

Мы крайне тронуты Вашей заботой о нас. Прошу, мадам, соблаговолите принять вместе с моей благодарностью и наш почтительный привет».

План не осуществился. Пройдет еще восемь лет до той поры, когда Мари получит достойное помещение — то помещение, которого уже не увидит Пьер. И Мари будет всю жизнь терзаться мыслью, что ее товарищ до своего смертного конца тщетно ждал такой лаборатории — его единственной честолюбивой мечты в жизни.

О тех двух лабораториях, которые были даны Пьеру перед его последним часом, Мари впоследствии напишет:

«Нельзя подавить в себе чувство горечи, когда подумаешь, что эта милость оказалась для него первой и последней, что первоклассный французский ученый в конечном счете никогда не имел подходящей лаборатории, хотя его большое дарование проявилось уже тогда, когда ему было только двадцать лет. Конечно, проживи он дольше, то, рано или поздно, ему создали бы подходящие условия работы, но еще в возрасте сорока семи лет он был лишен их. Представляют ли себе люди всю скорбь восторженного и бескорыстного творца большого дела, когда осуществление его мечты все время тормозится недостатком средств? Можно ли, не испытывая чувства глубокой горечи, думать о самой непоправимой растрате величайшего народного блага — таланта, сил и мужества лучших сынов нации?

...Правда, открытие радия было сделано в условиях, казалось бы не обеспечивающих успеха, а сарай, в котором произошло это событие, оказался овеянным чарующей легендой. Но этот романтический элемент не принес пользы: он только измотал нас и задержал завершение работы. При лучших средствах всю нашу работу за первые пять лет можно было бы свести к двум годам и уменьшить ее напряженность».

* * *

Из постановлений министерства только одно доставило Кюри удовольствие. У Пьера будут три сотрудника: адьюнкт, ассистент, препаратор. Адъюнктом назначена Мари.

До сих пор присутствие этой женщины в лаборатории зависело только от милости декана института. Работы по исследованию радия Мари проводила, не имея никакого звания и не получая никакого жалованья. Только в ноябре 1904 года прочное положение с оплатой в две тысячи четыреста франков в год впервые дало ей законное право входить в лабораторию своего мужа.

Французский университет:

«Мадам Кюри, доктор наук, назначается с первого ноября 1904 года руководителем физических работ (при кафедре П. Кюри) на факультете естествознания Парижского университета.

В этом звании мадам Кюри будет получать ежегодное содержание в размере двух тысяч четырехсот франков начиная с первого ноября сего 1904 года».

Прощай, сарай!... Пьер и Мари переносят на улицу Кювье свою аппаратуру. Старый сарай так им дорог, напоминает о стольких днях труда и счастья, что они, гуляя под руку, еще неоднократно зайдут туда, чтобы вновь повидать его сырые стены и гнилые доски.

Оба супруга приспосабливаются к новым условиям жизни. Пьер готовится к лекциям, Мари, как и прежде, дает уроки в Севре. Они встречаются в тесной лаборатории на улице Кювье, где Андре Дебьерн, Альбер Лаборд, американец профессор Дьюен, несколько ассистентов и студентов занимаются исследованиями, склонившись над хрупкими приборами.

«Мы, мадам Кюри и я, работаем над точной дозировкой радия путем измерения выделяемой им эманации, — записывает Пьер Кюри 14 апреля 1906 года. — *Это как будто пустяки, а вот уже несколько месяцев, как мы принялись за это дело, и только сейчас начинаем добиваться правильных результатов».*

«Мы, мадам Кюри и я, работаем...»

Эти слова, написанные Пьером за пять дней до смерти, выражают всю сущность и красоту их неразрывного союза. Каждый шаг в их работе, всякое разочарование и каждая победа лишь теснее связывают друг с другом мужа и жену. Между этими равными, взаимно любящими людьми царит непринужденное товарищество в работе, что, может быть, является наиболее тонким выражением глубины их чувств.

Их ассистент Альбер Лаборд вспоминает:

«Однажды в лаборатории на улице Кювье я работал с ртутной аппаратурой, там в это время был и Пьер Кюри. Входит мадам Кюри, рассматривает одну деталь прибора и сначала не понимает ее назначения, хотя деталь совсем простая. Получив объяснение, она все-таки настаивает на своем и забраковывает деталь. Тогда Пьер Кюри веселым и нежным возгласом выражает свое возмущение: «О! Послушай, Мари!» Этот возглас засел у меня в ушах, и мне хотелось бы дать вам почувствовать его оттенок.

Несколько дней спустя мои товарищи увязли в какой-то математической формуле и попросили своего учителя помочь им. Последний посоветовал им дождаться мадам Кюри, которая, по его мнению, настолько сильна в интегральном исчислении, что быстро выведет их из затруднения. И в самом деле, мадам Кюри за несколько минут решила трудную задачу».

Когда Пьер и Мари наедине, теплота нежных чувств отражается и на их лицах, и на их взаимных отношениях. Эти сильные личности, эти различные характеры, он — безмятежнее, мечтательнее; она — горячее, более земная, не подавляют друг друга. В течение одиннадцати лет им очень редко приходилось прибегать к взаимным уступкам, без чего, как говорят, никакая семейная жизнь невозможна. Вполне естественно, что они думают обо всем одинаково, в мелочах жизни действуют в согласии.

Однажды друг их дома, мадам Перрен, зайдя к Кюри, спрашивает Пьера, не может ли она взять с собой Ирен на прогулку, на что он отвечает с застенчивой, почти робкой улыбкой: «Не знаю... Мари еще не вернулась, а не спросив Мари, я ничего не могу сказать Вам». В другой раз, когда у них собрались ученые, Мари, обычно неразговорчивая, с жаром начала рассуждать по одному научному вопросу, но вдруг покраснела, сконфуженно умолкла и обернулась к мужу, предоставляя ему слово, — настолько сильно было в ней убеждение, что мнение Пьера в тысячу раз ценнее, нежели ее.

«Все сложилось так и даже лучше, чем я мечтала в начале нашего союза,— напишет она позже.— *Во мне все время нарастало восхищение его исключительными достоинствами, такими редкими, такими возвышенными, что он казался мне существом единственным в своем роде, чуждым всякой суетности, всякой мелочности, которые находишь и в себе самой, и в других и осуждаешь снисходительно, а все же стремишься к большему совершенству, как к идеалу».*

* * *

Солнечная, лучезарная погода торжествует в пасхальные дни 1906 года. Пьер и Мари проводят несколько дней на свежем воздухе, в тихом доме в Сен-Реми-ле-Шеврез. Они возвращаются к своим деревенским привычкам. Каждый вечер ходят за молоком на соседнюю ферму, и Пьер смеется, глядя на четырнадцатимесячную Еву, в то время как она, неуклюже шатаясь, упрямо топает по высохшим колеям дороги.

По воскресеньям, как только доносится далекий благовест, супруги отправляются на велосипедах в лес Порт-Рояля. Привозят оттуда ветки цветущей магнолии и букеты лютиков. На следующее утро Пьер, утомленный накануне, никуда не едет, а лежит, растянувшись на лугу. Нежаркое божественное солнце разгоняет мало-помалу туман, покрывающий долину. Ева пищит, сидя на одеяле, Ирен, размахивая зеленым сачком,

охотится за бабочками и приветствует радостными криками свою редкую удачу. Ей жарко, она снимает вязаную фуфаечку, а Пьер и Мари, лежа на траве рядом, любуются грациозностью дочери, забавно одетой в девчачью рубашонку и в мальчишечьи штанишки.

Под влиянием ли сегодняшнего утра или вчерашнего дня Пьер, умиротворенный прелестью и тишиной упоительного весеннего дня, смотрит на резвящихся дочек, потом на неподвижно лежащую жену, гладит ее по щеке, по белокурым волосам и тихо говорит: «С тобой, Мари, жизнь хороша».

После полудня супруги гуляют в лесу, таская Еву по очереди на плечах. Они ищут то озеро с кувшинками, которыми любовались во времена больших прогулок в первые дни их союза. Озерцо высохло, кувшинки исчезли. Вокруг грязной впадины разросся жестким, колючим венком терновник, цветущий ярко-желтыми цветами. Рядом на обочине дороги супруги собирают фиалки и трепетные барвинки.

Быстро пообедав, Пьер садится на обратный поезд в Париж. Оставив семью в Сен-Реми, он едет с единственным спутником — букетом лютиков, который поставит в стеклянном стакане на свой письменный стол в домике на бульваре Келлермана.

Еще один солнечный день в деревне, и в среду вечером Мари привозит Ирен и Еву в Париж, оставляет их дома и идет в лабораторию к Пьеру. При входе в первую комнату лаборатории Мари видит, что Пьер стоит у окна и рассматривает какой-то аппарат. Он ждал ее. Пьер надевает пальто и шляпу, берет под руку жену и направляется в ресторан Фуайо, где по традиции в этот день бывает обед Физического общества. С собратьями по науке, с Анри Пуанкаре, своим соседом по столу, он беседует о тех проблемах, которыми занят в данное время: о дозировке эманации радия; о сеансах спиритизма, на которых недавно присутствовал; о воспитании девочек, высказывая на этот счет своеобразные теории и желание направить образование детей в сторону точных наук.

Погода изменилась. Нельзя поверить, что еще вчера лето казалось совсем близким. Холодно, дует резкий ветер, дождь хлещет в окна. На мостовых мокро, грязно, скользко.

19 АПРЕЛЯ 1906 ГОДА

Этот четверг собирается быть пасмурным. Все время идет дождь, уныло. Супругам Кюри нельзя избежать встреч с апрельским ливнем, углубиться в работу. Пьеру необходимо при-

сутствовать на завтраке в обществе профессоров факультета естествознания, потом идти править корректуру к своему издателю Готье-Виллару, затем побывать в институте. Мари надо сделать несколько концов по городу.

В утренней суете супруги едва успели повидаться. Пьер кричит из передней снизу на второй этаж, спрашивая Мари, пойдет ли она в лабораторию. Одевая второпях Ирен и Еву, Мари отвечает, что у нее, наверно, не будет времени, но слова ее теряются в общем шуме. Входная дверь хлопает. Пьер спешит и быстро уходит.

Пока Мари завтракает с дочерьми и доктором Кюри, Пьер дружески беседует с коллегами в Доме научных обществ на улице Дантона. Он любит эти мирные собрания, где говорят о Сорбонне, научных исследованиях, технике работы. Общий разговор касается несчастных случаев, возможных при лабораторных работах. Пьер тотчас предлагает свою помощь для выработки правил в целях устранения тех опасностей, каким подвергаются исследователи.

Около половины третьего он встает, улыбаясь прощается с товарищами, жмет руку Жану Перрену, с которым должен встретиться еще раз вечером. На пороге он машинально взглядывает на небо, затянутое густой пеленою туч, и делает гримасу. Раскрывает большой зонт и под проливным дождем идет в сторону Сены.

У Готье-Виллара он наталкивается на запертую дверь: типографии бастуют. Идет в обратную сторону и доходит до улицы Дофины, шумной от криков извозчиков и лязганья трамваев, идущих по соседней набережной. Какое столпотворение на этой улице, втиснутой в старый Париж!

Экипажи едва могут разминуться, а для множества пешеходов в этот послеполуденный час тротуар становится чересчур узок. Пьер инстинктивно ищет свободного места для прохода. Неровной поступью человека, занятого какой-то мыслью, он идет то по каменной обочине тротуара, то по самой мостовой. Взгляд сосредоточен, лицо серьезно; о чем он думает? О каком-нибудь опыте на предстоящей лекции?

О работе своего друга Урбена? О Мари?..

Уже несколько минут он шествует по асфальту мостовой позади закрытого фиакра, медленно идущего по направлению к Новому мосту. На пересечении улицы и набережной шум особенно силен. Трамвай, идущий к площади Согласия, только что прошел по набережной. Перерезая ему путь, тяжелая грузовая фура спускается с моста и въезжает на улицу Дофины.

Пьер намеревается пересечь мостовую и добраться до тротуара на другой стороне улицы. Со свойственной рассеянным

людям неожиданностью движений он вдруг выходит из-за фиакра, который загораживает ему горизонт своим четырехугольным ящиком, делает несколько шагов влево и наталкивается на одну из лошадей грузовой фуры, пересекающей в эту секунду путь фиакру. Пространство между двумя экипажами сокращается с головокружительной быстротой. Пьер, застигнутый врасплох, делает неуклюжую попытку повиснуть на груди у лошади; лошадь поднимается на дыбы, подошвы ученого скользят по мокрой мостовой. Крик двадцати голосов сливается в один вопль ужаса. Пьер падает под копыта першерона. Прохожие кричат: «Остановите! Остановите!» Кучер натягивает вожжи... напрасно: лошади продолжают бежать.

Пьер лежит на земле, живой, невредимый. Он не кричит и не шевелится. Копыта даже не задели его тела, лежавшего между ногами лошадей; благополучно миновали его и два передних колеса. Возможно чудо. Но громадная махина, увлекаемая шестью тоннами своего веса, проезжает еще несколько метров. Заднее левое колесо натыкается на какое-то слабое препятствие и сокрушает его на ходу. Это голова Пьера...

Полицейские поднимают еще теплое тело, мгновенно покинутое жизнью. Они кличут извозчиков, но ни один не хочет принимать к себе в карету испачканный грязью и кровоточащий труп. Бегут минуты, собираются и теснятся любопытные. Все более и более густая толпа обступает остановленную фуру, яростные крики летят в адрес кучера, Луи Манена, невольного виновника этой драмы. Наконец двое мужчин приносят носилки. На них кладут умершего и после совершенно бесполезного захода в аптеку несут в полицейский комиссариат, где раскрывают бумажник Пьера и просматривают содержащиеся в нем бумаги. Когда разносится слух, что жертва — Пьер Кюри, профессор, знаменитый ученый, смута усиливается, и полицейским приходится вмешаться, чтобы защитить Манена от кулачной расправы.

Врач месье Друе обмывает запачканное лицо, исследует зияющую рану в голове и насчитывает шестнадцать костных осколков, которые еще двадцать минут тому назад составляли череп. По телефону извещают факультет естествознания. Скоро в безвестном полицейском участке на улице Гран-Огюстэн участковый комиссар и секретарь, почтительно взволнованные, видят перед собой склоненные над трупом фигуры рыдающего месье Клера — лаборанта Пьера Кюри и тоже рыдающего ломового извозчика Манена, с красным, распухшим от слез лицом.

Между ними лежит Пьер с забинтованным лбом, с открытым неповрежденным лицом — безразличный ко всему.

Фура длиной в пять метров, груженная до верху тюками военного обмундирования, стоит перед подъездом. Дождь мало-помалу смывает кровь с одного из ее колес. Грузные молодые лошади, обеспокоенные отсутствием хозяина, фыркают и бьют копытами о землю.

* * *

Горе стучится в дом Кюри. Автомобили, фиакры нерешительно проезжают вдоль укреплений и останавливаются на безлюдном бульваре Келлермана. Посыльный от президента республики звонит в дверной колокольчик, затем, узнав, что «мадам Кюри еще не возвращалась», удаляется, не выполнив данного ему поручения. Еще звонок: декан факультета Поль Аппель и профессор Жан Перрен входят во флигель.

Доктор Кюри, остававшийся вместе со служанкой в доме, удивлен таким важным гостям. Он идет встретить вошедших и замечает огорченное выражение их лиц. Поль Аппель, приехавший с целью заранее подготовить Мари, смущенно стоит перед ее свекром. Но трагическое двусмысленное молчание продолжается недолго. Старик еще раз вглядывается в их лица. И, не спрашивая, говорит сам:

— Мой сын умер.

Во время рассказа о несчастном случае сухое морщинистое лицо доктора Кюри бороздится рытвинами, которые промывают слезы у пожилых людей. В этих слезах и скорбь, и возмущение. В порыве нежности и отчаяния он винит сына за рассеянность, стоившую ему жизни, и упорно повторяет горький упрек:

— О чем опять он так размечтался?...

Шесть часов. Ключ лязгает в замке парадной двери. В дверях гостиной появляется оживленная, веселая Мари. В чересчур почтительных позах своих друзей она смутно чувствует суровый признак сострадания. Поль Аппель снова передает события. Мари стоит так неподвижно, так застыла, что можно подумать, будто она ничего не поняла. Можно принять ее за бесчувственный, неодушевленный манекен. После долгого растерянного молчания губы ее наконец зашевелились, и она спрашивает совсем тихо, в безумной надежде на какое-то опровержение:

— Пьер умер?... Умер?... Совсем умер?

Было бы банально, даже пошло доказывать, что внезапная катастрофа может навсегда изменить человека. Тем не менее решающее влияние этих минут на характер моей матери, на ее судьбу и на судьбу ее детей нельзя обойти молчанием. Мари Кюри не просто превратилась из счастливой молодой женщины в неутешную вдову. Переворот гораздо глубже. Внутренняя

смута, терзавшая ее в эти минуты, несказанный ужас безумных представлений были слишком жгучи, чтобы их выражать в жалобах и откровенных излияниях. С того момента, как два слова: «Пьер умер» — дошли до ее сознания, покров одиночества и тайны навсегда лег на ее плечи. В этот апрельский день мадам Кюри стала не только вдовой, но и одиноким, несчастным человеком.

Свидетели ее трагедии чувствуют между нею и собой эту невидимую преграду. Слова сочувствия и ободрения скользят по Мари, которая стоит с сухими глазами и посеревшим, осунувшимся, отрешенным лицом. Она едва их слышит и с трудом отвечает на самые необходимые вопросы. Несколькими отрывистыми фразами она отвергает вскрытие, обычно завершающее судебное расследование, и требует перевезти тело Пьера на бульвар Келлермана. Просит своего друга, мадам Перрен, приютить у себя Ирен в течение ближайших дней и отправляет в Варшаву коротенькую телеграмму: «Пьер умер несчастного случая». Потом выходит в мокрый сад, садится, уперев локти в колени и закрыв руками лицо. Глухая ко всему, неподвижная и молчаливая, она ждет спутника жизни.

Сначала приносят найденные в карманах Пьера стилограф, ключи, бумажник и все еще идущие часы с уцелевшим стеклом. Наконец, в восемь часов вечера карета скорой помощи останавливается у дома. Мари видит умиротворенное, кроткое лицо...

Носилки медленно, с трудом протискиваются в узкую входную дверь. Андре Дебьерн, ездивший в полицейский участок за телом своего учителя, своего друга, поддерживает мрачную ношу. Умершего помещают в одной из комнат нижнего этажа, и Мари остается наедине со своим мужем.

Она целует его лицо, еще почти теплое, не успевшее окоченеть тело, еще податливую руку. Ее силой уводят в соседнюю комнату, чтобы она не видела, как обряжают покойного. Мари уступает, но затем ее вдруг обуревает мысль, что она не должна лишать себя этих минут, что не должна никому уступать права трогать кровавые останки. Тогда Мари возвращается и припадает к трупу.

На следующий день прибытие Жака Кюри освобождает ее от оцепенения и открывает шлюз для слез. Наедине с двумя братьями, живым и ушедшим из жизни, она отдается горю и рыдает. Потом, вновь оцепенев, ходит по флигелю, отдает распоряжение умыть и причесать Еву, как обычно. Идет в сад, подзывает Ирен, играющую кубиками у Перренов, и говорит с ней сквозь решетку. Сообщает ей, что Пэ сильно ушиб себе голову и ему нужен покой. Ничего не подозревая, девочка снова принимается играть.

Пройдет еще несколько недель, и Мари, не умея выказывать свое горе перед людьми, готовая кричать от ужаса в окружающих ее безмолвии и пустоте, откроет свою серую тетрадь и начертает дрожащим почерком те мысли, которые ее душат. На этих страницах с помарками и пятнами от слез она обращается к Пьеру, зовет его и говорит с ним. Она пытается запечатлеть каждую подробность разлучившей их драмы, чтобы мучиться ею всю жизнь. Короткий дневник — первый и единственный дневник Мари — отражает самые трагические часы этой женщины.

«...Пьер, мой Пьер, ты лежишь там, как бедняга, раненый, с забинтованной головой, забывшись сном. Лицо твое кротко, ясно, это все ты, погруженный в сон, но ты уже не можешь пробудиться. Те губы, которые я называла вкусными, стали бескровны, бледны. Твоих волос не видно, они начинаются там, где рана, а справа, ниже лба, виден осколок кости. О! Как тебе было больно, сколько лилось из тебя крови: твоя одежда вся залита кровью. Какой страшный удар обрушился на твою бедную голову, которую я гладила так часто, держа в своих руках. Я целовала твои глаза, а ты закрывал веки, чтобы я могла их целовать, и привычным движением поворачивал свою голову ко мне...

Мы положили тебя в гроб в субботу утром, и я поддерживала твою голову, когда тебя переносили. Мы целовали твое холодное лицо последним поцелуем. Я положила тебе в гроб несколько барвинков из нашего сада и маленький портрет той, кого ты звал «милой разумной студенткой» и так любил. Этот портрет будет с тобой в могиле, портрет той женщины, которая имела счастье понравиться тебе настолько, что, повидав ее лишь несколько раз, ты не колеблясь предложил ей разделить с тобой жизнь! Ты часто говорил мне, что это был единственный случай в твоей жизни, когда ты действовал без всяких колебаний, с полной уверенностью, что поступаешь правильно. Милый Пьер, мне думается, ты не ошибся. Мы были созданы, чтобы жить вместе, и наш брак должен был состояться.

Гроб заколочен, и я тебя не вижу. Я не позволю накрывать его ужасной черной тряпкой. Я покрываю его цветами и сажусь рядом.

...За тобой пришла печальная группа провожатых, я смотрю на них, но ничего не говорю. Мы провожаем тебя в Со и смотрим, как опускают тебя в глубокую, большую яму. Потом ужасная прощальная процессия людей перед могилой. Нас хотят увести. Мы с Жаком не подчиняемся, мы хотим видеть все до

конца; могилу оправляют, кладут цветы, все кончено. Пьер спит в земле последним сном, это конец всему, всему, всему...»

Мари потеряла спутника жизни, мир потерял большого человека. Жестокая смерть в грязи и слякоти поразила общественное мнение. Газеты всех стран на нескольких столбцах патетически описывают несчастный случай на улице Дофины. На бульваре Келлермана накапливается груда сочувственных посланий, где подписи королей, министров, поэтов и ученых перемешиваются с именами простых людей. Среди связок таких писем, статей и телеграмм находим отклики истинного чувства.

Лорд Кельвин:

«Тяжко огорчен ужасной вестью о смерти Кюри. На похороны прибудем завтра рано утром в отель Мирабо».

Марселин Бертло:

«...Ужасное сообщение поразило нас, как громом. Сколько заслуг перед Наукой и Человечеством, и сколько будущих заслуг, каких мы ждали от этого талантливого исследователя. Все это исчезло в одно мгновение или стало уже воспоминанием».

Г. Липпманн:

«Мне кажется, что я потерял брата: я до сих пор не понимал, что связывало меня так тесно с Вашим мужем; теперь я знаю что. Страдаю и за Вас, мадам».

Ш. Шенво, ассистент Пьера Кюри:

«Для некоторых из нас он был предметом истинного преклонения. Что касается меня лично, то после моей семьи я больше всех любил этого человека, настолько он умел окружить своего скромного сотрудника большим и деликатным вниманием. Его безграничная доброта простиралась на самых мелких служащих, которые его обожали; я никогда не видел таких искренних и таких трогательных слез, как те, что проливали лаборанты при вести о внезапной кончине их начальника».

В этом случае, как и в других, та, кого будут называть «знаменитой вдовой», уклоняется от потока соболезнований. Чтобы избежать официальной церемонии, Мари торопит с погребением, назначенным на субботу, 21 апреля. Отвергает тор-

жественную процессию, делегации, речи и требует, чтобы Пьера похоронили как можно проще, в Со, рядом с могилой его матери. Бывший тогда министром просвещения Аристид Бриан нарушает отданное ранее распоряжение: в порыве великодушия он лично присоединяется к толпе родных и близких друзей Кюри и молча провожает тело Пьера до маленького кладбища в предместье.

Газетчики, прячась за могилами, высматривают силуэт Мари, окутанный матово-черной траурной вуалью.

«...Мадам Кюри, под руку со своим свекром, шла за гробом мужа до самой могилы, вырытой у ограды кладбища, в тени каштанов. Там она постояла одну минуту неподвижно все с тем же жестким, устремленным в одну точку взглядом; но как только к могиле принесли охапку цветов, она резким движением схватила ее и, выбирая один цветок вслед за другим, стала засыпать ими гроб.

Она делала это медленно, деловито, казалось, совсем забыв о провожатых, стоявших под глубоким впечатлением этого зрелища совершенно тихо, даже не перешептываясь.

Однако распорядитель похорон счел нужным предупредить мадам Кюри, что сейчас ей предстоит выслушать сочувственные речи присутствующих: тогда она выронила из рук букет цветов на землю, отошла от могилы, не сказав ни слова, и снова присоединилась к своему свекру».

(«Журналь», 22 апреля 1906)

В последующие дни проходили заседания, посвященные памяти умершего ученого; в Сорбонне, в научных обществах — как французских, так и иностранных, членом которых состоял Пьер Кюри. В Академии наук Анри Пуанкаре произносит в память о своем друге:

«Все, кто был знаком с Пьером Кюри, знают, какой приятной, какой надежной была всякая связь с ним, каким тонким обаянием веяло от его кроткой скромности, его чистосердечной простоты, от его утонченного ума.

Кто мог бы подумать, что под этой мягкостью крылась непримиримая душа? Он не мирился ни с какими отклонениями от тех благородных принципов, в которых был воспитан, от того нравственного идеала, какой ему внушили, идеала безусловной чистоты души, возможно, слишком возвышенного для мира, в котором мы живем. Ему было неведомо множество мелких уступок совести, какими потворствуем мы нашу слабость. Вместе с тем служение такому идеалу он никогда не отделял от идеала

своего служения Науке и дал нам блестящий пример того, что самое высокое понятие о долге может исходить из простой и чистой любви к истине. Важно не то, в какого бога верят люди: чудеса творит не бог, а сама вера».

Дневник Мари:

...«На другой день после похорон я все сказала Ирен, жившей у Перренов... Сначала она не поняла, и я ушла, не получив ответа, но после она, по-видимому, плакала и просилась к нам. Дома она много плакала, затем ушла к своим маленьким друзьям, чтобы забыться. Она не спрашивала ни о каких подробностях и поначалу боялась говорить о своем отце. Тревожным взглядом широко раскрытых глаз она смотрела на принесенную мне траурную одежду... Сейчас, судя по ее лицу, она уже не думает обо всем этом.

Приехали Броня и Юзеф. Хорошие они люди. Ирен играет со своими дядями. Ева, которая все это время весело, беспечно топала по дому, тоже играет и смеется, все разговаривают. А я вижу Пьера, Пьера на смертном одре.

В ближайшее воскресенье после твоей смерти, Пьер, утром я с Жаком пошла в первый раз в лабораторию. Я попыталась получить дополнительные данные для построения кривой, которую ты и я наметили отдельными точками. Но почувствовала, что не в состоянии продолжать работу.

Иду по улице, как в гипнозе, без всяких мыслей. Я не покончу жизнь самоубийством, меня даже не тянет к этому. Но неужели среди всех экипажей не найдется какой-нибудь один, который доставит мне возможность разделить участь моего любимого?»

* * *

Доктор Кюри, его сын Жак, Юзеф Склодовский и Броня со страхом следят за движениями застывшей, спокойной женщины, одетой в черное, того автомата, каким стала Мари. Даже присутствие детей не вызывает в ней никаких чувств. Казалось, что эта оцепеневшая, отрешенная от всего женщина, не присоединясь к умершему, ушла и от живых.

Но живые заботятся о ней, тревожатся за ее будущее, о котором она почти не думает. Что станется с незаконченными, внезапно прерванными исследованиями Пьера? С его преподаванием в Сорбонне? Каково будущее самой Мари?

Ее близкие шепотом обсуждают эти вопросы, прислушиваются к мнению представителей министерства и университета, приезжавших на бульвар Келлермана. На следующий же день

после похорон французское правительство предложило назначить вдове и ее детям национальную пенсию.

Жак передал это предложение Мари, но она отказалась наотрез. «Я не хочу пенсии, — сказала она. — Я еще достаточно молода, чтобы заработать на жизнь себе и моим детям».

В окрепшем голосе впервые прозвучало слабое эхо былого мужества.

При обмене взглядами между руководителями учреждений и семьей Кюри возникли некоторые трения. Университет склонялся к тому, чтобы включить Мари в кадры своих работников. Но в каком звании и в чьей лаборатории? Можно ли эту даровитую женщину отдать под чье-нибудь руководство? И где найти столь компетентного профессора, который мог бы возглавить лабораторию Пьера Кюри?

Когда запросили мадам Кюри о ее намерениях, она ответила, что не в состоянии решать и ничего сказать не может...

Жак, Броня, самый верный друг Пьера — Жорж Гуи чувствуют, что им придется решать все за Мари и взять на себя инициативу. Жак Кюри и Жорж Гуи делятся с деканом факультета своим твердым мнением: Мари — единственный французский физик, способный продолжать работы, начатые ею с Пьером. Мари — единственный профессор, достойный наследовать Пьеру Кюри. Мари — единственный руководитель лаборатории, способный заменить Пьера. Надо отбросить традиции и привычки и назначить мадам Кюри профессором Сорбонны.

Под влиянием Марселина Бертло, Поля Аппеля и проректора Лиара официальные власти делают широкий, великодушный жест. 13 мая 1906 года совет факультета естествознания решает сохранить кафедру, созданную для Пьера Кюри, и передать ее Мари, присвоив ей звание «профессора».

«Французский университет.

Вдова Пьера Кюри, доктор наук, руководитель научных работ при факультете естествознания Парижского университета, назначается профессором на вышеозначенном факультете. В этом звании мадам Кюри будет получать десять тысяч франков в год начиная с первого мая 1906 года».

Впервые на должность профессора во французской высшей школе назначена женщина.

Ее свекор доктор Кюри обстоятельно излагает Мари все трудности той задачи, какую ей предстоит взять на себя, но

она слушает рассеянно и отвечает только одним словом: «Попробую».

Фраза, некогда сказанная Пьером, представлявшаяся его моральным завещанием, приказом, всплывает в ее памяти и определяет дальнейший путь Мари: «Что бы ни случилось, хотя бы рассталась душа с телом, надо работать».

* * *

Дневник Мари:

«Милый Пьер, мне предлагают принять на себя твое наследство: твой курс лекций и руководство твоей лабораторией. Я согласилась. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Ты часто выражал желание, чтобы я вела какой-нибудь курс в Сорбонне. Хотелось бы по крайней мере двигать дальше наши работы. Иногда мне кажется, что благодаря этому мне будет легче жить, а временами — что браться за это с моей стороны безумно».

7 мая 1906 года:

«Милый Пьер, думаю о тебе без конца, до боли в голове, до помутнения рассудка. Не представляю себе, как буду теперь жить, не видя тебя, не улыбаясь нежному спутнику моей жизни.

Уже два дня как деревья оделись листьями и наш сад похорошел. Сегодня утром я любовалась в нем нашими детьми. Я думала, что все это показалось бы тебе красивым и ты меня позвал бы, чтобы показать расцветшие барвинки и нарциссы. Вчера на кладбище я не могла никак понять значение слов «Пьер Кюри», высеченных на могильном камне. Красота деревенского простора вызывала во мне душевную боль, и я опустила вуаль, чтобы смотреть на все сквозь черный креп...»

11 мая:

«Милый Пьер, я спала довольно хорошо и встала сравнительно спокойной. Но едва прошло каких-нибудь четверть часа, и я опять готова выть как дикий зверь».

14 мая:

«Миленький Пьер, мне бы хотелось сказать тебе, что расцвел альпийский ракитник и начинают цвести глицинии, ирисы, боярышник — все это порадовало бы тебя.

Хочу сказать также и о том, что меня назначили на твою кафедру и что нашлись идиоты, которые меня поздравили.

Хочу сказать тебе, что мне уже не любы ни солнце, ни цветы — их вид причиняет мне страдание, я лучше чувствую себя в пасмурную погоду, такую, какая была в день твоей смерти, и если я не возненавидела ясную погоду, то лишь потому, что она нужна детям».

22 мая:

«Работаю в лаборатории целыми днями — единственное, что я в состоянии делать. Там мне лучше, чем где-либо. Я не представляю, что могло бы порадовать меня лично, кроме, может быть, научной работы, да и то нет; ведь если бы я в ней преуспела, мне было бы невыносимо, что ты этого не знаешь».

10 июня:

«Все мрачно. Житейские заботы не дают мне даже времени спокойно думать о моем Пьере».

* * *

Жак Кюри и Юзеф Склодовский уехали из Парижа. Вскоре и Броня должна ехать к мужу в их Закопанский санаторий.

В один из последних вечеров, оставшихся у двух сестер, чтобы побыть вместе, Мари тащит Броню к себе в спальню и, несмотря на летнюю жару, разжигает в камине поленья. Запирает дверь на ключ. Удивленная Броня вопросительно всматривается в лицо Мари. Оно еще бледнее, бескровнее, чем обычно. Не говоря ни слова, Мари вытаскивает из шкафа завернутый в непромокаемую бумагу объемистый жесткий узел, потом садится к огню и делает знак сестре сесть рядом. Еще раньше она положила на камин большие ножницы.

— Броня, — говорит она шепотом, — ты должна мне помочь.

Не спеша Мари разрезает бечевку, снимает бумагу. Пламя золотит ее дрожащие руки. Показывается сверток, старательно обернутый простыней. С минуту Мари колеблется, потом развертывает белую материю, и Броня едва удерживается от крика ужаса: в простыне лежит отвратительная куча смятой одежды, белья вперемешку с засохшей грязью и запекшейся кровью. Уже много дней Мари хранила у себя предметы одежды, в которую был одет Пьер в тот день, когда фура наехала на него на улице Дофины.

Вдова Пьера берет ножницы и начинает разрезать на куски темный пиджак. Бросает их один за другим в огонь, смотрит, как они морщатся, дымятся, загораются и исчезают. Но вдруг она останавливается, тщетно борется со слезами, застилающими ее усталые глаза. В полусклеившихся складках ткани показываются кусочки какой-то влажной, липкой массы: последние частицы мозга, в котором несколько недель тому назад рождались благородные мысли и гениальные идеи.

Мари смотрит застывшим взглядом на жалкие останки, касается их рукой, с отчаянием целует, но Броня вырывает у нее одежду, отнимает ножницы, сама принимается резать все на куски и бросать в огонь. Делает это молча, без единого слова. Наконец, все закончено. Бумага, простыня, полотенце, которым обе сестры вытирали руки, становятся добычей пламени.

— Я не могла бы перенести, чтобы чужие, равнодушные руки коснулись всего этого, — наконец произносит Мари сдавленным голосом. Затем, подойдя к Броне, спрашивает:

— Теперь скажи, как мне жить. Я чувствую, что должна жить, но как это сделать? Как мне быть?

И тут же, сокрушенная ужасным припадком рыданий, слез, икоты, Мари падает на грудь Брони, которая поддерживает ее, старается утешить, в конце концов раздевает и укладывает в постель это совсем обессиленное существо.

На следующий день Мари вновь становится тем холодным автоматом, который топчется на месте с 19 апреля. Все тот же автомат целует Броню, когда та садится в поезд, отходящий в Польшу. Еще долго будет ее преследовать образ Мари в траурной вуали, стоящей неподвижно на перроне.

Нечто вроде «нормальной жизни» водворяется во флигеле, где все до такой степени насыщено памятью о Пьере, что в определенные вечера при звонке парадной двери у Мари на четверть секунды возникает безумная мысль, не была ли катастрофа только дурным сном и не войдет ли сейчас Пьер. Юные и старые лица, окружающие Мари, выражают ожидание чего-то. От нее ждут планов, предложений на будущее. Эта тридцативосьмилетняя измученная горем женщина оказалась теперь главой семьи.

И она принимает несколько решений: остаться на все лето в Париже, чтобы работать в лаборатории и подготовить курс физики, который ей придется начать в ноябре. Ее курс должен быть достоин курса, читанного Пьером Кюри. Мари собирает все его тетради, книги, сводит вместе заметки, оставшиеся после ученого.

В течение этих мрачных для нее каникул дети резвятся на чистом воздухе. Ева в Сен-Реми-де-Шеврез у своего деда, Ирен на морском берегу с другой сестрой Мари — Элей Шалай, приехавшей помочь сестре и провести лето во Франции. Осенью, чувствуя себя не в силах оставаться на бульваре Келлермана, Мари начинает подыскивать новую квартиру. Ей хочется обосноваться в Со, где жил Пьер, когда она с ним встретилась и где он покоится теперь.

Когда встал вопрос о переезде, доктор Кюри, может быть, впервые оробев, сказал своей невестке:

— Мари, теперь, когда нет Пьера, у вас нет никакой причины жить со стариком. Я вполне могу оставить вас и жить один или у старшего сына. Решайте!

— Нет, решайте вы!... — говорит Мари. — Ваш отъезд огорчит меня. Но вы должны сами решить, что для вас лучше...

Голос ее звучит тоскливо. Неужели ей предстоит утратить и этого друга, этого верного товарища ее жизни? Будет естественно, если доктор Кюри предпочтет жить у Жака, а не оставаться с ней — иностранкой, полькой. Но тотчас слышится желанный ей ответ:

— Мари, для меня лучше остаться с вами, и навсегда.

Он добавляет: «Если вы согласны» — фразу, проникнутую скрытым волнением, в котором ему не хочется признаться. И, быстро повернувшись, уходит в сад, куда его зовут радостные крики Ирен.

Вдова, семидесятилетний старик, девочка и малышка — вот теперешний состав семьи Кюри.

* * *

«Мадам Кюри, вдова известного ученого, назначенная профессором на кафедру, которую занимал ее муж в Сорбонне, прочтет свою первую лекцию 5 ноября 1906 года в половине второго пополудни...

В этой вводной лекции мадам Кюри изложит теорию ионизации газов и рассмотрит вопрос о радиоактивности.

Мадам Кюри будет читать лекции в лекционном амфитеатре. В нем около ста двадцати мест, из них большую часть займут студенты. Публике и представителям печати, тоже имеющим некоторые права, придется делить между собой самое большее двадцать мест! Ввиду этого события — единственного в истории Сорбонны — нельзя ли изменить существующие правила и предоставить мадам Кюри, только для первой лекции, большой амфитеатр?»

Эти отрывки из тогдашних газет отражают тот интерес и то нетерпение, с которыми Париж ждал первого публичного появления «знаменитой вдовы». Репортеры, светские люди, хорошенькие женщины, артисты, осаждающие секретариат факультета естествознания и негодующие на то, что им не дали пригласительных билетов, руководствовались вовсе не сочувствием и не стремлением к образованию. Им было очень мало дела до «теории ионизации газов», и страдание Мари в этот жестокий для нее день представлялось их любопытству только как новая пикантность. Даже у скорби бывают свои снобы!

Первый раз в Сорбонне будет выступать женщина, одновременно и талантливый ученый, и безутешная вдова. Вот что влечет любителей премьер, непременное общество «больших дней».

В полдень, когда Мари еще стоит у могилы на кладбище в Со и разговаривает шепотом с тем, кому она наследует сегодня, толпа уже до отказа заполнила маленький ступенчатый амфитеатр факультета естествознания и растянулась до площади Сорбонны. В самой аудитории перемешались полные невежды с крупными учеными, близкие друзья Мари с чужими. В самое незавидное положение попали настоящие студенты, которые пришли слушать лекцию, записывать, а должны цепляться за свои скамейки, чтобы их не вытеснили посторонние.

Час двадцать пять минут. Рокот голосов нарастает. Все шепчутся, перекидываются вопросами, вытягивают шеи, чтобы ничего не упустить при входе Мари в амфитеатр. У всех одна мысль: с чего начнет новый профессор, единственная женщина, когда-либо допущенная Сорбонной в среду своих ученых? Станет ли она благодарить министра просвещения, благодарить университет? Будет ли говорить о Пьере Кюри? Разумеется, да: обычай требует произнести хвалебную речь в адрес предшественника. Но в данном случае предшественник — муж, товарищ по работе. Какое «казусное» положение! Минута животрепещущая, единственная в своем роде...

Половина второго. Дверь в глубине аудитории отворяется, и под шквал аплодисментов мадам Кюри подходит к кафедре. Она делает кивок головой — этот сухой жест должен означать приветствие. Мари стоит, крепко сжав руками край длинного стола, уставленного приборами, и ждет конца оваций. Они сразу обрываются: перед этой бледной женщиной, которая пытается придать своему лицу соответствующее выражение, какое-то неведомое волнующее чувство заставляет умолкнуть эту толпу, пришедшую полюбоваться зрелищем.

Глядя прямо перед собой, Мари произносит:

«Когда стоишь лицом к лицу с успехами, достигнутыми физикой за последние десять лет, невольно поражаешься тем сдвигом, какой произошел в наших понятиях об электричестве и о материи...»

Мадам Кюри начала свой курс точно с той фразы, на которой его оставил Пьер Кюри.

Что трогательного могут заключать в себе эти холодные слова: «Когда стоишь лицом к лицу с успехами, достигнутыми физикой...»? Но слезы навертываются на глаза и текут по лицам.

Тем же ровным, почти монотонным голосом ученая доводит до конца сегодняшнюю лекцию. Говорит о новых теориях природы электричества, о ядерном распаде, о радиоактивных элементах. Не понижая тона, она доводит до конца сухое изложение темы и уходит в маленькую дверь так же быстро, как вошла.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОДНА

Нас удивляла Мари в ту пору, когда благодаря поддержке такого талантливого ученого, как ее муж, ей удавалось одновременно и вести дом, и выполнять серьезную научную работу. Нам казалось, что более трудной жизни и большего напряжения сил нельзя себе представить, но все это оказалось пустяком по сравнению с тем, что ждало ее впереди. Обязанности «вдовы Кюри» испугали бы человека даже крепкого, мужественного, счастливого.

Она должна и воспитывать маленьких детей, и зарабатывать на жизнь, и с блеском носить звание профессора. Она должна, уже не имея могучей научной опоры в лице Пьера Кюри, продолжать работы, начатые совместно с ним, сама давать все указания, советы ассистентам и студентам и, наконец, осуществить важную миссию: создать лабораторию, достойную обманутых надежд Пьера, такую, где молодые исследователи смогут развивать новую науку о радиоактивности.

* * *

Первой заботой Мари было создание нормальных условий жизни для своих дочерей и свекра. В Со на Железнодорожной улице она снимает дом № 6. Дом неказистый, но его красит уютный сад. Доктор Кюри занимает в доме отдельное крыло. Ирен, к своей радости, получает во владение клочок земли, на котором имеет право сажать что ей

угодно. Ева под надзором гувернантки разыскивает в густой траве лужайки любимую черепаху и бегает по узеньким песчаным дорожкам то за черной, то за тигровой кошкой.

За все это мадам Кюри расплачивается лишней тратой сил: получасом езды поездом до лаборатории. Каждое утро можно видеть, как она идет на станцию красивым быстрым шагом, точно стараясь неутомимым ходом наверстать опоздание куда-то. Эта женщина в глубоком трауре неизменно садится в один и тот же поезд, в одно и то же отделение второго класса и вскоре становится знакомою фигурой для пассажиров на этой линии.

Мари редко успевает вернуться к завтраку в Со. Она вновь заводит знакомство с молочными Латинского квартала, куда захаживала в былые времена, как и теперь, одна, но молодая, преисполненная какой-то неосознанной надежды. Или же, расхаживая взад и вперед по лаборатории, она закусывает хлебцем, фруктами.

По вечерам, иногда очень поздно, Мари опять садится в поезд и возвращается к себе, в светящийся огнями дом. Зимой она первым делом обследует большую печь в передней, подбрасывает угля и регулирует тягу. В ее голове прочно засела мысль, что никто в мире, кроме нее, не способен хорошо развести огонь, и правда, она умеет артистически, как химик, распределить бумагу, щепки, положить сверху уголь или дрова. Когда печь начинает как следует гудеть, Мари ложится на диван и отдыхает от изнурительного дня.

Она слишком скрытна, чтобы показывать свое горе, никогда не плачет на людях, не хочет быть предметом жалости и утешений. Никому не поверяет ни своих приступов отчаяния, ни страшных кошмаров, которые мучают ее по ночам. Но близкие с тревогой замечают ее потухший взгляд, все время устремленный куда-то в пустоту, ее руки с признаками тика: нервные, воспаленные ожогами радия пальцы беспрестанно трутся друг о друга.

Бывают моменты, когда физические силы вдруг изменяют ей. Одно из первых моих детских воспоминаний — это образ матери в ту минуту, когда она, потеряв сознание, упала на пол в столовой, ее бледность, неподвижность.

Мари — своей подруге детства Казе, 12 декабря 1906 года:

«Дорогая Казя,

я не могла принять рекомендованного тобой К. В тот день, когда он заходил, мне очень нездоровилось, что бывает со мной

часто, а кроме того, мне предстояло на следующий день много ходить по делам. Мой свекор-врач запретил мне принимать кого-либо, зная, что разговоры меня сильно утомляют.

А в остальном, что тебе сказать? Моя жизнь до такой степени разбита, что уже больше не устроится. Думаю, что так и будет впредь, и я не стану пытаться жить по-другому. Я хочу как можно лучше воспитать моих дочерей, но они не могут пробудить во мне жизнь. Обе они славные, милые и довольно хорошенькие. Я прилагаю все усилия к тому, чтобы они выросли крепкими, здоровыми. Глядя на младшую, я думаю, что они обе станут совсем взрослыми только лет через двадцать. Сомневаюсь, чтобы я дожила до этого времени, так как жизнь моя утомительна, да и горе подтачивает силы и здоровье.

В денежном отношении я не испытываю затруднений: я зарабатываю достаточно, чтобы воспитывать детей, хотя, конечно, мое материальное положение гораздо скромнее, чем было при жизни мужа».

В эти скорбные для Мари годы два человека становятся ее помощниками. Это Мария Каменская, свояченица Юзефа Склодовского, которая по настоянию Брони приняла на себя обязанности гувернантки и домоправительницы в семье Кюри. Ее присутствие частично внесло в жизнь Мари тот польский дух, которого недоставало ей вдали от родины. Впоследствии, когда пани Каменская по состоянию здоровья будет вынуждена вернуться в Варшаву, другие гувернантки-польки, хотя и не такие надежные и не такие очаровательные, как она, заменят ее при Еве и Ирен.

Другим и самым ценным союзником Мари был доктор Кюри. Смерть Пьера стала и для него тяжким испытанием. Но старик черпает в своем строгом рационализме известную долю мужества, на что Мари оказалась неспособна. Он не признает бесплодных сожалений и поклонения могилам. После погребения он ни разу не ходил на кладбище. Раз от Пьера не осталось ничего, старик не хочет мучить себя призраком.

Его стоическая безмятежность действует благотворно на Мари. В присутствии свекра, считающего нужным вести нормальный образ жизни, говорить, смеяться, ей стыдно за свою тупость, вызванную горем. И она старается придать лицу выражение спокойствия.

Общество доктора Кюри, приятное для Мари, было отрадой и для ее дочерей. Не будь этого старика с голубыми глазами, детство девочек заглохло бы в атмосфере траурного настроения. При матери, вечно отсутствующей, занятой в лаборатории, название которой прожужжало им все уши, старик является для

девочек товарищем в их играх и наставником гораздо больше, чем мать. Ева была слишком мала, чтобы между ним и ею возникла настоящая близость, но он становится незаменимым другом Ирен, медлительного и замкнутого ребенка, так похожего характером на его погибшего сына.

Он не только преподает Ирен начальные сведения по естественной истории, ботанике, передает ей свое восхищение Виктором Гюго, пишет ей летом письма, разумные, поучительные и забавные, в которых отражается и его насмешливое остроумие, и изящный стиль, но и дает всему ее умственному развитию определенное направление. Духовная уравновешенность Ирен Жолио-Кюри, ее отвращение к унынию, ее непререкаемая любовь к реальному, ее антиклерикализм, даже ее политические симпатии пришли прямым путем от ее деда по отцу.

Мадам Кюри окружает этого замечательного старика теплой, нежной заботой. В 1909 году, заболев воспалением легких, он пролежал в постели целый год, и Мари проводит все свободные минуты у изголовья трудного, нетерпеливого больного, стараясь его развлечь.

25 февраля 1910 года он умирает. На оголенном зимой промерзшем кладбище в Со Мари требует от могильщиков выполнить необычную для них работу — вынуть из могилы гроб Пьера. На дно могилы ставят гроб доктора Кюри, а на него опускают гроб Пьера. Не желая расставаться с мужем после своей смерти, Мари велит оставить место для себя и долго, бесстрашно смотрит в эту пустоту.

* * *

Теперь воспитание Ирен и Евы перешло в руки самой Мари. О воспитании детей у нее были свои установившиеся представления, которые и проводились менявшимися гувернантками более или менее удачно.

Каждый день начинается часом умственной и ручной работы, которую Мари старается делать привлекательной. Она ревностно следит за каждым пробуждением способностей у дочерей и заносит в свою серую тетрадь успехи Ирен в арифметике или раннее проявление музыкальности у Евы.

Как только кончаются занятия на данный день, девочек отправляют гулять. В любую погоду они совершают прогулки и выполняют физические упражнения. В саду, у себя в Со, Мари велит построить портик, где вешают трапецию, кольца и канат для лазания. Поупражнявшись дома, обе девочки станут рьяными ученицами гимнастической школы, где завоюют первые призы в упражнениях на снарядах.

Их руки, все части тела постоянно укрепляются. Девочки работают в саду, готовят еду, шьют. Мари, как бы ни устала, сопровождает их в прогулках на велосипедах. Летом она вместе с ними погружается в морские волны и следит за их успехами в плавании.

Мари нельзя надолго покидать Париж, и Ирен с Евой проводят большую часть летних каникул под наблюдением Эли Шалай. Вместе со своими двоюродными сестрами они резвятся в каком-нибудь малолюдном месте на побережье Ла-Манша или Атлантического океана. В 1911 году первое путешествие в Польшу, где Броня устраивает их у себя в Закопанском санатории. Девочки учатся ездить верхом, уходят на несколько дней в горы, останавливаются в домиках гуралей. С рюкзаком за плечами, в подбитых гвоздями ботинках Мари шествует впереди по горным тропам.

Она не позволяет дочерям заниматься акробатикой, выполнять рискованные упражнения, но хочет развить в них смелость. Она не терпит, чтобы Ирен и Ева боялись темноты, чтобы они во время грозы прятали головы под подушки, чтобы они боялись воров или заразных болезней. Когда-то эти страхи были знакомы самой Мари: она избавит от них своих дочерей. Даже воспоминание о несчастном случае с Пьером не сделало ее боязливой воспитательницей. Девочки в раннем возрасте, одиннадцати-двенадцати лет, выходят из дому одни. А вскоре они станут и путешествовать без провожатых.

Здоровый дух не менее близок сердцу Мари. Она всячески старается предохранить дочерей от тоскливых мыслей, от чрезмерной чувствительности. Она приняла своеобразное решение: никогда не говорить осиротевшим детям об их отце. В подобном решении сказалось то, что она просто физически не могла затрагивать эту тему. До конца своей жизни Мари с громадным трудом произносит слова «Пьер» или «Пьер Кюри», «твой отец» или «мой муж» и в разговорах прибегает к невероятным ухищрениям, стараясь обойти определенные островки своих воспоминаний. Она не мыслит свое молчание о муже преступным в отношении детей. По ее мнению, лучше не вызывать в них, да и в самой себе, волнующих благородных чувств, чем создавать вокруг детей трагическую атмосферу.

Не создавая у себя в доме культа погибшего ученого, она не развивала и культа мученицы Польши.

Мари хочется, чтобы Ирен и Ева выучились польскому языку, чтобы они знали и любили ее родину. Но решительно делает из них француженок. Ах! Только бы они не чувствовали мучительного раздвоения между двумя отечествами.

Девочек не крестили и не воспитывали в благочестии. Мари

сознавала свою неспособность преподать им догмы, в которые сама уже не верит. В особенности она не хочет для них той боли, какую сама перенесла, потеряв веру. Тут не было никакого антирелигиозного убеждения: Мари отличалась полной терпимостью; и не один раз будет говорить своим детям, что, если у них явится потребность в какой-нибудь религии, она предоставит им полную свободу. Ее радует, что девочки не знают ни скудного детства, ни трудного отрочества, ни убогой юности, какие выпали на ее долю. Несколько раз ей представлялся случай обеспечить Ирен и Еву крупным состоянием. Мари не сделала этого. Став вдовой, ей надо было решить вопрос о применении этого грамма радия, который Пьер и она добыли своими руками и который является ее собственностью. Вопреки мнению доктора Кюри и нескольких членов семейного совета, она решает подарить лаборатории эту драгоценную частицу радия, стоящую свыше миллиона франков золотом.

По ее понятию, если быть бедным неприятно, то быть очень богатым и ненужно, и обидно для других. То, что ее дочерям придется самим зарабатывать себе на жизнь, представляется ей и здоровым, и естественным.

В тщательно разработанной Мари программе воспитания своих дочерей есть один пробел, а именно воспитание в узком смысле слова, я имею в виду обучение хорошим манерам. В семье, носящей траур, бывают гостями только самые близкие друзья: Андре Дебьерн, Перрены, Шаванны... Кроме этих любящих и всепрощающих друзей Ирен и Ева не видят никого. Ирен при встрече с чужими впадает в панику и упорно отказывается произносить «добрый день». Окончательно отделаться от этой привычки ей не удастся никогда.

Улыбаться, быть милыми, ездить в гости, принимать у себя, говорить комплименты, вести себя согласно этикету — все это неведомо Ирен и Еве. Лет через десять—двадцать они поймут, что у общественной жизни есть свои требования, свои законы, что говорить «добрый день, мадам» — увы! — необходимо...

Когда Ирен получила свидетельство о законченном начальном образовании и достигла возраста, необходимого для поступления в коллеж, Мари решила дать дочери образование выше обычных устаревших форм.

Эту неутомимую труженицу преследует мысль о переутомлении, на которое обречены ее дети. Ей кажется варварством запирать молодые существа в плохо вентилируемые классы, отнимать у них время на бесчисленные и бесплодные часы «сидения» в школе, когда их возраст требует движения, беготни. Она пишет своей сестре Эле:

«...Иной раз у меня создается впечатление, что детей лучше топить, чем заключать в современные школы».

Ей хочется, чтобы Ирен училась очень немного, но очень хорошо. Она раздумывает, советуется с друзьями — профессорами Сорбонны и такими же главами семьи, как и она. По ее почину рождается проект своего рода образовательного кооператива, где крупные ученые применят к своим детям новые методы образования.

Для десятка мальчиков и девочек открывается эра, полная возбуждающего интереса и занимательности, когда эти ребята ходят каждый день только на один урок, который им дает кто-нибудь из лучших знатоков предмета. Утром в определенный день они завладевают лабораторией в Сорбонне, где Жан Перрен преподает им химию. На следующий день маленький отряд отправляется в Фонтене-де-Роз: урок математики у Поля Ланжевена. Мадам Перрен, мадам Шаванн, профессор Мутон, скульптор Магру преподают литературу, историю, иностранные языки, естественную историю, моделирование, рисование. И, наконец, в одном из помещений Школы физики по четвергам во второй половине дня сама мадам Кюри преподает им курс физики, самый элементарный.

Ее ученики, а из них некоторые станут потом известными учеными, сохранят восторженную память об этих увлекательных уроках, об ее дружеском, милом обращении. Благодаря ей физические явления, описанные в учебниках отвлеченно, скучно, иллюстрируются живым, наглядным образом.

Шарики от велосипедных подшипников обмакивают в чернила, затем бросают на наклонную плоскость, и таким образом наглядно проверяется закон падения тел. Маятник записывает свои периодические колебания на закопченном листе бумаги. Термометр, сделанный и разделенный на градусы самими учениками, действует, к великой гордости ребят, не хуже термометров установленного образца.

Мари внушает им свою любовь к науке и влечение к труду. Передает свои методы работы. Обладая виртуозной способностью считать в уме, она заставляет своих питомцев упражняться в устном счете: «Надо добиваться делать это, никогда не ошибаясь», «залог успеха — не торопиться». Если кто-нибудь из ее учеников конструирует электрическую батарею и при этом мусорит на столе, Мари, вся вспыхнув от негодования, накидывается: «Не говори мне, что уберешь потом! Нельзя захламлять стол, когда собираешь прибор или ставишь опыт!»

Время от времени Мари давала своим любознательным ребятишкам урок простого здравого смысла.

— Как вы поступите, чтобы сохранить жидкость теплой в этом сосуде? — спрашивает Мари.

Сейчас же Франсис Перрен, Жан Ланжевен, Изабелла Шаванн, Ирен Кюри — лучшие ученики этого курса физики — предлагают различные варианты: окутать сосуд шерстью, изолировать его способами сложными... и неосуществимыми.

Мари улыбается и говорит:

— Что касается меня, то я прежде всего накрыла б его крышкой.

На этом совете домашней хозяйки и закончился урок в тот четверг.

Дверь отворяется, служанка вносит гору хлебных рожков, плиток шоколада, апельсинов для коллективной закуски.

Следя за каждым шагом Мари Кюри, газеты весело подсмеиваются над допуском (на весьма ограниченное время и под строгим наблюдением) сыновей и дочерей ученых в научные лаборатории:

«Это маленькое общество, едва умеющее читать и писать,— пишет один обозреватель, — *имеет полное право пользоваться приборами, конструировать аппаратуру, проводить химические опыты... Сорбонна и дом на улице Кювье пока не взорвались. но надежда на это еще не потеряна!»*

Через два года наступил конец коллективному обучению. Родители слишком перегружены собственной работой, чтобы уделять время этой затее. Детям предстоит сдача экзамена на степень бакалавра, поэтому они должны пройти установленную программу обучения. Мари выбрала для старшей дочери частную школу — Коллеж Севинье, где количество уроков значительно сокращено. В этом превосходном учебном заведении Ирен и закончит свое среднее образование, а позже здесь будет учиться Ева.

* * *

Оказались ли плодотворными эти трогательные попытки Мари дать свободу развитию индивидуальных способностей дочерей с детства? И да, и нет. «Коллективное обучение» дало старшей дочери за счет общего гуманитарного образования высокую научную культуру, какой она не получила бы ни в одной средней школе. А нравственное воспитание? Было бы прекрасно, если бы оно могло изменить в корне природу человека, но я не думаю, чтобы благодаря нашей матери мы стали много лучше. Тем не менее некоторые достоинства укоренились в нас.

прочно: любовь к труду в тысячу раз больше у моей сестры, чем у меня; определенное равнодушие к деньгам; инстинкт независимости, дававший нам обеим уверенность, что при любых обстоятельствах мы сумеем без посторонней помощи выйти из затруднительного положения.

Борьба с плохим настроением, успешная у Ирен, плохо удается мне. Несмотря на старания моей матери, пытавшейся помочь мне в этом, в годы моей юности я не была счастливой. Только в одном отношении Мари одержала полную победу: ее дочери обязаны ей хорошим здоровьем, физическим развитием, любовью к спорту. Вот все лучшее, чего достигла в нашем воспитании эта высокоинтеллигентная и великодушная женщина.

* * *

Не без опасения я попыталась определить те принципы, которыми руководствовалась Мари в своих первоначальных отношениях с нами. Я боюсь, что они создадут представление о ней, как о человеке методичном, сухом, педантичном. На самом деле она была совсем другой. Женщина, желавшая сделать нас неуязвимыми, сама по своей нежности, утонченности была слишком предрасположена к страданию. Та, что отучала нас быть ласковыми, несомненно, хотела бы, не признаваясь себе в этом, чтобы мы еще больше целовали и ласкали ее. Желая сделать нас «бесчувственными», Мари вся сжималась от огорчения при малейшем признаке равнодушия к ней самой. Она никогда не испытывала нашу «бесчувственность» наказаниями за шалости. «Классические» наказания в виде невинного шлепка, стояния в углу, лишения сладкого у нас не применялись. Не бывало также ни домашних сцен, ни криков: наша мать не терпела повышенного тона ни в радости, ни в гневе. Как-то раз Ирен надерзила, тогда Мари решила преподать ей урок — не разговаривала с ней в течение двух дней. И для нее, и для Ирен все это время стало тяжким испытанием, но из них двоих наказанной казалась Мари: расстроенная, она как потерянная бродила по дому и страдала больше, чем ее дочь.

Как и многие дети, мы, несомненно, были эгоистами и мало обращали внимания на оттенки чувств. Тем не менее мы замечали и обаяние, и сдержанную нежность, и скрытую любовь той, которую мы, начиная с первых наших строчек к ней, забрызганных кляксами, во всех наших коротеньких глупых письмах, хранившихся у Мари до самой смерти в пачке, перевязанной кондитерской ленточкой, называли «дорогой», «милой», «дорогой и милой» или чаще всего «милой Мэ».

Милая, очень милая Мэ, почти неслышная, говорившая с нами чуть ли не робко, не стремившаяся внушать ни страха, ни обожания к себе. Милая Мэ, которая в течение длинной череды годов нисколько не стремилась открыть нам, что она не обычная мать семейства, как прочие, и не обычный профессор, целиком погруженный в работу, а исключительное существо здесь, на земле.

Никогда Мари Кюри не старалась возбудить в нас чувство гордости ее научными успехами, ее славой. Да разве могло это прийти ей в голову, когда она при всей своей чудесной научной карьере являлась олицетворением сомнения в себе, самоотречения и скромности?

Мари Кюри — своей племяннице Ганне Шалай, 6 января 1913 года:

«...Ты пишешь, что хотела бы прожить целый век, а Ирен уверяет, что предпочла бы родиться позже, в грядущих веках. Я думаю, что в каждую эпоху можно жить интересно и приносить пользу. Для этого нужно не растрачивать бесплодно свои силы, а иметь право сказать: «Я сделал все, что мог», как Жан Кристоф из романа Ромена Роллана. Это то, что могут требовать от нас другие люди, а также то единственное, что способно дать немного счастья.

Весной прошлого года мои дочери вывели шелковичных червей. Я еще была очень больна и в течение нескольких недель своего вынужденного безделия наблюдала за образованием шелковичных коконов. Меня это крайне заинтересовало. Эти гусеницы, деятельные, добросовестные, работающие так охотно, так настойчиво, произвели на меня большое впечатление. Глядя на них, я почувствовала себя принадлежащей к их породе, хотя, быть может, и не могу так хорошо организовать работу, как они. Я тоже все время упорно и терпеливо стремилась к одной цели. Я действовала без малейшей уверенности в том, что поступаю правильно, зная, что жизнь — дар мимолетный и непрочный, что после нее ничего не остается и что другие понимают ее смысл иначе. Я действовала так несомненно оттого, что нечто меня обязывало к этому, совершенно так же, как инстинкт заставлял гусеницу плести свой кокон. Бедняжка должна начать свой кокон, даже в том случае, когда она не сможет его закончить, и все-таки работает с неизменным упорством. А если ей не удастся закончить свою работу, она умрет, не превратившись в бабочку, — без вознаграждения.

Пусть каждый из нас, дорогая Ганна, прядет свой кокон, не спрашивая зачем и почему...»

ЦЕНА УСПЕХА

Очень бледная, сильно похудевшая, с чуть осунувшимся лицом и белокурыми, тронутыми сединой волосами, женщина-физик входит утром в лабораторию на улице Кювье, снимает с крюка фартук из грубого холста, надевает поверх черного платья и принимается за работу.

В эту печальную пору своей жизни Мари, неведомо для самой себя, достигла совершенства во внешнем облике. Говорят, что люди приобретают с возрастом достойное их выражение лица. Как это верно в отношении мадам Кюри! В ранней юности она была только мила, студенткой и молодой женой — прелестна, а в зрелой, убитой горем женщине-ученом проступает изумительная красота. Ее славянское лицо, озаренное живым умом, не нуждалось в дополнительных украшениях: свежести и жизнерадостности. После сорока лет выражение печального мужества и все более и более обозначающаяся хрупкость становятся благородными особенностями ее красоты. Этот идеал красоты будет оставаться в глазах Ирен и Евы неизменным еще много лет, до того дня, когда они с ужасом заметят, что их мать превратилась в старуху.

Профессор, исследователь, директор лаборатории, Мари Кюри работает с огромным напряжением. Она продолжает преподавать в Севрской высшей нормальной школе. В Сорбонне, куда зачислена штатным профессором, она читает первый и в то время единственный в мире курс радиоактивности. Великие усилия! Если среднее образование во Франции казалось ей несовершенным, то высшее образование вызывало у нее искреннее восхищение. Ей хотелось бы сравняться с теми корифеями науки, которые некогда ослепили своим блеском студентку Маню Склодовскую.

Вскоре Мари задумывает издать курс своих лекций. В 1910 году она выпускает свой основной труд «Руководство по радиоактивности». Девятисот одиннадцати страниц едва хватило, чтобы свести воедино знания, приобретенные в этой области, начиная с того, еще недавнего дня, когда супруги Кюри заявили об открытии радия.

Мари не поместила своего портрета в начале книги. На контртитуле — фотография мужа. Двумя годами ранее эта фотография украшала книгу в шестьсот страниц — «Труды Пьера Кюри», приведенные в порядок и отредактированные Мари.

Вместо предисловия к книге вдова составила очерк научного пути Пьера. Она жалуется на несправедливость судьбы, на несвоевременность его смерти:

«Последние годы Пьера Кюри были очень плодотворны. Умственные способности его достигли своего полного развития, так же как и его искусство экспериментатора.

Перед ним открывалась новая эпоха жизни: при более действенных возможностях работы она стала бы естественным продолжением его удивительной научной карьеры. Судьба решила по-другому, и мы вынуждены склониться перед ее неумолимым приговором».

* * *

Число учеников мадам Кюри все время возрастает. Американский филантроп Эндрью Карнеги начиная с 1907 года представляет Мари ежегодные дотации, что дает возможность приютить на улице Кювье начинающих ученых. Они присоединяются к ассистентам, получающим жалованье от университета, и к сотрудникам-добровольцам. Среди последних выделяется своими способностями высокий юноша Морис Кюри — сын Жака Кюри. В этой лаборатории он начинает свою научную карьеру. Мари гордится успехами племянника и всю жизнь питает к нему чувство материнской нежности.

Всем коллективом из восьми—десяти сотрудников руководит вместе с Мари бывший сотрудник Пьера, верный друг и выдающийся ученый Андре Дебьерн.

Мари разработала программу новых исследований. И она выполняет ее с успехом, несмотря на какое-то общее недомогание. Она выделяет несколько дециграммов хлористого радия и вторично определяет атомный вес радия. Затем приступает к выделению чистого металлического радия. До этих пор всякий раз, когда она пыталась получить чистый радий, дело ограничивалось солями радия (хлористыми или бромистыми), представлявшими собой его единственно устойчивую форму. Андре Дебьерну и Мари удается выделить самый металл, не изменяющийся под воздействием воздуха. Это одна из самых тонких операций, которую до этого никто никогда не проводил.

Андре Дебьерн помогает Мари изучать радиоактивность полония. Наконец Мари, уже в самостоятельной работе, устанавливает способ дозировки радия путем измерения интенсивности его излучения.

Бурное развитие радиотерапии требует, чтобы мельчайшие частицы драгоценного вещества могли быть разделены с большой точностью. Там, где дело идет о тысячных долях миллиграмма, от весов мало толку. Мари предлагает «взвешивать» радиоактивные вещества на основании интенсивности их излучения. Одна доводит эту трудную технику до желанной цели

и создает у себя в лаборатории отдел дозиметрии, куда ученые, врачи и просто частные лица смогут отдавать для проверки радиоактивные вещества или минералы и получать сведения о количестве содержащегося в них радия.

Опубликовывая «Классификацию радиоэлементов» и «Таблицу радиоактивных констант», она заканчивает также работу общего характера: получение первого международного эталона радия. В этой легкой стеклянной трубочке, которую Мари с волнением запаяла собственноручно, содержится 21 миллиграмм чистого хлористого радия. Впоследствии этот эталон послужит образцом для эталонов на всех пяти континентах и будет торжественно водворен в Бюро мер и весов в Севре, под Парижем.

* * *

После совместной славы четы Кюри известность самой мадам Кюри взлетает и рассыпается огнями, как ракета. Дипломы на степень доктора honoris causa, члена-корреспондента иностранных академий наук заполняют ящики письменного стола в Со, но лауреатка не выставляет их напоказ и даже не составляет списка этих званий.

Франция отмечает своих выдающихся людей при их жизни только двумя способами: орденом Почетного легиона и званием академика. В 1910 году Мари предложили крест Почетного легиона, но, руководствуясь отношением Пьера к этому вопросу, она отказалась.

Почему же несколько месяцев спустя она не оказывает такого же сопротивления своим слишком рьяным коллегам, которые советуют ей выставить свою кандидатуру в Академию наук? Разве она забыла унизительное количество голосов, поданных за Пьера, и при его провале, и даже при его избрании? Разве она не знает, какая сеть интриг расставлена вокруг нее?

Да, не знает. А главное, будучи наивной иностранкой, она боится выказать себя притязательной, неблагодарной, если откажется от высокого отличия, предложенного ей вторым ее отечеством, коим она считает Францию.

У нее есть конкурент — выдающийся физик и убежденный католик Эдуард Бранли. Разгорается борьба между «кюристами» и «бранлистами», между вольнодумцами и церковниками, между защитниками и противниками такого сенсационного нововведения, как избрание женщины в члены Академии наук. Беспомощная, испуганная Мари присутствует при полемике, которой она не ожидала.

Крупнейшие ученые — Анри Пуанкаре, доктор Ру, Эмиль Пикар, профессор Липпманн, Бути и Дарбу — стоят за нее. Но другой лагерь организует могучее сопротивление.

«Женщины не могут быть членами Академии!» — восклицает в добродетельном негодовании академик Амага, оказавшийся восемь лет назад счастливым соперником Пьера Кюри. Добровольные осведомители, вопреки очевидным фактам, говорят католикам, что Мари еврейка, либо напоминают вольнодумцам, что она католичка. Двадцать третьего января 1911 года, в день выборов, президент, открывая заседание, говорит служителям:

— Пропускайте всех, кроме женщин.

Один из академиков, горячий сторонник мадам Кюри, но почти слепой, жалуется, что чуть было не проголосовал против нее, так как ему подсунули не тот избирательный бюллетень.

В четыре часа дня переволновавшиеся газетчики бегут писать о выборах разочарованные или торжествующие отчеты. Мари Кюри не хватило одного голоса для избрания.

Ее ассистенты и лаборанты с бо́льшим нетерпением, чем сама кандидатка, ждут на улице Кювье решение Академии. Уверенные в успехе, они с утра купили большой букет цветов и спрятали под столом, на котором стоят точные весы. Провал Мари ошеломил их. Механик Луи Раго с тяжелым чувством уничтожает ненужный теперь букет. Молодые физики подготавливают ободряющие фразы. Но говорить их не придется. Мари появляется из маленькой комнаты, служившей ей кабинетом. Ни слова о своем провале, не огорчившем ее нисколько.

В истории супругов Кюри, по-видимому, на долю других стран выпало исправлять неблаговидные поступки Франции. В декабре того же 1911 года Академия наук в Стокгольме, желая отметить блестящие работы, выполненные мадам Кюри после смерти мужа, присуждает ей Нобелевскую премию по химии. Никогда никто ни тогда, ни в последующие годы не был дважды удостоен такой награды.

Мари просит Броню сопровождать ее в Швецию. Берет с собой и старшую дочь Ирен. Девочка присутствует на торжественном заседании. Спустя двадцать четыре года она в том же зале получит ту же премию.

Кроме обычных приемов и обеда у короля для Мари устраивают и другие развлечения частного характера. Чарующее воспоминание осталось у нее от одного крестьянского праздника, когда сотни женщин, одетых в платья ярких цветов, украсили свои головы венками, на которых были укреплены зажженные свечи, пламя которых волновалось при каждом движении крестьянок.

В своем публичном докладе Мари посвящает все выпавшие на ее долю почести Пьеру Кюри.

«Прежде чем излагать тему моего доклада, я хочу напомнить, что открытие радия и полония было бы сделано Пьером Кюри вместе со мною. Пьеру Кюри наука обязана целым рядом основополагающих работ в области радиоактивности, выполненных им самим, или сообща со мной, или же в сотрудничестве со своими учениками.

Химическая работа, имевшая целью выделить радий в виде чистой соли и охарактеризовать его как элемент, была сделана лично мной, но тесно связана с нашим совместным творчеством. Мне думается, я точно истолкую мысль Академии наук, если скажу, что дарование мне столь высокого отличия определяется этим совместным творчеством и, следовательно, является почетной данью памяти Пьера Кюри».

* * *

Выдающееся открытие, мировая известность, две премии Нобеля вызывают у многих современников удивление личностью Мари, а у многих других — чувство зависти, вражды.

И шквал злобы внезапно налетает на Мари, стремясь ее уничтожить. Против этой сорокачетырехлетней женщины, такой хрупкой, измотанной трудом, предпринимается вероломный поход.

Мари, занятую мужской профессией, окружили друзья, приятели-мужчины. Она приобретает большое влияние на близких к ней людей, в особенности на одного из них. Чего же больше! И вот преданная науке женщина, всегда жившая достойно, скромно, а в последние годы еще и так несчастливо, обвиняется в разрушении чужих семейных уз, в том, что она совершенно открыто позорит имя, которое носит.

Не мое дело судить тех, кто дал сигнал к нападению, или рассказывать о том, с каким отчаянием и трагической неловкостью Мари старалась защититься. Оставим в покое и журналистов, имевших наглость оскорблять беззащитную женщину в то время, как ее травили и терзали анонимными письмами, публично грозили ей насильственными действиями, когда сама ее жизнь подвергалась опасности. Позже некоторые из них приходили к Мари просить у нее прощения, с раскаянием и слезами... Но преступление свершилось: Мари была на краю самоубийства, сумасшествия, лишилась сил, ее сразила тяжелая болезнь.

Вспомним лишь один, наименее убийственный, но наиболее грустный способ травли, которому подвергалась моя мать в этот тяжелый период своей жизни. Всякий раз, когда предоставлялся случай унизить эту единственную в своем роде женщину, как, например, в тягостные дни 1911 года не дать ученого звания, награды или забаллотировать на выборах в Академию, ей ставили в упрек ее происхождение: она была то полькой, то немкой, то русской, то еврейкой, вообще иностранкой, явившейся в Париж с целью нечистым способом захватить высокое положение.

Но всякий раз, когда дарования Мари Кюри приносили честь науке, всякий раз, когда другая страна чествовала Мари, ее осыпали неслыханными похвалами, и в тех же газетах, подписанных теми же редакторами, ее называли «посланницей Франции», «чистейшей представительницей французского гения», «национальной славой». Однако и в этом случае также несправедливо замалчивали ее польское происхождение, которым она гордилась.

Великие личности всегда подвергались яростному нападению завистников, стремившихся отыскать под бронею гения несовершенные человеческие существа. Если бы не страшная магнетическая сила известности, привлекавшая к Мари и симпатии, и ненависть, то никогда бы она не подвергалась ни критике, ни клевете. Теперь у нее были все основания ненавидеть свою славу.

* * *

Друзья познаются в беде. Мари получает сотни писем за подписью известных и неизвестных лиц, выражающих свое сожаление и возмущение по поводу нападок, которым она подвергалась. За нее сражаются Андре Дебьерн, месье и мадам Шаванн, замечательный друг — англичанка миссис Айртон и многие другие, в том числе ассистенты и ученики Мари. В университетском мире люди едва знакомые сами сближаются с ней, а такие, как математик Эмиль Борель и его жена, окружают Мари утонченным вниманием и заботой, увозят с собой в Италию на отдых, чтобы поддержать ее силы. Наряду с Юзефом, Броней и Элей, спешно приехавшими помочь ей, самым стойким защитником ее оказывается брат Пьера — Жак Кюри.

Все эти теплые чувства и участие несколько подбадривают Мари. Но ее физическая слабость с каждым днем дает себя знать все больше. Она уже не в состоянии ездить из Со в Па-

риж и снимает в Париже на набережной Бетюн, 36, квартиру, где рассчитывает поселиться с января 1912 года. Но не дотягивает до этой даты: 29 декабря ее, умирающую, обреченную, перевозят в больницу. После двух месяцев борьбы Мари побеждает свою болезнь, но сильно поврежденные почки требуют хирургического вмешательства. Узнав об этом, Мари просит отложить операцию до марта. Ей хочется присутствовать на физическом конгрессе в конце февраля.

Больную превосходно оперировал и вылечил крупный хирург Шарль Вальтер. Тем не менее ее здоровье остается подорванным надолго. Она до жалости худа, не может стоять прямо. Приступы лихорадочного состояния и боли в почках вынудили бы всякую другую женщину вести образ жизни инвалида.

Как загнанный зверь, она прячется от преследующих ее физических болей и человеческой низости. Сестра сняла для нее на имя Длусской дом в Брюнуа, под Парижем. Больная Мари живет там недолго, а затем на все мрачное время своего лечения поселяется в Тонон-ле-Бен инкогнито. Летом близкий друг миссис Айртон устраивает ее у себя в тихой вилле на морском побережье Англии. Там ее встретили с любовью и участием.

* * *

Как раз в ту пору, когда Мари особенно мрачно смотрит на свое будущее, она получает неожиданное предложение, оживившее и вместе с тем смутившее ее.

Царизм, поколебленный революцией 1905 года в России, пошел на некоторые уступки в отношении свободы слова, собраний, даже Варшава избавилась от ряда строгих ограничений. Одно сравнительно независимое и очень деятельное научное общество еще в 1911 году избрало Мари своим почетным членом. Несколько месяцев спустя польская интеллигенция задумывает большое начинание — создать в Варшаве лабораторию для изучения радиоактивности, предложить руководство ею мадам Кюри и таким образом вернуть навсегда в свое отечество самую выдающуюся в мире женщину.

В мае 1912 года к Мари явилась делегация польских профессоров, и среди них писатель Генрих Сенкевич, самый известный, самый популярный человек в Польше; не будучи знаком с Мари лично, он обращается к ней с призывом, где фразы, проникнутые глубоким уважением, соединяются с патетическими обращениями на «ты»:

«Глубокоуважаемая пани, соблаговоли перенести твою блестящую деятельность в нашу страну и в нашу столицу. Тебе известны причины, в силу которых наша наука пришла за последнее время в упадок. Мы теряем веру в наши умственные способности, мы падаем во мнении врагов и мы теряем надежду на наше будущее.

...Наш народ восхищается тобой, но он хотел бы видеть, что ты работаешь у себя на родине. Это пламенное желание всего народа. Имея тебя в Варшаве, мы почувствуем себя сильнее, мы вновь поднимем свои головы, склоненные под гнетом стольких бедствий. Да будет услышана наша просьба! Не отталкивай рук, протянутых к тебе».

Для человека менее совестливого какой удобный случай уехать из Парижа с блеском, повернуться спиной к клевете и злобе!

Но Мари никогда не следовала советам затаенной обиды. Она мучительно и честно обдумывает, на чьей стороне ее долг. Мысль вернуться к себе на родину и привлекает ее, и пугает. В том физическом состоянии, в каком находилась эта женщина, всякое решение страшит. Но было и другое обстоятельство: вопрос о постройке лаборатории, которой добивались Кюри, был решен. Бежать из Парижа значило превратить в ничто эту надежду, убить великую мечту.

Как раз в ту пору, когда Мари чувствовала себя неспособной ни к чему, ей приходилось разрываться пополам между двумя предназначениями, исключавшими друг друга. После мучительных колебаний она с душевной болью шлет в Варшаву отказ.

Мари, однако, не отказывается руководить издалека новой лабораторией под контролем своих двух лучших ассистентов-поляков — Яна Даниша и Людвика Ветенштейна.

В 1913 году Мари, еще больная, едет в Варшаву на открытие здания, построенного для исследований радиоактивности. Русские власти делают вид, что не знают о ее приезде: ни одно официальное лицо не принимает участия в торжественных чествованиях Мари. Прием на родной земле не стал от этого менее бурным. Первый раз в жизни Мари делает научный доклад на польском языке в переполненном зале.

«Прежде чем уехать, я стараюсь здесь оказать возможно больше услуг для пользы дела, — пишет она одному из своих коллег в Париже. — *В среду я делала публичный доклад. Кроме того, я была и еще буду на разных собраниях. Я столкнулась с добрыми намерениями, и надо извлечь из них пользу. Эта*

несчастная страна, изуродованная варварской, нелепой властью, делает очень много для того, чтобы отстоять свою национальную культуру. Возможно, что настанет день, когда угнетению придет конец, а до этих пор надо продержаться. Но что это за жизнь! В каких условиях!

Я снова повидала те места, с которыми связаны у меня воспоминания моего детства и юности. Я повидала и Вислу, побывала и на кладбище, на родных могилах. Эти поездки и сладостны и печальны, а воздержаться от них невозможно».

Один из торжественных приемов состоялся в Музее промышленности и сельского хозяйства, в том самом доме, где двадцать два года назад Мари ставила свои первые опыты по физике. На следующий день польские женщины дают банкет в честь Марии Склодовской-Кюри. Среди присутствующих сидит очень пожилая, седая дама и с восторгом смотрит на ученую — это пани Сикорская, директриса того пансиона, куда ходила Манюша, малютка с белокурыми косичками. Мари встает с места, проходит меж столов, украшенных цветами, подходит к старушке и, как в далекие дни раздачи наград, робко целует ее в обе щеки. Пани Сикорская плачет, а присутствующие восторженно аплодируют.

Здоровье мадам Кюри улучшилось. Летом 1913 года Мари пробует свои силы и, надев на спину рюкзак, путешествует пешком по Альпам. Ее сопровождают дочери с гувернанткой, а также известный физик Альберт Эйнштейн с сыном. Тесные дружеские узы уже несколько лет связывают двух гениальных ученых — мадам Кюри и Эйнштейна. Они в восторге друг от друга, между ними верная, искренняя дружба, они оба любят вести нескончаемые беседы по теоретическим вопросам физики то по-французски, то по-немецки.

В авангарде резвятся дети, совершающие это путешествие с огромным удовольствием. В арьергарде шествует вдохновенный, словоохотливый Эйнштейн и излагает спутнице свои заветные теории, которые Мари с ее исключительным математическим складом ума, одна из немногих ученых в Европе, способна понимать.

Ирен и Ева иногда ловят на лету отдельные фразы, которые им кажутся немного странными. Эйнштейн, занятый своими мыслями, незаметно для себя перепрыгивает через трещины, взбирается на отвесные скалы. Вдруг он останавливается, хватает Мари за руку и восклицает:

— Вы понимаете, мадам, мне просто необходимо знать, что происходит с пассажиром в лифте, если лифт падает вниз...

Такая трогательная озабоченность переживаниями пассажира вызывает безумный смех у юного поколения, не подозревающего, что это воображаемое падение лифта иллюстрирует специальную теорию относительности!

После коротких каникул Мари едет в Англию, оттуда в Брюссель, куда ее приглашают известные ученые. В Бирмингеме она получает еще одну почетную степень доктора наук. Против обыкновения Мари воспринимает это испытание доброжелательно и красочно описывает его Ирен:

«Меня одели в красивую красную мантию с зелеными отворотами, так же как и моих товарищей по несчастью, то есть тех ученых, которым предстояло получить степень доктора. Каждому из нас была посвящена коротенькая речь, прославляющая наши заслуги, затем вице-канцлер университета объявил каждому, что ему присуждена степень без защиты диссертации. После этого мы вышли, приняв участие в своего рода процессии, состоявшей из профессоров и докторов наук Бирмингемского университета, в костюмах, очень похожих на наши. Все это было довольно занятно. Я должна была дать торжественное обещание соблюдать законы и обычаи Бирмингемского университета!..»

Ирен в восторге и пишет матери:

«Дорогая, я уже вижу тебя в твоей красивой красной мантии с зелеными отворотами. Наверно, ты была очень красивой? Оставила ли ты костюм у себя или его дали тебе лишь на время церемонии?..»

Во Франции все бури забыты. Мари Кюри в зените славы. Уже два года архитектор Нено строит для нее Институт радия на отведенном для этого участке на улице Пьера Кюри.

Устроилось это дело не так просто. На другой день после смерти Кюри официальные власти предложили Мари открыть сбор средств на постройку лаборатории. Не желая использовать несчастный случай на улице Дофины для получения денег, вдова отказалась. Тогда власти впали в свое обычное летаргическое состояние. Но в 1909 году доктор Ру, директор Пастеровского института, великодушно предложил Мари Кюри построить специально для нее лабораторию. В таком случае она ушла бы из Сорбонны и стала бы звездой Пастеровского института.

Лица, возглавляющие Сорбоннский университет, насторожились... Отпустить Мари Кюри? Немыслимо! Надо во что бы то ни стало удержать ее в своем штате.

Соглашение между доктором Ру и проректором Лиаром положило конец пререканиям. На общие средства — по четыреста тысяч франков с каждой стороны — университет и Пастеровский институт создают Институт радия с двумя отделениями: лабораторию по изучению радиоактивности под руководством Мари Кюри и лабораторию биологических исследований и радиотерапии, где крупный ученый-медик профессор Клод Рего будет проводить изучение рака, а также лечение больных.

Оба учреждения будут работать сообща над развитием науки о радии.

И вот Мари расхаживает по строительным лесам на улице Пьера Кюри, рисует планы, спорит с архитектором. В голове этой седеющей женщины идеи самые новые, самые современные.

Конечно, она думает и о своей работе. Но более всего ей хочется построить такую лабораторию, которая могла бы служить с пользой еще тридцать, а то и пятьдесят лет, когда сама Мари будет только прахом. Она требует просторных помещений, больших окон, таких, чтобы солнце заливало светом залы для научных исследований. И как бы ни негодовали инженеры по поводу дорогого новшества, ей нужен лифт...

Что касается сада, самого дорогого предмета забот этой сельской жительницы, она проектирует его с любовью.

Не слушая веских доводов со стороны тех, кто хочет сэкономить место, она решительно защищает каждый метр земли, отделяющий одно здание от другого. Мари, как знаток, отбирает по одному молодые деревца, велит сажать их еще задолго до закладки фундамента. Своим сотрудникам конфиденциально говорит:

— Если я покупаю «мои» липы и платаны сейчас, то я выгадываю этим два года. Когда мы откроем лабораторию, деревца подрастут, и наши зеленые массивы будут во всей красе. Только ш-ш-ш! Я ничего не говорила месье Нено!

И в ее серых глазах вновь загорается веселый, юный огонек.

Мари сама, орудуя заступом, сажает ползучие розы вдоль еще не законченных стен и собственноручно утрамбовывает землю. Каждый день она их поливает. Когда Мари разгибается и стоит, овеваемая ветром, то кажется, будто она следит глазами за ростом каменных мертвых стен и живых деревьев.

Однажды утром к ней пришел бывший лаборант Пти. Этот добрый человек был сильно взволнован: в Школе физики стро-

ят новый лекционный зал. А бедный сарай, заплесневевший барак Пьера и Мари, будет снесен.

Вместе с этим скромным другом, свидетелем былых времен, Мари идет на улицу Ломон, чтобы сказать сараю последнее прости. Сарай еще цел. Из благоговения никто не прикасался к черной грифельной доске, еще хранившей несколько строк, написанных рукою Пьера; казалось, что дверь сейчас отворится, и в ней покажется высокий силуэт друга.

* * *

Улица Ломон, улица Кювье, улица Пьера Кюри... Три адреса, три этапа жизни. В этот день Мари, сама не замечая этого, мысленно прошла весь прекрасный и тяжкий путь своей научной жизни. Будущее рисовалось ей ясно. В только что отстроенном биологическом корпусе уже работают ассистенты профессора Рего, и по вечерам новое здание сверкает освещенными окнами. Через несколько месяцев придет очередь Мари — она оставит Школу физики и химии и перенесет свои приборы на улицу Пьера Кюри.

Поздно осуществилась мечта! Эта победа одержана, когда ушли и молодость, и силы, когда личное счастье покинуло ее. Но так ли это важно, если рядом с ней молодые, энергичные люди, если эти энтузиасты науки готовы бороться вместе с ней! Нет, еще не поздно!

По всем этажам небольшого белого здания насвистывают и поют стекольщики. Над входной дверью красуется высеченная по камню надпись:

«ИНСТИТУТ РАДИЯ — КОРПУС КЮРИ».

Глядя на крепкие стены и волнующую надпись, Мари вспоминает слова Пастера:

«Если завоевания для пользы человечества волнуют вашу душу; если вас поражают изумительные достижения науки, такие, как электрический телеграф, дагерротип, анестезия и целый ряд других замечательных открытий; если участие Вашего отечества в расцветании этих чудес пробуждает в вас чувство соревнования, то, заклинаю вас, проникнитесь интересом к тем священным обителям, которым дано выразительное наименование — лаборатории. Требуйте, чтобы их число умножалось, а сами они усовершенствовались. Это храмы будущего изобилия и благосостояния. В них человечество возвеличивается, обретает силу и становится лучше. Там оно учится читать произведения природы, творить ради прогресса и всеобщей гармонии, тогда как собственные деяния человечества очень часто проис-

ходят под влиянием варварства, фанатизма и инстинкта разрушения».

В чудесные июльские дни «храм будущего» на улице Пьера Кюри возведен.

Но это июль 1914 года.

ВОЙНА

Мари сняла на лето дачу в Бретани. Ирен и Ева уже там, с гувернанткой и кухаркой. Мать обещала приехать к ним 3 августа. Ее задерживает в Париже конец учебного года. Она привыкла оставаться на каникулы одна в пустой квартире на набережной Бетюн, отказываясь на это время даже от горничной. Целый день она в лаборатории, к себе возвращается поздно вечером; порядок в доме, весьма относительный, поддерживает консьержка.

Мари — дочерям, 1 августа 1914 года:

«Дорогие Ирен и Ева, дела, кажется, принимают дурной оборот: с минуты на минуту ждем мобилизации. Не знаю, смогу ли я уехать. Не тревожьтесь, будьте спокойны и мужественны. Если война не грянет, я выеду к вам в понедельник. В противном случае останусь здесь и перевезу вас сюда, как только представится возможность. Мы с тобой, Ирен, постараемся быть полезными».

2 августа:

«Дорогие мои девочки, мобилизация началась, и немцы вторглись во Францию без объявления войны. Какое-то время нам нелегко будет сноситься друг с другом.

Париж спокоен и не производит тяжелого впечатления, несмотря на грустное зрелище проходящих войск».

6 августа:

«Дорогая Ирен, мне очень хочется привезти вас сюда, но в настоящее время это невозможно. Запаситесь терпением. Немцы с боями проходят через Бельгию. Доблестная маленькая страна не согласилась беспрепятственно пропустить их... Французы, все до одного, твердо надеются, что схватка будет хоть и жестокая, но недолгая.

Польская земля в руках немцев. Что останется на ней после них? Я ничего не знаю о своих родных».

Вокруг Мари образовалась небывалая пустота. Все ее коллеги — работники лаборатории призваны в армию. С ней остались только механик Луи Раго, не мобилизованный из-за болезни сердца, и уборщица ростом с ноготок.

Полька забывает, что Франция для нее только отечество по избранию. Мать семейства не думает о том, как ей соединиться с дочерьми. Болезненное, хрупкое создание забывает о недугах, женщина-ученый откладывает до лучших времен незаконченные труды. Мари помышляет только об одном: служить своей второй родине. В грозном испытании еще раз проявляется ее чуткость, ее инициативность.

Она не приемлет простой выход: запереть лабораторию и надеть на себя, как это делали в то время многие отважные француженки, белую косынку сестры милосердия. Немедленно ознакомившись с организацией санитарной службы, она находит в ней пробел, который, по-видимому, мало беспокоит начальство, но ей кажется трагичным: полевые госпитали почти совсем лишены рентгеновских установок!

Как известно, Х-лучи, открытые в 1895 году Рентгеном, позволяют исследовать, не прибегая к вскрытию, внутренность человека, «увидеть» и сфотографировать его кости и органы. В 1914 году во Франции имелось еще очень мало рентгеновских аппаратов, да и те находились в руках частных врачей-рентгенологов. Военно-санитарная служба предусмотрела на время войны оборудование госпиталей рентгеновскими аппаратами только в некоторых крупных центрах, признанных достойными подобной роскоши. Вот и все.

Но роскошь ли — волшебный прибор, позволяющий точно определить местонахождение засевшей в ране пули или осколка снаряда?

Мари никогда не работала с рентгеновскими лучами, но в Сорбонне она каждый год посвящала им несколько лекций. Она отлично разбиралась в этом вопросе.

Поэтому ей совершенно ясно, чего потребует эта ужасная бойня: нужно без промедления создавать одну рентгеновскую установку за другой...

Произведя разведку, она бросается вперед. За несколько часов составлена опись аппаратов, имеющихся в лабораториях университета, включая и свой собственный, и опрошены все конструкторы. Все пригодное рентгеновское оборудование собрано и затем распределено по госпиталям Парижского округа.

Для обслуживания аппаратов завербованы добровольцы из профессоров, инженеров, ученых.

Но как оказывать помощь раненым, которые с ужасающей быстротой стекаются в еще не оборудованные для рентгеноскопии полевые госпитали? Некоторые из госпиталей не имеют даже источника электроэнергии для питания рентгеновских аппаратов...

Мадам Кюри находит выход. На средства Союза женщин Франции она создает первый «радиологический автомобиль». В обыкновенном автомобиле Мари размещает рентгеновский аппарат и динамо, которое приводится в действие автомобильным мотором и дает необходимый ток. С августа 1914 года эта передвижная станция объезжает госпиталь за госпиталем. Во время битвы на Марне одна эта установка даст возможность подвергнуть рентгеновскому обследованию всех раненых, эвакуированных в тыл.

* * *

Быстрое продвижение немцев ставит перед Мари вопрос совести: ехать ли ей в Бретань к дочерям или оставаться в Париже? А в случае угрозы столице со стороны захватчиков должна ли она уходить вместе с отступающими санитарными службами?

Мари спокойно взвешивает все за и против и принимает решение: что бы ни случилось, она останется в Париже. Ее удерживает в Париже не только предпринятое ею благое начинание. Она думает о лаборатории, о точных приборах, хранящихся на улице Кювье, о новых кабинетах на улице Пьера Кюри. «Если я буду там, — убеждает она сама себя, — немцы не осмелятся, пожалуй, разграбить их. Если же я уеду, все пропадет».

Она рассуждает так, несколько лицемеря, чтобы найти логическое оправдание инстинкту, который руководит ею. Упрямой, стойкой Мари не по душе бегство. Трусить — значит играть на руку врагу. Ни за что на свете не доставила бы она удовольствие победителю войти в брошенную лабораторию Кюри. Она вверяет своему шурину Жаку дочерей, подготовив их к разлуке.

Мари — Ирен, 28 августа 1914 года:

«...Предполагается возможность блокады Парижа, в таком случае мы можем оказаться отрезанными друг от друга. Если это произойдет, переноси разлуку мужественно, так как наши

личные желания ничто в той большой игре, которая идет сейчас Ты должна чувствовать свою ответственность за сестру, заботиться о ней, если наша разлука продлится дольше, чем я думаю».

29 августа:

«Знаешь ли, дорогая Ирен, нет никаких оснований опасаться, что мы будем отрезаны друг от друга, но мне очень хотелось сказать тебе, что нужно быть готовыми ко всяким переменам обстоятельств... Париж настолько близок к границе, что немцы могут подойти к нему. Это не мешает нам надеяться на окончательную победу Франции. Итак, мужество и уверенность! Не забывай, что ты старшая сестра, пришло время отнестись к этой роли со всей серьезностью».

31 августа:

«Только что получила твое милое письмо от субботы, и мне, чуть не до слез, так захотелось поцеловать тебя. Дела идут не очень хорошо, и на душе у всех у нас тяжело и неспокойно. Нам потребуется большое мужество, и я надеюсь, что оно найдется. Мы должны твердо верить, что после дурных времен вернется хорошая пора. В надежде на это я прижимаю к своему сердцу моих горячо любимых дочек».

Если Мари так спокойно готовится не покидать Парижа и в случае его окружения, бомбардировки или даже оккупации, то только потому, что в нем находится одно сокровище, которое ей хочется спасти от захватчиков: грамм радия, хранящийся в лаборатории. Ни одному посланцу не дерзнула бы мадам Кюри доверить драгоценную частицу, и она решает сама отвезти ее в Бордо.

И вот Мари уже в битком набитом вагоне поезда, эвакуирующего официальных лиц и чиновников. На ней плащ из черного альпага, в руках небольшой портплед со спальными вещами, а среди них... грамм радия, тяжелый ларчик, где под защитой из свинца хранятся крохотные пробирки. Каким-то чудом мадам Кюри находит свободный краешек скамьи и ставит около себя тяжелый тюк.

Намеренно не слушая пессимистические вагонные разговоры, она смотрит в окно на залитую солнцем равнину. Вдоль железнодорожного полотна стелется шоссе, а по нему на запад бегут бесконечной вереницей автомобили.

Бордо наводнен беженцами. Носильщики, такси, номер в гостинице — все в одинаковой степени недоступно. Уже смеркается, а Мари все еще стоит на вокзальной площади, подле своей ноши, которую не в силах поднять. Ей кажется забавным положение, в какое она попала. Уж не придется ли ей до утра стоять на часах у тюка ценою в миллион франков? Нет. Один из спутников Мари, чиновник министерства, узнал ее и пришел на выручку. Этот спаситель предоставил ей комнату в частной квартире. Радий спасен. Утром Мари помещает в сейф свое тяжелое сокровище и, наконец освободившись, едет обратно в Париж.

Поездка в Бордо осталась незамеченной, но отъезд в столицу вызывает оживленные толки. «Дама, возвращающаяся туда», — вокруг такого чуда скопляется народ. «Дама» остерегается разоблачить себя, но более разговорчивая, чем обычно, старается смягчить тревожные слухи и спокойно уверяет, что Париж «устоит», что его жителям ничего не угрожает...

Воинский состав, куда пробралась эта единственная «штатская», движется невероятно медленно. Не один раз он останавливается среди голого поля на целые часы. Какой-то солдат дает Мари большой ломоть хлеба из своего вещевого мешка. Со вчерашнего утра, с той минуты, как она вышла из лаборатории, у нее не было времени поесть. Она умирает с голоду.

В мягком свете первых дней сентября Париж, затихший под угрозой, приобретает в ее глазах особую недосягаемую доселе красоту и ценность. Разве можно лишиться такой жемчужины? Но неожиданно какая-то весть разливается по улицам Парижа бушующим прибоем. Мадам Кюри, покрытая дорожной пылью, спешит узнать, в чем дело: немецкое наступление сломлено, началась битва на Марне!

Мари встречается со своими друзьями Аппелем и Борелем. Она намерена теперь же предложить свои услуги основанной ими санитарной организации «Национальная помощь». Поль Аппель, председатель этого учреждения, проникается жалостью к бледной измученной женщине. Он заставляет Мари прилечь на кушетку и упрашивает ее дать себе отдых на несколько дней. Мари не слушает. Она жаждет действия, действия! «Лежа на кушетке, бледная, с широко раскрытыми глазами, она была одно горение», — расскажет позднее Аппель.

Мари — Ирен, 6 сентября 1914 г.:

«...Линия фронта сейчас меняется: неприятель как будто отходит от Парижа. Мы твердо надеемся, мы верим в победный конец.

Засади юного Фернана Шаванна за решение задач по физике. Если вам трудно работать во имя настоящего, работайте во имя будущего Франции. Увы, после этой войны не станет многих, их надо будет заменять. Как можно прилежней занимайтесь физикой, математикой».

Париж спасен. Мари разрешает вернуться дочерям, которые решительно протестовали против эвакуации. Ева возвращается в коллеж, а Ирен сдает экзамен на звание медицинской сестры.

* * *

Мадам Кюри предугадала все: что война будет затяжной, кровопролитной, что все чаще и чаще придется оперировать раненых на месте, что хирурги и рентгенологи должны будут находиться на своем посту в полевых госпиталях и, наконец, что автомобили с рентгеновскими установками окажут неоценимые услуги.

Один за другим оборудует Мари у себя в лаборатории эти автомобили, прозванные на фронте «кюричками», не обращая внимания на равнодушие и глухую враждебность всяких бюрократов. Наша «трусиха» стала вдруг требовательной и властной особой. Она тормошит беспечных чиновников, требует у них пропуска, наряды, визы, а те чинят препятствия, потрясают уставами... «Пусть штатские не лезут к нам!» — так рассуждают многие из них. Но Мари требует, спорит, настаивает на своем.

Она беспощадно «грабит» и частных лиц. Великодушные женщины, вроде маркизы де Ганэй и принцессы Мюрат, дарят или одалживают ей свои лимузины, а она сразу превращает их в рентгеновские передвижные установки.

«Я верну вам автомобиль после войны, — с чистосердечной уверенностью обещает она. — Право, я вам верну его, если он уцелеет».

Из двадцати автомобилей, оборудованных таким образом, Мари один оставляет для себя: это «рено» с тупым капотом и кузовом в виде товарной фуры. Разъезжая в этом ящике защитного цвета с красным крестом и французским флагом, нарисованными прямо на кузове, она ведет жизнь былых вольных завоевателей.

Телеграмма, телефонный звонок уведомляют мадам Кюри о том, что полевому госпиталю, переполненному ранеными, требуется немедленно рентгеновская установка. Мари проверяет оборудование. Пока солдат-шофер заправляет машину горючим, она идет за своим темным плащом, дорожной шляпой, круглой, мягкой, утратившей цвет и форму, берет свое имущество: саквояж из желтой кожи, весь в трещинах и царапинах. Садится

рядом с шофером на открытое для ветра сиденье, и вскоре доблестный автомобиль несется на полной скорости, пятьдесят километров в час, по направлению к Амьену, Ипру, Вердену.

После неоднократных остановок, долгих объяснений с недоверчивыми часовыми они добираются до госпиталя. За работу! Мадам Кюри поспешно выбирает одну палату под рентгеновский кабинет и велит принести ящики. Распаковывает приборы, монтирует съемные части. Раскручивает провод, который соединяет аппарат с динамо, оставшимся в машине. Один знак шоферу — и Мари проверяет силу тока. Перед началом исследования она готовит рентгеновский экран, раскладывает перчатки, защитные очки, специальные карандаши для разметок, свинцовую проволоку, предназначенную для выявления места попадания в тело осколков, чтобы все было под рукой. Она затемняет кабинет, закрывая окна черными шторами или же попросту больничными одеялами. Рядом, в импровизированной фотографической лаборатории, помещаются бачки, в которых будут проявляться пластинки. Не прошло и получаса, как приехала Мари в госпиталь, а уже все готово.

Начинается печальное шествие. Хирург и Мари запираются в темной комнате, где работающие приборы окружены таинственным световым ореолом. Приносят носилки за носилками со страждущими человеческими телами. Мари регулирует аппарат, наведенный на израненную часть тела, чтобы получить четкое изображение. Вырисовываются очертания костей и органов, между ними появляется какой-то темный предмет: пуля, осколок снаряда.

Ассистент записывает наблюдения врача. Мари снимает копию с изображения на экране или делает снимок, которым хирург будет руководствоваться при извлечении осколка. Бывают даже случаи, что операция производится тут же «под рентгеном», и тогда хирург сам видит на рентгеновском экране, как в ране движется его пинцет, обходя кость, чтобы достать засевший осколок.

Десять раненых, пятьдесят, сто... Проходят часы, а иногда и дни. Все время, пока есть пациенты, Мари живет в темной комнате. Прежде чем покинуть госпиталь, она обдумывает, как можно оборудовать в нем стационарную рентгеновскую установку. Наконец, упаковав оборудование, она занимает место в волшебном фургоне и возвращается в Париж.

Вскоре госпиталь увидит ее снова. Она взбудоражила всех и вся, чтобы раздобыть аппарат, и приезжает установить его. Ее сопровождает лаборант, найденный неизвестно где и неведомо как обученный. В дальнейшем госпиталь, оснащенный рентгеновской установкой, обойдется и без ее помощи.

Кроме двадцати автомобилей Мари оборудовала таким образом двести рентгеновских кабинетов. Более миллиона раненых прошли через эти двести двадцать стационарных и передвижных установок, созданных и оборудованных трудами мадам Кюри.

Ей помогают не только ее знания и мужество: Мари в высшей степени одарена способностью выходить из затруднительных положений, она в совершенстве владеет тем замечательным методом, который в войну окрестили системой «выверга». Нет ни одного свободного шофера? Она садится за руль своего «рено» и с грехом пополам ведет его по разбитым дорогам. Можно видеть, как в стужу она изо всех сил вертит рукоятку, заводя заупрямившийся мотор. Можно видеть, как она нажимает на домкрат, чтобы переменить шину, или же, сосредоточенно нахмурив брови, осторожными движениями ученого чистит засорившийся карбюратор. А если надо перевезти приборы поездом? Она сама грузит их в багажный вагон. По прибытии на место назначения она же все сгружает, распаковывает, следит, чтобы ничего не потерялось.

Равнодушная к комфорту, Мари не требует ни особого внимания к себе, ни привилегий. Вряд ли какая-нибудь другая знаменитая женщина причиняла бы так мало беспокойства. Она забывает о завтраке и обеде, спит, где придется — в комнатушке медицинской сестры или же, как это было в гугстедском госпитале, под открытым небом, в походной палатке.

Студентка, когда-то мужественно переносившая холод в мансарде, легко превратилась в солдата мировой войны.

Мари — Полю Ланжевену, 1 января 1915 года:

«День моего отъезда еще не установлен, но он не за горами. Я получила письмо с сообщением, что рентгеновский автомобиль, действовавший в районе Сен-Поля, потерпел аварию. Другими словами, весь Север остался без рентгеновской аппаратуры. Я хлопочу, чтобы ускорить свой отъезд. Не имея сейчас возможности служить своей несчастной отчизне, залитой кровью после ста с лишним лет страданий, я решила отдать все силы служению своей второй родине».

Ирен и Ева теперь живут почти как дочери солдата. Мать берет «увольнительную» лишь тогда, когда почечные колики приковывают ее на несколько дней к постели. Если Мари дома, значит она больна. Если Мари здорова — она в Сюиппе, в Реймсе, в Кале, в Поперинге, в одном из трехсот — четырехсот французских или бельгийских госпиталей, в которых она пере-

бывала за время военных действий. Странные эти волнующие адреса, куда Ева посылает письма, сообщая матери о своих успехах по истории или сочинению.

«Мадам Кюри, Отель Благородной Розы, Фурне».

«Мадам Кюри, подсобный госпиталь 11, Мюрвилар, Верхний Рейн».

«Мадам Кюри, госпиталь 112...»

Почтовые открытки, нацарапанные наспех самой мадам Кюри на остановках, приносят в Париж лаконичные вести.

20 января 1915 года:

«Дорогие дети, мы прибыли в Амьен, где переночевали. У нас лопнули только две шины. Привет всем.— Мэ».

В тот же день:

«Прибыли в Абвиль. Жан Перрен наскочил со своим автомобилем на дерево. К счастью, отделался легко. Продолжаем путь на Булонь.— Мэ».

24 января 1915 года:

«Дорогая Ирен, после различных происшествий прибыли в Поперинге, но не можем работать, пока кое-что не наладим в госпитале. Хотим построить гараж для автомобиля и отгородить часть большой палаты под рентгеновский кабинет. Все это меня задерживает, но иначе нельзя.

Немецкие самолеты сбросили бомбы на Дюнкерк, несколько человек убито, но население нисколько не напугано. То же бывает и в Поперинге, но не так часто. Почти все время грохочут пушки. Дождей нет, слегка подморозило. В госпитале меня приняли чрезвычайно радушно: отвели хорошую комнату и топят печь. Здесь лучше, чем в Фурне. Питаюсь в госпитале. Целую тебя нежно.— Мэ».

Май 1915 года:

«Дорогая, мне пришлось восемь часов прождать поезда в Шалоне, и я приехала в Верден только сегодня в пять часов утра. Автомобиль тоже прибыл. Устраиваемся.— Мэ».

В один апрельский вечер 1915 года Мари, вернувшись домой, была несколько бледнее обычного и не такая оживленная, как всегда. Не отвечая на тревожные вопросы близких, она

заперлась у себя в комнате. Она была не в духе. Не в духе потому, что на обратном пути из форжского госпиталя шофер резко крутанул руль, и автомобиль, перевернувшись, свалился в кювет. Мари, которая сидела, кое-как примостившись между приборами, засыпало лавиной ящиков. Она была крайне раздосадована. Ее беспокоила не боль от ушиба, а мысль — и это было первое, о чем она подумала,— что рентгеновские снимки, вероятно, разбились вдребезги. Тем не менее, лежа под грудой ящиков, она не могла удержаться от смеха. Ее молодой шофер, потеряв присутствие духа и способность рассуждать, бегал вокруг разбитого автомобиля и вполголоса справлялся:

— Мадам! Мадам! Вы еще живы?

Не сказав никому об этом приключении, она заперлась. чтобы подлечить раны, впрочем легкие. Газетная статья в отделе происшествий и окровавленные бинты, найденные в туалетной комнате, выдали ее. Но Мари уже снова уезжает со своим желтым саквояжем, круглой шляпкой и с бумажником в кармане, с большим мужским бумажником из черной кожи, который она купила «для войны».

В 1918 году она забудет этот бумажник в ящике стола, откуда его извлекут только в 1934 году, после ее смерти. В нем найдут пропуск на имя «Мадам Кюри, начальника Радиологической службы»; бумагу из отдела Государственного секретариата артиллерии и боеприпасов — «разрешается мадам Кюри пользоваться военными автомобилями»; около дюжины командировочных удостоверений «особого назначения», выданных Союзом женщин Франции; четыре фотографии: одна — Мари, одна — ее отца, две — ее матери, г-жи Склодовской; два пустых мешочка из-под семян, несомненно посеянных между двумя поездками на клумбах лаборатории. На мешочках надпись: «Розмарин лекарственный. Время посева с апреля по июнь».

У мадам Кюри не было никакого специального костюма для такого необыкновенного образа жизни. Старые ее платья украсились повязкой Красного Креста, кое-как приколотой булавкой к рукаву. Она никогда не носит косынки: в госпитале Мари работает с непокрытой головой, в простом белом фартуке.

«Ирен сказала мне, что Вы находитесь в окрестностях Вердена,— писал ей из Вокуа ее племянник Морис Кюри, артиллерист.— *Я сую нос во все проходящие по дороге санитарные машины, но всегда вижу только кепи, густо расшитые галунами, а я не думаю, чтобы военные власти захотели упорядочить состояние Вашего головного убора, не предусмотренного уставом...»*

У «кочевницы» совершенно нет времени заниматься домашними делами. Ирен и Ева вяжут фуфайки для подшефных фронтовиков и отмечают на большой карте, висящей в столовой, ход боевых действий, вкалывая маленькие флажки в стратегические пункты. Мари требует, чтобы дети отдохнули на каникулах без нее, но на этом и кончается ее опека. Она не запрещает Ирен и Еве при воздушных налетах ночью оставаться в постели, вместо того чтобы уходить в погреб и там дрожать от страха. Не запрещает им в 1916 году поступить в бригаду бретонских жнецов, чтобы заменить мобилизованных мужчин, и целые две недели вязать снопы или работать на молотилке; не запрещает в 1918 году остаться в Париже при обстреле города «бертой». Она не стала бы любить слишком осторожных, слишком прихотливых дочерей.

Ева еще не может приносить пользу, но Ирен в свои семнадцать лет посвятила себя радиологии, не отказавшись при этом от сдачи экзамена на степень бакалавра и от слушания лекций в Сорбонне. Вначале она была лаборанткой у своей матери, затем стала получать самостоятельные задания. Мари посылает ее в госпитали и считает естественным, что Ирен, на которую возложены слишком ответственные для ее юного возраста поручения, находится в действующих армиях в Фурне, Гугстеде, Амьене. Тесная дружба связывает мадам Кюри с дочерью-подростком. Полька уже не одинока. Она может теперь беседовать по-польски о своей работе и личных делах с сотрудницей, с подругой.

В первые месяцы войны она советуется с Ирен по очень важному вопросу:

— Правительство просит частных лиц сдать ему свое золото, скоро будет выпущен заем,— говорит она дочери.— У меня есть немного золота, и я хочу вручить его государству. К этому я присоединю свои медали, которые мне совсем не нужны. Есть у меня и еще кое-что. По лености я оставила вторую Нобелевскую премию — наш самый верный капитал — в Стокгольме, в шведских кронах. Я бы хотела репатриировать эти деньги и вложить их в военный заем. Это нужно государству. Но я не строю никаких иллюзий: деньги наши, по всей вероятности, пропадут. Поэтому я не хочу совершить такую «глупость» без твоего согласия.

Шведские кроны, обмененные на франки, становятся французской государственной рентой, «национальной подпиской», «добровольной контрибуцией»... и понемногу распыляются, как и предвидела Мари. Мадам Кюри сдает свое золото во Французский банк. Служащий, принимавший его, берет у нее монеты, но с негодованием отказывается отправить в переплавку

знаменитые медали. Мари нисколько не чувствует себя польщенной. Она считает подобный фетишизм нелепостью и, пожав плечами, уносит коллекцию своих наград в лабораторию.

* * *

Иногда, если выпадет свободный час, мадам Кюри садится на скамью в саду на улице Пьера Кюри, где растут ее любимые липы. Смотрит на опустевшее новое здание Института радия. Думает о своих сотрудниках, ныне фронтовиках, о своем любимом ассистенте, геройски погибшем поляке Яне Данише. Она вздыхает. Когда же кончится этот кровавый кошмар? И когда можно будет снова взяться за научную работу?

Мари не томится в бесплодных мечтах и, не переставая воевать, готовится к мирной жизни. Она находит средства перевезти лабораторию с улицы Кювье на улицу Пьера Кюри. Упаковывая, нагружая и разгружая, ведя свой радиологический автомобиль от одного здания к другому, она выполняет труд муравья, который вскоре дает результат: новая лаборатория готова! Мадам Кюри завершает свое дело, защитив внушительным укреплением из мешков с песком пристройку, укрывшую радиоактивные вещества. В начале 1915 года она перевезла из Бордо свой запас радия и отдала его на службу стране.

Радий, подобно рентгеновским лучам, оказывает на человеческий организм различные терапевтические действия. Мари посвящает свой грамм радия «службе эманации». Каждую неделю она посылает пробирки с эманацией радия в различные госпитали. Они способствуют лечению неудачно зарубцевавшихся ран и многих повреждений кожи.

Радиологические автомобили, рентгеновские установки, служба эманации... Этого недостаточно. Мари заботит отсутствие лаборантов Она предлагает правительству организовать и обеспечить подготовку специалистов по радиологии. Вскоре около двадцати слушателей первого курса собираются в Институте радия. В программе теоретические занятия по электричеству и рентгеновским лучам, практические занятия по анатомии. Преподаватели — мадам Кюри, Ирен Кюри и еще одна очаровательная женщина-ученый, мадемуазель Клейн.

Сто пятьдесят будущих сестер-радиологов, которых Мари обучает с 1916 по 1918 год, набраны отовсюду. Многие из них почти совсем не имеют образования. Престиж мадам Кюри вначале отпугивает учениц, но сердечный прием, оказанный им ученой-физиком, покоряет девушек. Мари обладает даром делать науку доступной невежественным умам. Она так высоко ценит хорошо выполненную работу, что когда ученице — бывшей при-

слуге — удается безукоризненно проявить рентгеновскую пленку, это ее радует, как личный успех.

Союзники Франции, в свою очередь, обращаются к знаниям мадам Кюри. Начиная с 1914 года она часто посещает бельгийские госпитали. В 1918 году она командирована в Северную Италию, где изучает местные радиоактивные источники. Немного позднее она примет в своей лаборатории человек двадцать солдат американского экспедиционного корпуса, которых ознакомит с явлениями радиоактивности.

* * *

Новая специальность сталкивает Мари с самыми различными людьми. Некоторые хирурги, которые понимают пользу X-лучей, считают мадам Кюри ценным сотрудником и крупным ученым. Другие, более невежественные, относятся к ее приборам с большим недоверием. Но после нескольких просвечиваний они убеждаются, что это дело стоящее, и едва верят своим глазам, когда находят под скальпелем, в месте, точно указанном Мари, осколок снаряда, который они тщетно искали в израненном теле. И, сразу уверовав, они готовы видеть в этом чудо.

Элегантно одетые женщины, «ангелы-хранители» госпиталей, по виду определив положение этой скромно одетой особы, не считающей нужным назвать себя, порою обращаются с ней, как с мелкой служащей. Мари только забавляет их ошибка.

Мадам Кюри, подчас сдержанная и недоступная, бывает очаровательной в обращении с ранеными. Крестьяне, рабочие пугаются рентгеновского аппарата и спрашивают, не будет ли им больно при просвечивании. Мари успокаивает: «Вот увидите; это все равно, что сфотографироваться». Ей это удается вполне, этому способствует красивый тембр ее голоса, легкие прикосновения рук, большое терпение и огромное, благоговейное уважение к человеческой жизни. Чтобы спасти человека, избавить его от ампутации, от увечья, она готова на самые тяжкие усилия. Он не отступает от больного, пока не использованы все возможности.

Мари никогда не говорит о трудностях и риске, которым подвергается. Не говорит ни о несказанном утомлении, ни о смертельной опасности, ни об убийственном действии рентгеновских лучей и радия на ее слабый организм. Перед товарищами у нее беззаботное, даже веселое лицо, более веселое, чем когда-либо прежде. Война предписала ей хорошее настроение как лучшую личину мужества.

А на душе у нее невесело. Ее гложет глубокая тоска по прерванной работе, по родным в Польше, от которых нет из-

вестий, и ужас от охватившей весь мир бессмысленной жестокости... Воспоминания о тысячах искромсанных тел, о стонах и страданиях надолго омрачат ей жизнь.

Пушечный салют в знак перемирия застает Мари в лаборатории. Ей хочется украсить флагами Институт радия, и она вместе с сотрудницей Мартой Клейн бежит искать по магазинам французские флаги. Их нигде нет. Тогда она покупает три отреза ткани нужных цветов, а уборщица, мадам Бардине, наспех сшивает их и вывешивает на окнах. Мари трепещет от волнения и радости и не может усидеть на месте. Она и мадемуазель Клейн садятся в старый радиологический автомобиль, измятый, изрубцованный за эти четыре года всяких приключений. Лаборант Школы физики и химии садится за руль и ведет машину наудачу по улицам, в водовороте счастливого и торжествующего народа. На площади Согласия толпа не дает проехать. Люди влезают на крылья «рено», взбираются на крышу. Когда же автомобиль вновь трогается в путь, то уже везет на себе десяток пассажиров, которые и просидят на импровизированном империале все утро.

* * *

У Мари не одна, а две победы. Польша возрождается из пепла после полуторавекового рабства и становится независимой.

Урожденная пани Склодовская вспоминает свое детство под ярмом царизма, свою юношескую борьбу. Не зря она когда-то прибегала к скрытности и хитрости с царскими чиновниками, не зря вместе с товарищами тайком посещала «Вольный университет», собирающийся в бедных комнатках Варшавы, и учила грамоте крестьянских детей в Щуках... Патриотическая мечта, во имя которой она много лет назад чуть было не пожертвовала своим призванием и даже любовью Пьера Кюри, на глазах становится реальностью.

Мари — Юзефу Склодовскому, 31 января 1920 года:

«Итак, «мы, рожденные в рабстве, в цепях с колыбели» *, *увидели то, о чем мечтали: возрождение нашей страны. Мы не надеялись дожить до этой минуты, мы думали, что ее увидят разве что наши дети,— и эта минута наступила. Правда, страна наша дорого заплатила за это счастье, и ей придется еще расплачиваться за него. Но можно ли сравнивать сегодняшние*

---

* **Адам Мицкевич.** Пан Тадеуш.

тучки с горечью и унынием, которые мы испытали бы после войны, останься Польша по-прежнему в цепях и раздробленной на кусочки? Я, так же как и ты, верю в будущее».

Эта надежда, эта мечта утешает Мари Кюри в ее личных невзгодах. Война помешала ее научной работе. Война подорвала ее здоровье. Война разорила ее. Деньги, которые она вручила государству, растаяли, как снег на солнце, и, задумываясь над своим материальным положением, она грустит. Ей за пятьдесят, и она почти нищая. У нее только профессорское жалованье — двадцать тысяч в год. Хватит ли у нее сил еще несколько лет, до получения пенсии, совмещать преподавательскую работу с директорством в лаборатории? Не оставляя своей новой военной профессии (еще два года предстояло учащимся слушать курс радиологии в Институте радия), Мари вновь отдается страсти всей своей жизни — физике. Мари уговаривают написать книгу «Радиология и война». В ней она превозносит благо научных открытий, их общечеловеческую ценность. Трагический опыт войны дал ей новые основания для преклонения перед наукой.

«История военной радиологии дает разительный пример неожиданного размаха, какой может получить в определенных условиях практическое приложение чисто научных открытий.

В довоенное время X-лучи имели весьма ограниченное применение. Великая катастрофа, разразившаяся над человечеством, вызвала такое страшное количество человеческих жертв, что появилось горячее желание спасти все, что только можно, и употребить для этого все средства, способные сберечь и защитить человеческие жизни.

И тотчас, как мы видим, рождается стремление взять от X-лучей предельно все, чем они могут быть полезны. Казавшееся трудным оказывается легким и сразу получает нужное решение. Оборудование, штат — все множится, как по волшебству: люди несведущие обучаются, а равнодушные отдаются делу. Так научное открытие в конце концов завладевает своим настоящим полем действия. Такой же путь развития прошла и радиотерапия, то есть применение в медицине радиоактивных веществ.

Какой же вывод мы можем сделать из этого неожиданного успеха, выпавшего на долю новым видам излучений, открытым в конце XIX столетия? По-моему, он должен вселить в нас еще большее доверие к бескорыстным исследованиям и усилить наше восхищение и преклонение перед наукой».

В этом сухом научном произведении невозможно уловить все значение личной инициативы Мари Кюри. Сколько в нем дьявольски безличных формул, сколько упорства в желании стушеваться, остаться в тени! Мари не враждебна своему «я», оно просто не существует. Кажется, что вся ее работа сделана какими-то неведомыми существами, которых она называет то «лечебными учреждениями», то просто «они» или же в крайнем случае «мы». Само открытие радия относится к «новым видам излучений, открытым в конце XIX столетия». А если мадам Кюри вынуждена говорить о себе, она пытается слиться с безымянной толпой:

«Изъявив желание, как и многие другие, послужить делу национальной обороны в пережитые нами годы, я сразу обратилась к области радиологии...»

И все же одна мелочь доказывает нам, что Мари отлично сознает, какую помощь оказала она Франции. Когда-то она отказалась — и впоследствии снова откажется — от ордена Почетного легиона. Но близким ее известно, что если бы в 1918 году ее представили к награде «За военные заслуги», это был бы единственный орден, который она бы приняла.

Ее избавили от необходимости поступиться своими правилами. Многие «дамы» получили знаки отличия, орденские розетки... Моя мать — ничего. Несколько недель спустя роль, сыгранная ею в великой трагедии, стерлась у всех из памяти. И, несмотря на ее исключительные заслуги, никто не подумал приколоть солдатский крестик к платью мадам Кюри.

МИР. КАНИКУЛЫ В ЛАРКУЕСТЕ

Мир снова обрел покой. Мари все с меньшим доверием следит издали за теми, кто налаживает мир.

Мари — участница мировой войны — не стала ни милитаристом, ни антимилитаристом. Это чистейшей воды ученая, и в 1919 году мы снова видим ее во главе своей лаборатории.

Она с горячим нетерпением ждала минуты, когда здание на улице Пьера Кюри наполнится рабочим гулом. Первая ее забота — не прекращать дела исключительной важности, начатого во время войны. Снабжение эманацией, распределение «радиоактивных» пробирок по госпиталям продолжается под руководством доктора Рего, который, демобилизовавшись, снова вступил во владение зданием биологического отделения. В здании физического отделения мадам Кюри и ее сотрудники занима-

ются опытами, прерванными в 1914 году, и приступают к новым.

Более правильный образ жизни позволяет Мари заняться будущим Ирен и Евы, двух крепких девушек, таких же стройных, как она сама. Старшая, студентка двадцати одного года, спокойная, удивительно уравновешенная, ни на минуту не сомневается в своем призвании. Она намерена быть физиком, она намерена, и это твердое решение, изучать радий. Удивительно просто и естественно Ирен Кюри вступает на путь, по которому следовали Пьер и Мари Кюри. Она не задается вопросом, займет ли она в науке такое же место, какое заняла ее мать, и не чувствует бремени слишком известного имени. Ее искренняя любовь к науке, ее призвание внушают ей только одно честолюбивое желание: работать всю жизнь в лаборатории, которая строилась на ее глазах и где в 1918 году она значится «прикомандированной лаборанткой».

Благодаря удачному примеру Ирен у Мари создается уверенность, что молодым людям легко найти дорогу в лабиринте жизни. Ее озадачивают непонятные переживания и резкие перемены настроения у Евы. Благородное, но чрезмерное уважение к личности детей, переоценка их благоразумия не позволяют ей самой воздействовать на подростка. Она хотела бы, чтобы Ева стала врачом и изучала применение радия в лечебных целях. Однако Мари не навязывает ей этот путь. С неослабным сочувствием поддерживает она любой из капризно изменчивых проектов дочери. Радуется ее занятиям музыкой, предоставляя ей выбор преподавателей и метода занятий... Она дает полную свободу существу, раздираемому сомнениями и нуждающемуся в твердом руководстве. Как было заметить свою ошибку этой женщине, которую все время направлял безошибочный инстинкт таланта, который, наконец, довел ее до предназначения, несмотря на все препятствия?

До конца своих дней она будет окружать неусыпной нежностью обеих дочерей, совершенно разных от рождения, ни одной из них не выказывая предпочтения. При любых обстоятельствах их жизни Ирен и Ева находили в ней защитницу и горячую союзницу. Когда впоследствии Ирен тоже станет матерью, Мари посвятит свои заботы и тревоги обоим поколениям.

Мари — Ирен и Фредерику Жолио-Кюри, 29 декабря 1928 года:

«Дорогие дети, шлю вам свои наилучшие пожелания к Новому году — желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, плодотворной работы, желаю вам в этом году получать каж-

дый день удовольствие от жизни, не искать приятное в прошлом и не рассчитывать на приятное только в будущем. Чем больше стареешь, чем лучше понимаешь, что умение наслаждаться настоящим — драгоценная черта характера.

Я думаю о вашей маленькой Элен и шлю ей мои пожелания счастья. Так трогательно наблюдать за развитием крошечного существа, которое с безграничным доверием ждет от вас лишь добра и твердо верит, что вы можете его избавить от любого страдания. Настанет день, когда она узнает, что ваша власть не простирается так далеко, а как бы хотелось иметь такую власть ради своих детей!

Надо по крайней мере приложить все усилия, чтобы дать малышам здоровье, мирное, безоблачное детство в атмосфере любви, среди которой их чудесное доверие продлится долее всего».

Мари — дочерям, 3 сентября 1929 года:

«...Я часто думаю о предстоящем мне годе работы. Думаю и о каждой из вас, о вашей нежности ко мне, о тех радостях и внимании, какими вы награждаете меня. Вы — мое истинное богатство, и я прошу у жизни предоставить мне еще несколько хороших лет жизни с вами».

* * *

То ли после изнурительных лет войны с наступлением мира улучшилось ее здоровье и наступил покой старости, но мадам Кюри становится умиротворенной. Тиски траура и болезни разжались, время притупило страдания...

Мари — Броне, 1 августа 1921 года:

«...Я столько страдала в своей жизни, что дошла до предела: только настоящая катастрофа еще могла бы на меня подействовать. Я научилась смирению и стараюсь найти хоть какие-то маленькие радости в серых буднях.

Ведь это прекрасно, что ты можешь строить дома, сажать деревья, цветы, любоваться их ростом и ни о чем не думать. Жить осталось недолго, зачем же нам еще мучить себя?»

Ирен и Ева выросли рядом с женщиной, боровшейся с горем, а теперь находят в ней новую подругу, постаревшую лицом, но помолодевшую душой и телом. Ирен, неутомимая спортсменка, подстрекает мать следовать ее примеру, совершает с ней

долгие прогулки пешком, берет ее с собой кататься на коньках, ездить верхом и даже понемногу ходить на лыжах.

Летом Мари приезжает к дочерям в Бретань. В Ларкуесте, восхитительном краю, не наводненном пошлой толпой, три подруги проводят отпуск.

Население этой деревушки, расположенной на берегу Ла-Манша, возле города Пемполь, состоит исключительно из моряков, земледельцев и... профессоров Сорбонны. «Открытие» Ларкуесты в 1895 году историком Шарлем Сеньобосом и биологом Луи Лапиком получило в университетских кругах значение открытия Америки Христофором Колумбом. Мадам Кюри, появившаяся с опозданием в этой колонии ученых, которую один остроумный журналист окрестил «Форт Наука», сперва ютилась в доме у местного жителя, затем сняла дачу, а потом ее купила. На возвышенном песчаном побережье, над безмятежным морем, усеянным бесчисленными большими и маленькими островами, которые не дают морским валам набегать прямо на берег, Мари выбрала место самое безлюдное, наиболее защищенное от ветров. Она любит такие дома-маяки. Все летние дачи, какие она снимала, да и те, какие она впоследствии строила сама, похожи друг на друга: на большом участке — скромный домик. Неудобно расположенные комнаты, запущенные, бедно обставленные, а вид из окон превосходный.

Редкие прохожие, которых Мари встречает по утрам,— сгорбленные старухи, медлительные крестьяне, улыбающиеся дети — все звучно приветствуют: «Добрый день, мадам Кю-юю-юри!» — по-бретонски растягивая гласный звук. Мари не избегает этих встреч и с улыбкой отвечает в тон: «Добрый день, мадам Ле Гофф... Добрый день, месье Кентэн» — или просто: «Добрый день» — если, к стыду своему, не узнает приветствующего. Деревенские жители вполне сознательно обращаются к ней с простыми, спокойными приветствиями, как равные к равной, без назойливости или любопытства, выражая только дружбу. Не радий, не тот факт, «что о ней пишут в газетах», снискали ей такое уважение. Ее сочли достойной женщиной лишь после двух или трех летних сезонов, когда бретонки, прячущие волосы под белыми остроконечными чепцами, признали в ней свою, крестьянку.

Дом мадам Кюри ничем не отличается от десятка других. Центром же колонии, «великосветским дворцом» в Ларкуесте считается низкая хижина, доверху увитая диким виноградом, пассифлорой, фуксией. Хижина эта зовется по-бретонски: «Taschen-Vihan» — «маленький виноградник». При ней на склоне разбит садик, где яркие цветы, посаженные без всяких затей, растут на длинных клумбах. Дверь домика всегда открыта на-

стежь, кроме дней, когда дует восточный ветер. Здесь живет юный чародей семидесяти лет Шарль Сеньобос, профессор истории в Сорбонне. Это очень маленький, очень подвижной старичок, чуть горбатый, одетый в неизменный костюм из белой фланели в черную полоску, залатанный и пожелтелый Местные жители зовут его месье Сеньо, а друзья — Капитан. Словами не выразить того восторженного поклонения, каким он окружен, а тем более не объяснить, какими чертами своего характера он заслужил всеобщее обожание и нежность.

По извилистой и крутой тропинке Мари спускается к «Винограднику». Человек пятнадцать колонистов уже сидят и расхаживают перед домом в ожидании поездки на острова. Появление мадам Кюри не вызывает никаких эмоций у собравшихся, напоминающих группу эмигрантов или цыганский табор. Шарль Сеньобос, посматривая своими чудесными, но скрытыми за очками близорукими глазами, приветствует Мари любезно-ворчливой фразой: «А! Вот и мадам Кюри. Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — раздается эхом еще несколько приветствий, и Мари присоединяется к кругу людей, сидящих на траве.

На Мари выгоревшая полотняная шляпа, старая юбка и не знающая износа матросская блуза из черного мольтона; такую блузу, одинакового покроя для мужчин и женщин, для ученых и рыбаков, мастерит за несколько франков деревенская портниха Элиза Лефф. Мари носит сандали на босу ногу. Свой мешок, раздувшийся от засунутых в него купального костюма и халата, она кладет перед собой на траву, где валяется еще пятнадцать точно таких же мешков.

Вот была бы находка для репортера, если бы он неожиданно нагрянул сюда! Тут гляди в оба, чтобы буквально не наступить на какого-нибудь академика, лениво растянувшегося на земле, или не задеть какую-нибудь «Нобелевскую премию». Учености здесь хоть отбавляй. Вы хотите поговорить о физике? Вот Жан Перрен, Мари Кюри, Андре Дебьерн, Виктор Оже. О математике, об интегралах? Обратитесь к Эмилю Борелю, задрапированному в купальный халат, как римский император в тогу. О биологии? Астрофизике? Вам ответят Луи Лапик, Шарль Морен. А что касается чародея Шарля Сеньобоса, то полчища ребят этой колонии с ужасом заверят вас, что «он знает всю Историю».

Но удивительней всего то, что в этом университетском обществе никогда не говорят о физике, истории, биологии или математике, что здесь нет места для почитания, для иерархии и даже для условностей. Здесь люди не делятся на жрецов и учеников науки, на старых и молодых. В нем личности разделены на четыре категории: «филистеры» — непосвященные,

посторонние, случайно забредшие в клан, и от них стараются как можно скорее отделаться; «слоны» — друзья, мало приспособленные к жизни на море, их терпят, осыпая насмешками; затем идут ларкуестийцы, достойные звания «моряков»; наконец, сверхморяки, специалисты по течениям в бухте, виртуозы кроля и весла, прозванные «крокодилами». Мадам Кюри никогда не входила в число «филистеров», но и не сумела добиться звания «крокодила». Она стала «моряком» после короткого стажа в «слонах».

Шарль Сеньобос пересчитывает свою паству и подает знак к отправлению. Матросская команда — Ева Кюри и Жан Морен, отделив от стоящей у берега флотилии судов два парусника, пять-шесть весельных лодок, «большую» и «английскую» лодки, подводят их кормой вперед к причалу, туда, где зубчатые скалы образуют естественную пристань. Сеньобос отрывисто, насмешливо и весело кричит: «Садитесь! Садитесь!» А пока пассажиры усаживаются в лодки, он продолжает: «Где первая команда? Я загребной! Мадам Кюри сядет на носовое весло, Перрен и Борель на большие весла, а Франсис — на руль».

Эти команды, которые поставили бы в тупик многих интеллигентов, немедленно выполняются. Четверо гребцов — четверо профессоров Сорбонны, четверо знаменитостей — садятся по местам и, держа в руке по тяжелому морскому веслу, покорно ждут команду, которую подаст юный Франсис Перрен: на борту он всемогущ оттого, что держит руль. Шарль Сеньобос загребает первым, указывая должный ритм товарищам. Сзади него Жан Перрен налегает на весло с такой силой, что лодка поворачивается на месте. За Перреном сидит Эмиль Борель, а за ним на носу — Мари Кюри «нажимает» в темпе.

Белая с зеленым лодка мерно движется вперед по залитому солнцем морю. Тишину нарушают лишь строгие окрики рулевого. «Второе весло справа бездействует!» (Эмиль Борель пытается отрицать свою вину, но быстро смиряется и во искупление своей небрежности сильнее налегает на весло.) «Носовое весло не следит за загребным!» (Пристыженная Мари Кюри выправляет движения и старается попасть в такт.)

Мадам Шарль Морен красивым, задушевным голосом затягивает «Песню гребцов», сразу подхватываемую хором пассажиров на корме:

Отец велел построить дом
(Дружней работайте веслом).
Кладут кирпич за кирпичом...

Легкий северо-западный, «нормандский», ветер, ветер хорошей погоды, доносит мерно текущую мелодию до второй лодки,

которая ушла вперед и уже виднеется на другой стороне бухты. Гребцы «английской» лодки, в свою очередь, запевают одну из трехсот — четырехсот старинных песен, составляющих репертуар колонии, которому Шарль Сеньобос обучает каждое поколение ларкуестийцев.

Трое крепких парней плывут на острова.
Плывут они все веселей,
Трое крепких парней.

Двух-трех песен «большой» лодке хватает на дорогу до косы Св. Троицы. Взглянув на часы, рулевой кричит: «Смена!». Мари Кюри, Перрен, Борель и Сеньобос уступают место четырем другим деятелям высшего образования. Нужно сменить гребцов, чтобы пересечь наискось очень сильное морское течение и достичь большой фиолетовой скалы Рок Врас — пустынного острова, куда ларкуестийцы почти каждое утро приезжают купаться.

Мужчины раздеваются возле пустых лодок, на берегу, покрытом коричневыми водорослями, женщины — в укромном уголке, устланном упругим ковром густой травы и во все времена именуемом «дамской кабиной». Мари в черном купальном костюме появляется одной из первых и входит в воду. Берег отвесный, и нога, едва ступив, уже не достает дна.

Вид Мари Кюри, плавающей у скалы Рок Врас в прохладной глубине идеально чистой прозрачной воды,— одно из самых чудесных воспоминаний, которые я храню о своей матери. Она не плавает ни кролем, ни саженками, любимыми ее дочерьми и их товарищами. Методично вовлекаемая в спорт Ирен и Евой, она овладела «морским» хорошим стилем. Ее врожденная грация и изящество дополняют остальное. Любуясь ее тонкой, гибкой фигурой, красивыми белыми руками и быстрыми, как у молодой девушки, прелестными движениями, забываешь о спрятанных под резиновую шапочку седых волосах и о морщинах на лице.

Мадам Кюри чрезвычайно гордится своей ловкостью, своими талантами пловца. Между нею и ее коллегами по Сорбонне существует скрытое соперничество. Мари наблюдает за учеными и их женами, плавающими в маленьком заливчике у скалы Рок Врас почтенными стилями — брассом или на боку. Если они не в состоянии уплывать далеко, то и не барахтаются беспомощно на одном месте. Мари с беспощадной точностью измеряет расстояние, пройденное ее соперниками, и, никогда открыто не вызывая на заплыв, тренируется, чтобы поставить рекорд на скорость и дальность в соревновании с преподава-

тельским составом университета. Дочери являются одновременно ее тренерами и поверенными.

— Мне думается, я плаваю лучше месье Бореля,— невинно замечает Мари.

— О, гораздо лучше, Мэ... Даже нечего и сравнивать!

— Сегодня у Жана Перрена большое достижение. Но я вчера заплыла дальше его, помнишь?

— Я видела, это было отлично. С прошлого года ты сделала большие успехи.

Мари обожает такие комплименты, зная, что они искренни. Она — один из лучших пловцов в колонии.

После купания Мари греется на солнце и в ожидании обратного пути грызет черствую корку хлеба. Иногда она радостно восклицает: «Как хорошо!» Или же, глядя на дивный вид скал, неба и воды: «Как красиво!» Только такие короткие оценки Ларкуеста и признаются допустимыми у колонистов. Ведь установлено раз и навсегда, что это самый прелестный край во всем мире; что море здесь синее,— да, синее, как Средиземное море, — более синее, более приветливое, более разнообразное, чем где-либо; но об этом никогда не говорят, совершенно так же, как никогда не говорят о научном даровании известных ларкуестийцев. Одни «филистеры» решаются лирически коснуться этой темы, да и те быстро затихают под ледяным душем общей иронии.

Полдень. Море опустело, и лодки, двигаясь Антерренским проливом, осторожно лавируют среди водорослей, как будто среди залитых лугов. Песни сменяются песнями, гребцы сменяются гребцами. А вот и берег под домом с виноградником, вот и причал или, вернее, отмель с водорослями, которая во время отлива заменяет пристань. Мари одной рукой приподнимает юбку и, размахивая другой рукой с сандалями и халатом, бодро вязнет по щиколотку голыми ногами в пахучей черной тине, чтобы достичь твердой земли. Если бы какой-нибудь ларкуестиец из уважения к ее возрасту предложил ей помочь или попросил бы разрешения нести ее мешок, то вызвал бы у нее лишь недоумение. Здесь никто никому не помогает, и первая заповедь клана гласит: «Не усердствуй!»

Моряки расстаются, идут завтракать. В два часа они снова соберутся для ежедневной прогулки на «Шиповнике» — яхте с белыми парусами, без которой Ларкуест был бы не Ларкуест. На этот раз мадам Кюри отсутствует на перекличке. Ее утомляет ленивое безделье на яхте. Одна у себя в доме-маяке она либо правит рукопись какой-нибудь научной статьи, либо, вооружившись садовыми ножницами и лопатой, работает в саду. Из своих сражений с терновником и ежевикой, из та-

ннственных работ по посадкам она выходит в кровавых ссадинах: ноги ее исполосованы царапинами, руки в земле, исколоты шипами. Счастье еще, если все увечья ограничиваются только этим. Ирен и Ева иногда застают свою предприимчивую мать успевшей вывихнуть себе лодыжку или разбить палец неудачным ударом молотка...

Около шести часов вечера Мари спускается к причалу и, искупавшись, входит в «Виноградник» через никогда не запирающуюся дверь. У большого окна с видом на бухту сидит в кресле очень старая, очень умная, очень красивая женщина — мадам Марилье. Она живет в этом доме и с этого места каждый вечер караулит возвращение мореплавателей. Мари ждет вместе с ней, когда на побледневшем море выплывут позолоченные закатом паруса «Шиповника». Высадившись, группа путешественников поднимается по тропинке. Вот Ирен с Евой в дешевых платьицах. У обеих загорелые руки, а в волосах — красные садовые гвоздики, которые Шарль Сеньобос по установившейся традиции преподносит им перед выходом в море; глаза блестят от упоения прогулкой в устье Трие или же на остров Модез, где низкая трава так и манит поиграть в утомительные «бары». Все, даже семидесятилетний Капитан, принимают участие в этой игре, где уже ни докторский диплом, ни Нобелевская премия не играют никакой роли. Ученые — хорошие бегуны — сохраняют свой престиж. Менее подвижные вынуждены сносить пренебрежительное отношение судьи, а при обмене пленными с ними обращаются, как с толпой рабов.

Этот образ жизни детей и дикарей, живущих полуголыми в воде и на ветру, заразит позднее все слои общества — и самых имущих, и самых простых людей. Но в эти послевоенные годы такой образ жизни подвергался злобной критике. Опередив моду лет на пятнадцать, мы открыли прелесть жизни на море, прелесть плавания, солнечных ванн, лагерных стоянок на безлюдных островах. Нам знакома выдержанная нагота спортсменов, и мы мало думаем о своих нарядах: купальный костюм, сто раз чиненный, матросская блуза, две пары сандалий, два-три ситцевых доморощенных платья — вот и весь наш гардероб. В эпоху упадка Ларкуеста, наводненного «филистерами» и — о ужас! — лишенного поэзии, с трескучим шумом моторных лодок, на сцену явится кокетство...

* * *

После обеда мадам Кюри, укутанная в пушистую пелерину пятнадцатилетней, а может быть и двадцатилетней давности, прогуливается широкими шагами, взяв под руки дочерей. Они

спускаются по чуть заметным в темноте тропинкам к «Винограднику». В большой комнате собрались в третий раз за день ларкуестийцы. За круглым столом играют в «буквы». Мари принадлежит к числу наиболее способных составлять сложные слова из картонных букв, извлекаемых из мешочка. Все оспаривают друг у друга такую партнершу, как мадам Кюри.

Остальные колонисты, усевшись вокруг керосиновой лампы, читают или играют в шахматы.

В торжественные дни актеры-любители, они же авторы, исполняют перед «шикарной» публикой шарады, забавные песенки, скетчи, в которых прославляются героические события сезона: бурное состязание между двумя соперничающими лодками; чреватая опасностями передвижка огромной скалы, мешающей причалу,— операция большого размаха, успешно проведенная колонистами; позорные злодеяния восточного ветра; трагикомическое кораблекрушение; преступления призрачного барсука, обвиняющегося в периодических опустошительных набегах на «Виноградник».

Как передать единственное в своем роде чарующее впечатление от света, песен, ребяческого смеха, чудесной тишины, свободы и непринужденности товарищеских отношений между младшим и старшим поколениями! Эта жизнь почти без событий, в которой один день похож на другой, оставила у Мари Кюри и ее дочерей самые драгоценные воспоминания. Несмотря на простоту всего окружающего, она всегда мне будет представляться последним словом роскоши. Ни один миллиардер ни на одном пляже не мог бы получить столько удовольствий, острых, утонченных, неповторимых, сколько их получали прозорливые «спортсмены» Сорбонны в этом уголке Бретани. А так как местом для этих похождений служила только очаровательная деревушка, а таких много, то, несомненно, вся заслуга в достижении блестящего результата принадлежит ученым, которые здесь собирались каждый год.

Читатель — я много раз задавала себе вопрос — не прервете ли вы чтения этой биографической книги, прошептав с иронической улыбкой: «Боже мой, что за славные люди!.. Сколько прямодушия, сочувствия, доверия!»

Ну что ж, да... Эта повесть изобилует «положительными героями». Но я ничего не могу поделать: они существовали и были такими, какими я пытаюсь их изобразить. Все спутники жизни Мари, начиная с тех, кто знал ее со дня рождения, и кончая друзьями ее последних дней, предоставили бы нашим романистам, любящим мрачные тона, бедный материал для ана-

лиза. Странные эти ни на что не похожие семьи Склодовских и Кюри, где нет непонимания между родителями и детьми, где всеми руководит любовь, где не подслушивают под дверьми, где не мечтают ни о предательстве, ни о наследствах, где никого не убивают и где все совершенно честны! Странная среда эти университетские кружки, французский и польский: несовершенные, как все человеческие сообщества, но преданные одному идеалу, не испорченному ни горечью, ни вероломством.

Я раскрыла все козыри нашей счастливой жизни в Бретани. Быть может, кое-кто пожмет недоверчиво плечами, подумав, а не вносили ль оживление в наш волшебный отпуск ссоры и снобизм?

В Ларкуесте самый проницательный наблюдатель не мог бы отличить крупного ученого от скромного исследователя, богатого от бедного. Под небом Бретани — было ли оно ясным, или хмурым — я ни разу не слышала разговоров о деньгах. Наш старейший Шарль Сеньобос подавал нам самый высокий, самый благородный пример. Не выставляя себя поборником каких-либо теорий или доктрин, этот старый либерал сделал все свое имущество общим достоянием. Всегда открытый дом, яхта «Шиповник», лодки принадлежали ему, но их хозяином он был меньше всех. А когда в его освещенной фонарем даче давался бал, то под аккордеон, игравший польки, лансье и местный танец «Похищение», вертелись вперемешку хозяева и слуги, ученые и дочери крестьян, бретонские моряки и парижанки.

Наша мать молча присутствовала на этих праздниках. Ее знакомые, знавшие уязвимое место этой застенчивой женщины, сдержанной в обращении, почти суровой, иной раз скажут ей, что Ирен хорошо танцует, а на Еве хорошенькое платье. И тогда прелестная улыбка гордости внезапно озаряла усталое лицо Мари.

В АМЕРИКЕ

Однажды майским утром 1920 года в маленькой приемной Института радия появилась неизвестная дама. Она назвалась миссис Уильям Браун Мелони, редактором крупного нью-йоркского журнала. Невозможно принять ее за деловую женщину. Маленькая, хрупкая, почти калека: из-за несчастного случая в юности она прихрамывает. У нее с проседью волосы и огромные черные романтические глаза на красивом бледном лице. Она с трепетом спрашивает у открывшей дверь служанки, не забыла ли мадам Кюри о том, что назначила ей свидание. Этого свидания она добивается уже несколько лет.

Миссис Мелони принадлежит к все возрастающему числу людей, которых восхищает жизнь и работа Мари Кюри. А так как американская идеалистка вместе с тем и известный репортер, то изо всех сил стремилась приблизиться к своему кумиру.

После нескольких просьб об интервью, оставшихся без ответа, миссис Мелони поручила одному своему другу-физику передать Мари последнее умоляющее письмо.

«...Мой отец, врач, всегда говорил мне, что нельзя умалять значение людей. А на мой взгляд вы уже двадцать лет играете выдающуюся роль, и мне хочется повидать вас только на несколько минут».

На другой день Мари приняла ее у себя в лаборатории.

«Дверь отворяется,— напишет позже миссис Мелони,— *и входит бледная, застенчивая женщина с таким печальным лицом, какого мне еще не приходилось видеть. На ней черное платье из хлопчатобумажной материи. На ее прекрасном, кротком, измученном лице запечатлелось отсутствующее, отрешенное выражение, какое бывает у людей, всецело поглощенных научной работой. Я сразу почувствовала себя непрошенной гостьей.*

Я стала еще застенчивее, чем мадам Кюри. Уже двадцать лет я профессиональный репортер, а все-таки растерялась и не смогла задать ни одного вопроса этой беззащитной женщине в черном хлопчатобумажном платье. Я пыталась объяснить ей, что американцы интересуются ее великим делом, старалась оправдать свою нескромность. Чтобы вывести меня из замешательства, мадам Кюри заговорила об Америке.

— В Америке около пятидесяти граммов радия,— сказала мне она.— Четыре в Балтиморе, шесть в Денвере, семь в Нью-Йорке...— она перечислила все остальное, назвав местонахождение каждой частицы радия.

— А во Франции? — спросила я.

— У меня в лаборатории немного больше одного грамма.

— У вас только один грамм радия?

— У меня? О, у меня лично нет ничего. Этот грамм принадлежит лаборатории.

...Я заговорила о патенте, о доходах, которые обогатили бы ее. Она спокойно ответила:

— Радий не должен обогащать никого. Это — элемент. Он принадлежит всему миру.

— Если бы имелась возможность исполнить ваше самое

заветное желание, что бы вы пожелали? — *спросила я безотчетно.*

Вопрос был глупый, но оказался вещим.

...В течение этой недели я узнала, что товарная цена одного грамма радия сто тысяч долларов. Узнала также, что новой лаборатории мадам Кюри не хватает средств для настоящей научной работы и весь ее запас радия предназначен для изготовления трубок с эманацией для лечебных целей».

Можно себе представить, как это ошеломило американку! Миссис Мелони лично посещала и потому знает прекрасно оснащенные лаборатории Соединенных Штатов, вроде лаборатории Эдисона, похожей на дворец. Рядом с этими грандиозными сооружениями Институт радия, новый, приличный, но построенный в скромных масштабах французских университетских зданий, кажется жалким. Миссис Мелони знакома и с питтсбургскими заводами, где перерабатывают руду, содержащую радий. Она помнит черные столбы дыма над их трубами и длинные поезда, груженные карнотитом, содержащим драгоценное вещество...

И вот она в Париже, в бедно обставленном кабинете, с глазу на глаз с женщиной, открывшей радий. И она спрашивает:

— Что бы вы пожелали?

Мадам Кюри спокойно отвечает:

— Один грамм радия для продолжения моих исследований, но купить его я не могу. Радий мне не по средствам.

У миссис Мелони возникает блестящий проект: пусть ее соотечественники подарят мадам Кюри грамм радия. По возвращении в Нью-Йорк она пытается убедить десять богатых семейств, десять миллиардеров, дать по десяти тысяч долларов, чтобы сделать этот подарок. Но безуспешно. Нашлись только три мецената, готовые сделать такой жест. Тогда она подумала: «Зачем искать десять богачей? Почему не открыть подписку среди всех американских женщин?»

Миссис Мелони создает комитет, куда входят миссис Уильям Вог Муди, миссис Роберт Г. Мид, миссис Николас Ф. Брэди, доктор Роберт Эйбб и доктор Фрэнсис Картер Вуд. В каждом городе Нового Света она организует национальную подписку в «*Фонд Мари Кюри*». Не прошло и года со времени ее свидания с «женщиной в черном хлопчатобумажном платье», как она пишет Мари Кюри: «Деньги собраны, радий — Ваш!».

Американки оказывают Мари щедрую помощь, они любезно, дружески спрашивают: «Почему бы Вам не приехать к нам? Нам хочется с Вами познакомиться».

Мари колеблется. Она всегда боялась толпы. Ее страшит парадность и торжественность предстоящей поездки в Америку, страну, столь жадную до мировых сенсаций.

Миссис Мелони настаивает. Отметает все возражения.

— Вы говорите, что не хотите расставаться с дочерьми? Мы приглашаем Ваших дочерей. Вас утомляют торжественные приемы? Мы составим наиболее разумную программу. Приезжайте! Мы обеспечим Вам прекрасное путешествие, а грамм радия будет передан Вам в Белом доме самим президентом Соединенных Штатов.

Мадам Кюри тронута. Превозмогая страх, она впервые за пятьдесят четыре года своей жизни соглашается на неизбежные последствия большой официальной поездки.

Ее дочери в восторге от предстоящего путешествия и готовятся к отъезду. Ева заставляет мать купить одно или два новых платья и убеждает оставить в Париже свои излюбленные одеяния — потрепанные и выцветшие. Все суетятся вокруг мадам Кюри. Газеты описывают церемонии, ожидающие мадам Кюри по ту сторону Атлантического океана, а общественные организации ломают голову, что сделать, чтобы Мари Кюри прибыла в США в ореоле почтных званий, достойных ее известности. Американцам трудно понять, почему мадам Кюри не член Французской академии наук, по меньшей мере странно, что она не награждена орденом Почетного легиона. Ей спешно предлагают крест Почетного легиона, но Мари вторично отказывается от него. Позже она попросит наградить этим орденом миссис Мелони.

Двадцать седьмого апреля 1921 года по инициативе журнала «Я знаю все» был устроен в Большом оперном театре прощальный вечер в честь Мари Кюри и в пользу Института радия.

Леон Берар, профессор Жан Перрен и доктор Клод Рего произносят речи. Затем следует художественная программа, в которой принимают участие известные актеры и музыканты, приглашенные организатором художественной части Саша Гитри. В ней выступают и престарелая Сара Бернар, и Люсьен Гитри.

Спустя несколько дней мадам Кюри уже на борту «Олимпика». Обе дочери едут вместе с ней. На трех женщин, на весь их гардероб только один чемодан, но сами они занимают самую роскошную каюту на пароходе. Мари, как простая крестьянка, инстинктивно делает гримасу по поводу чересчур пышной обстановки и слишком изысканных блюд. Она запирается у себя на ключ, чтобы избавиться от назойливых людей, и пытается

забыть о своей официальной миссии, вызывая в памяти свою скромную и спокойную повседневную жизнь.

Мадам Кюри — мадам Жан Перрен, 10 мая 1921 года.

«Дорогая Генриэтта, на пароходе я нашла письмо от Вас. Оно успокоило меня, так как я с неохотой покидала Францию ради этой далекой поездки, так мало соответствующей и моим вкусам, и моим привычкам.

Плавание мне не понравилось: море было угрюмое, мрачное и бурное. Я не страдала морской болезнью, но меня точно оглушило, и большую часть времени я проводила у себя в каюте. Дочери, видимо, были довольны. Сопровождавшая нас миссис Мелони всячески старалась их приручить. Это такой хороший, дружественно расположенный человек, какого можно себе только представить.

...Я думаю о Ларкуесте, о том, как хорошо мы будем проводить там время среди своих друзей; о нашем саде, куда Вы придете, чтобы побыть спокойно несколько часов; о синем, кротком море, которое мы все так любим, гораздо более приветливом, чем этот холодный и безмолвный океан. Думаю и о том, что Ваша дочь ожидает ребенка и что он будет самым юным членом нашего дружеского сообщества, первым представителем нового поколения. После него народится, я надеюсь, еще много детей наших детей...»

В дымке солнечного дня показывается стройный, смелый по архитектуре Нью-Йорк. Миссис Мелони предупреждает Мари, что ее поджидают журналисты, фотографы и кинооператоры. Огромная толпа на пристани ждет прибытия ученой. Любопытные шли пять часов пешком, чтобы увидеть ту, которую заголовки в газетах называют «благодетельницей рода человеческого». Виднеются батальоны девочек-скаутов и студенток, делегация от трехсот тысяч женщин, машущая красными и белыми розами: это представительницы польских организаций в США. Яркие цвета флагов — американских, французских и польских — реют над тысячами тесно сомкнутых плеч и устремленных вверх лиц.

Мари усадили в кресло на верхней палубе «Олимпика». С нее сняли шляпу и взяли из рук саквояж. Повелительные возгласы фотографов: «Посмотрите сюда, мадам Кюри! Поверните голову направо!.. Приподнимите голову! Посмотрите сюда! Сюда! Сюда!» — заглушают беспрестанное щелканье сорока фото- и киноаппаратов, направленных грозным полукругом на изумленное и усталое лицо Мари...

* * *

Ирен и Ева несут службу телохранителей в течение нескольких горячих, утомительных недель. Переезды в специальном вагоне, обеды на пятьсот персон, восторженные приветствия толпы и набеги репортеров не могли дать двум девушкам ясного представления о Соединенных Штатах. Чтобы почувствовать всю прелесть этой огромной страны, нужно располагать большей свободой и спокойствием. «Бюро путешествий Барнума» тоже не могло предложить многого для знакомства с Америкой. Зато оно вполне определенно показало им значение их матери...

Отчаянные усилия мадам Кюри держаться в тени имели некоторый успех во Франции: Мари удалось убедить своих соотечественников и даже своих близких в том, что личность выдающегося ученого сама по себе не имеет значения. С прибытием Мари в Нью-Йорк завеса падает, истина обнажается. Ирен и Ева вдруг узнают, что представляет собой для всего мира эта всегда тушующаяся женщина, близ которой они все время жили.

Каждая речь, каждая встреча, каждая газетная статья — лишь еще одно подтверждение всемирной известности мадам Кюри. Еще до знакомства с мадам Кюри американцы сделали ее предметом преклонения, выдвинули ее в первый ряд великих современников. Теперь же, в ее присутствии, тысячи людей покорены «скромным очарованием усталой гостьи», поражены, как громом, этой «робкой женщиной небольшого роста», «бедно одетой ученой».

В квартире миссис Мелони, где все заставлено цветами (один садовод, излеченный от рака радием, два месяца выращивал великолепные розы с целью подарить их Мари), состоялся военный совет, на котором была разработана программа путешествия. Все города, все школы, все университеты Америки приглашают к себе мадам Кюри. Ей предназначены десятки медалей, почетные звания, докторские степени.

— Вы, конечно, привезли с собой ваше университетское облачение, предназначенное для торжеств? — спрашивает миссис Мелони.— На таких торжествах без него не обойтись.

Наивная улыбка Мари вызывает общую растерянность. Мари не привезла костюм по той простой причине, что его у нее никогда не было. Профессора Сорбонны обязаны иметь фрак. Но мадам Кюри, единственный профессор-женщина, предоставляла мужчинам удовольствие заказывать себе парадную одежду.

Спешно вызванный портной наскоро шьет из черной материи величественное одеяние с бархатными отворотами, поверх которого будут накидываться яркие мантии, соответствующие докторским званиям. На примерках Мари сердится, уверяет, что рукава неудобны, материя слишком тяжела, а главное, шелк раздражает ее несчастные пальцы, поврежденные радием.

Наконец 13 мая все готово. После завтрака у миссис Мелони и после короткой поездки в Нью-Йорк мадам Кюри, миссис Мелони, Ирен и Ева отправляются в путешествие, напоминающее полет метеора.

* * *

Девочки в белых платьях стоят шпалерами на залитых солнцем дорогах, тысячи девочек бегут по полям навстречу автомобилю с мадам Кюри, девушки машут цветами и знаменами, кричат «виват!» и поют хором... Вот ослепительные впечатления первых дней путешествия, посвященных посещению женских колледжей Смита, Вассара, Брин Маура, Маунт-Холиока. Хорошая, прекрасная мысль — приручить Мари Кюри прежде всего общением с восторженной молодежью, со студентками, похожими на нее самое! Через неделю делегатки от тех же школ проходят процессией в Карнеги-холл, в Нью-Йорке, во время колоссальной манифестации университетских объединений женщин. В присутствии видных американских профессоров, послов Франции и Польши, Игнация Падеревского, приехавшего аплодировать подруге давних дней, Мари Кюри получает звания, премии, медали и редкое отличие — «гражданство города Нью-Йорка».

На приемах следующих двух дней, когда пятьсот семьдесят три представителя американских научных обществ собрались в гостинице «Уолдорф-Астория», чтобы чествовать Мари Кюри, она шаталась от усталости. Между энергичной, шумной толпой и хрупкой женщиной, жившей до этого замкнутой, как бы монашеской жизнью, борьба неравная. Мари оглушена приветственными криками и шумом. Ее пугают неисчислимое количество обращенных на нее глаз и беззастенчивое скопление публики на ее пути. Она боится, что этот страшный людской водоворот сотрет ее в порошок. Вскоре какой-то фанатик так калечит ей руку чересчур восторженным пожатием, что ученая вынуждена закончить путешествие с вывихнутой кистью и рукой на перевязи — как раненная славой.

* * *

Большой день. «ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ГЕНИЮ... БЛЕСТЯЩЕЕ ОБЩЕСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ ЧЕСТВУЕТ ПРОСЛАВЛЕННУЮ ЖЕНЩИНУ...» 20 мая в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Гардинг вручает в дар мадам Кюри грамм радия или, вернее, его символ — специально сделанный, окованный свинцом ларец для хранения пробирок с радием. Но содержание пробирок настолько драгоценно, а вместе с тем настолько опасно своим излучением, что их оставили для безопасности на заводе. Ларчик, содержащий только модель радия, выставлен на столе в центре Восточного зала, где толпятся дипломаты, высшие чины государственного аппарата, армии, флота и представители университета.

Четыре часа пополудни. Двери отворяются настежь и пропускают торжественное шествие: впереди миссис Гардинг под руку с французским послом Жюссераном, за ними мадам Кюри под руку с президентом Гардингом, далее миссис Мелони, Ирен и Ева Кюри и дамы из Комитета Мари Кюри.

Начинаются речи. В заключение — речь президента Соединенных Штатов. Он сердечно обращается к «благородной женщине, преданной супруге, любящей матери, которая наряду с огромной творческой работой выполняла все женские обязанности». Он передает Мари пергаментный свиток, перевязанный трехцветной лентой, и надевает ей на шею муаровую ленту, на которой висит маленький золотой ключик — ключик от ларца.

Все благоговейно выслушивают короткое благодарственное слово Мари Кюри. Затем в веселой суматохе гости переходят в Синий зал, где все дефилируют перед мадам Кюри; она сидит в кресле и молча улыбается всем по очереди подходящим к ней. Вместо Мари им пожимают руки Ирен и Ева, и в зависимости от национальности лиц, приветствующих Мари, которых представляет ей миссис Гардинг, отвечают по-английски, по-польски, по-французски.

Теперь остается только построить по порядку всех присутствующих и выйти на крыльцо, где уже ждет целая армия фотографов.

Привилегированные журналисты, допущенные на это торжество и трескуче объявившие: «Изобретатель радия получает от своих американских друзей бесценное сокровище», были бы очень поражены, узнав, что мадам Кюри заранее лишила себя этого грамма, который преподнес ей президент Гардинг. Накануне торжества, когда миссис Мелони дала ей на одобрение дарственный пергаментный свиток, Мари внимательно его прочла. Потом решительно сказала:

— Надо изменить этот акт. Радий, который дарит Америка мне, должен навсегда принадлежать науке. Пока я жива, я буду пользоваться им только для научных работ. Но если оставить акт в таком виде, то после моей смерти подаренный мне радий окажется наследственной собственностью частных лиц — моих дочерей. Это недопустимо. Я хочу подарить его моей лаборатории. Нельзя ли позвать адвоката?

— Да... конечно! — ответила миссис Мелони с некоторым замешательством.— Раз вы так хотите, мы займемся этими формальностями на следующей неделе.

— Не на следующей неделе, не завтра, а сегодня вечером. Дарственный акт войдет в силу немедленно, а я могу умереть через несколько часов.

Юрист, с большим трудом найденный в такой поздний час, составляет вместе с Мари новый текст. Она тут же его подписывает.

* * *

Филадельфия. Почетные звания. Докторские степени. Обмен подарками между мадам Кюри и высшими представителями как науки, так и промышленности. Директор одного завода преподносит ученой пятьдесят миллиграммов мезотория.

Члены знаменитого Американского философского общества награждают ее медалью Джона Скотта. В знак благодарности Мари дарит обществу исторический кварцевый пьезометр, которым она пользовалась в первые годы своих исследований.

Она посетила радиевый завод в Питтсбурге, где был выделен пресловутый грамм.

В университете — получение еще одной степени доктора! Мари опять надевает свою профессорскую, очень идущую к ней мантию и носит ее вполне непринужденно, но отказывается покрыть свои седеющие волосы квадратной шапочкой — Мари находит ее ужасной и обвиняет в том, что она не «держится» на голове. Среди толпы студентов и профессоров в черных жестких квадратных шапочках она стоит с непокрытой головой, держа свою шапочку в руке. Самой умелой кокетке не додуматься до такого ловкого хода!

Она собирается с духом, чтобы не упасть в обморок во время церемонии, принимает цветы, слушает речи, гимны... Но на следующее утро разносится зловещий слух: мадам Кюри чувствует себя слишком слабой, чтобы продолжить путешествие. Она отказывается от поездки по городам Запада, и намеченные там приемы отменяются.

Американские журналисты, в порыве сознания своей вины, сейчас же начинают обвинять свою страну в том, что пожилую и слабую женщину подвергли непосильным испытаниям. Их статьи очаровательны своей непринужденностью и живописностью.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО! — так заявляет одна газета громадными буквами. «Американские женщины доказали свое высокое умственное развитие, придя на помощь этой ученой. Но злые критики могут нас упрекнуть в том, что мы заставили мадам Кюри заплатить своим здоровьем за подарок ради удовлетворения нашего самолюбия». Другая газета заявляет просто: «Любой директор цирка или мюзик-холла заплатил бы мадам Кюри дороже, чем стоит грамм радия, за труд, вдвое меньший».

Мари играла со своими поклонниками в открытую игру, и они выиграли первый тур. Теперь устроители ее путешествия применяют все уловки, чтобы оградить ее покой. Мадам Кюри усвоила привычку сходить с поездов с противоположной стороны и пробираться по шпалам, чтобы избежать восторженной толпы, которая ждала ее на перронах.

Объявлено о ее прибытии в Буффало! Она сходит на предыдущей станции «Ниагарский водопад». Ей хочется спокойно посмотреть на знаменитые каскады. Короткая передышка! Комитет по организации ее приема в Буффало не отказывается от желания видеть у себя Мари Кюри. Автомобили мчатся в «Ниагарский водопад» и захватывают беглянку.

Ирен и Ева, первоначально только члены ее свиты, становятся тем, что на театральном языке называется «дублерши». Ирен, одетая в университетское одеяние, заменяя мать, принимает почетные степени доктора. Ораторы, серьезно обращаясь к Еве (шестнадцатилетней девочке), произносят речи, заготовленные для мадам Кюри, говорят о ее «превосходных работах», о ее «долгой трудовой жизни» и ждут от нее подобающего ответа! В тех городах, где комитетские дамы спорят, кому из них принадлежит честь поместить у себя Мари, семейство Кюри расчленяют, отдавая Ирен и Еву, как заложниц, самым настойчивым хозяевам.

Когда дочери не представляют свою знаменитую мать, им предлагают развлечения, соответствующие их возрасту: игру в теннис, катание на лодке, изысканный воскресный отдых на Лонг-Айленде, купание в Мичигане, вечерние представления в театре, веселые ночные забавы на Кони-Айленде...

Но самые упоительные дни приходятся на путешествие по Западу. Миссис Мелони, хотя и отказалась от мысли провезти мадам Кюри по всей Америке, все же решила показать ей са-

мое удивительное чудо своей страны — Большой каньон в Колорадо. Мари слишком устала, чтобы горячо выказывать свое удовольствие, зато дочери ее в восторге.

Их занимает все: три дня в поезде до Санта-Фе через пески Техаса; завтраки и обеды на маленьких, пустынных станциях под испепеляющим солнцем; гостиница «Большой каньон», островок комфорта на краю этой необычайной расселины в земной коре — пропасти в сто километров длиной и пятнадцать шириной: при первом взгляде на нее делается страшно и сердце уходит в пятки...

Ирен и Ева на крепких индейских мулах едут по краю бездны и смотрят вниз на окаменевший хаос из гор, скал, песков, который окрашен в разнообразные цвета — от фиолетового до красного, от оранжевого до охристого, прорезанные красивыми тенями. Девушки не выдерживают и по горной тропе спускаются на мулах до дна пропасти, где несет песок и ил и ворочает камнями все еще юная, неистовая река Колорадо.

Остались только наиболее значительные, неизбежные торжества, но и таких хватило бы, чтобы измотать самого выносливого атлета! 28 мая в Нью-Йорке Мари вручают диплом доктора — honoris causa — Колумбийского университета. В Чикаго ей присваивают звание почетного члена местного университета, она получает еще несколько почетных званий и присутствует на трех приемах. На первом широкая лента, протянутая в качестве барьера, отделяет мадам Кюри и ее дочерей от толпы, которая проходит перед ними.

На втором приеме, где пели «Марсельезу», Польский национальный гимн и «Звездный флаг», Мари почти скрылась за целой горой цветов, положенных к ее ногам поклонниками. Последний прием по своей бурности превзошел все остальные: он был устроен в польском квартале города Чикаго и лишь для польской публики. Здешние польские эмигранты чествовали не только ученую, она была символом их далекого отечества. Мужчины и женщины со слезами на глазах пытались целовать у Мари руки, старались дотронуться до ее платья...

17 июня мадам Кюри должна была вторично признаться в своей слабости и прервать поездку. Угрожающее падение кровяного давления встревожило врачей; Мари делает передышку и вновь находит силы съездить еще в Бостон, в Нью-Хейвен, посетить колледжи Вэсли, Йела, Гарварда, Симмонса, Радклифа. А 28 июня она садится на «Олимпик», где ее каюта завалена кучами телеграмм и заставлена корзинами цветов.

На газетных столбцах имя ее готово смениться именем другой «звезды», прибывшей из Франции. Боксер Жорж Карпантье, уже завоевавший известность, только что прибыл в

Соединенные Штаты, и репортеры приходят в отчаяние из-за того, что не могут вырвать у мадам Кюри мнение о результате матча Карпантье с Демпси.

* * *

Мари крайне устала, но, в конечном счете, очень довольна. Она радостно пишет в своих письмах, что «получала небольшую контрибуцию с Америки в пользу Франции и Польши», приводит сочувственные фразы по поводу двух ее отечеств, сказанные президентом Гардингом и вице-президентом Кулиджем. Но при всей ее скромности для Мари ясно, что она лично имела огромный успех в Соединенных Штатах, что она завоевала миллионы американских сердец, а также искреннюю привязанность всех тех, кто с ней встречался близко. Миссис Мелони так и останется до последнего часа Мари самым преданным, самым нежным ее другом.

От всего путешествия у Мари Кюри остались смутные и сумбурные впечатления, среди которых проступают блестящими штрихами особо яркие воспоминания. Ее поразила большая, деятельная жизнь американских университетов, пышность и веселье традиционных торжеств, а больше всего превосходные условия, созданные для процветания спорта в среде студентов.

Сильное впечатление произвела на нее роль женских объединений, чествовавших ее на протяжении всего путешествия. Наконец, великолепное оборудование лабораторий и тех многочисленных больниц, где применяется радиотерапия, вызвало у Мари горькое чувство: она с тоской думала, что в 1921 году во Франции нет еще ни одной больницы, предназначенной для лечения радием.

Грамм радия, ради которого Мари ездила в Америку, уезжает вместе с нею на том же пароходе, надежно спрятанный в корабельном несгораемом шкафу.

Этот символический грамм наводит на определенные размышления о карьере Мари Кюри. Чтобы получить ничтожную частичку радия, надо было выклянчивать его по всей Америке. Мари пришлось лично являться в города-благотворители и приносить благодарность.

Как не появиться навязчивой мысли о том, что простая подпись, поставленная в свое время под патентом на производство радия, изменила бы все по-другому! Разве двадцать лет борьбы и всяческих препятствий не вызвали у Мари сожалений, разве они не убедили ее в том, что, пренебрегая богатством, она тем самым приносила в жертву химере развитие собственного творчества?

В кратких автобиографических заметках, написанных по возвращении из Америки, мадам Кюри задает себе эти вопросы и дает на них ответ:

«...Подавляющее большинство моих друзей утверждают, и не без оснований, что если бы Пьер Кюри и я узаконили наши права, мы приобрели бы средства, достаточные для того, чтобы самим построить Институт радия, а не преодолевать бесконечные препятствия и трудности, которые ложились тяжким бременем на нас обоих, а теперь лежат на мне. И все-таки я думаю, что мы были правы.

Человечество, конечно, нуждается в деловых людях, которые извлекают максимум из своего труда и, не забывая об общих интересах, соблюдают и собственные выгоды.

Но человечеству необходимы и мечтатели, для которых бескорыстное служение какому-нибудь делу настолько увлекательно, что им и в голову не приходит заботиться о личных материальных благах.

Нет сомнения, что такие мечтатели и не заслуживают богатства, раз они сами не стремятся к его приобретению. Во всяком случае, правильно организованное человеческое общество должно предоставлять таким работникам все необходимое для их работы, избавить их жизнь от материальных забот и дать им возможность свободно отдаваться научному исследованию».

РАСЦВЕТ

Я думаю, что для моей матери путешествие в Америку было поучительным.

Оно доказало, что ее добровольное отчуждение от окружающего мира парадоксально. Студентка может запираться у себя в мансарде со своими книгами, какой-нибудь безвестный исследователь может отрешиться от внешнего мира и всецело сосредоточиться на своих работах — он даже обязан это делать; но пятидесятилетняя мадам Кюри — уже не студентка, а ученый с мировым именем. На мадам Кюри лежит ответственность за новую науку. Значение ее имени таково, что одним жестом, одним своим присутствием она может претворить в жизнь любой проект, имеющий общеполезное значение и близкий ее сердцу. Со времени путешествия она уделяет время и для внешних сношений, и для общественных миссий.

Я не стану описывать каждое путешествие Мари: они похожи одно на другое. Научные конгрессы, конференции, уни-

верситетские торжества, посещение лабораторий приводят ее в столицы многих стран. Ее шумно встречают, чествуют, она старается быть полезной. Очень часто ей приходится превозмогать физическую слабость.

Когда все официальные обязанности выполнены, то лучшей наградой для нее являются поездки за город, отдых на лоне природы. Тридцать лет работы только усилили ее языческое обожание красоты мира. Переезд через Атлантику на итальянском пароходе доставляет ей ребяческое удовольствие.

«*Мы видели летучих рыб!* — пишет она Еве.— *Мы убедились, что нашей тени может не быть почти совсем, так как солнце здесь находится прямо в зените. Мы наблюдали, как всем известные светила тонут в море: Полярная звезда, Большая Медведица. А на юге всплывает Южный крест, очень красивое созвездие. Я почти ничего не знаю о звездах на небе...*»

Четыре недели в Рио-де-Жанейро, куда она с Ирен приехала читать лекции, оказались для нее приятной разрядкой.

Каждое утро Мари — инкогнито — купается в бухте. После обеда совершает прогулки пешком, на автомобиле, на гидроплане...

Италия, Голландия, Англия принимают у себя Мари по нескольку раз. В 1931 году она вместе с Евой совершает незабываемое, пленительное путешествие по Испании. Президент Масарик, такой же, как она, любитель сельской жизни, приглашает ее в Чехословакию, в свой загородный дом.

В Брюсселе, куда она периодически приезжает на Сольвеевский конгресс, ее принимают не как известного физика, а как своего человека, хорошего друга. Она любит эти собрания, где все, кого она называет в одном из своих писем «влюбленными в физику», обсуждают новые открытия и новые теории. Чаще всего ее посещения Бельгии сопровождаются обедом у короля и королевы. Король Альберт и королева Елизавета, с которыми Мари встречалась еще на бельгийском фронте, сердечно к ней относятся.

В мире нет больше уголка, где бы не знали ее имени. Разве нет портрета мадам Кюри в старинном китайском городе Тайюань в Храме Конфуция? Мудрые ученые этой страны поместили ее портрет среди «благодетелей человечества», рядом с Декартом, Ньютоном, Буддой и великими императорами Китая...

* * *

15 мая 1922 года совет Лиги наций избирает мадам Кюри-Склодовскую членом Международной комиссии по научному сотрудничеству. Мадам Кюри-Склодовская соглашается.

Это важная дата в жизни Мари Кюри. С того времени, как она стала знаменитой, сотни всяких советов, лиг и обществ просят поддержать их своим авторитетом, но свое согласие она давала не всегда. Мари отказывается входить в состав тех комитетов, в которых она не сможет работать из-за недостатка времени. При всех обстоятельствах она желает сохранить за собой полнейший политический нейтралитет. Она не хочет изменять своему прекрасному званию «чистейшей воды ученой», бросаться в борьбу мнений, и даже самый безобидный манифест никогда не получает ее подписи.

Приверженность мадам Кюри к деятельности совета Лиги наций приобретает поэтому особое значение. Это останется единственной ее изменой Науке.

Международная комиссия по научному сотрудничеству объединила блестящих людей: Бергсона, Жильбера Меррея, Жюля Дестре и многих других... Мари становится вице-президентом комиссии. Принимает участие в нескольких комитетах экспертов, а также в комитете Института научного сотрудничества в Париже.

Тот, кому Мари представляется способной восторгаться пустым жонглированием общими словами, плохо знает эту практическую идеалистку. Мари Кюри работает в Женеве и еще раз ей удается послужить Науке.

Она борется с тем, что называет «анархией в мировой научной работе», и пытается привлечь своих собратьев к согласованной работе над разрешением целого ряда определенных вопросов, по виду незначительных, но таких, от которых зависит прогресс научного познания: рациональная организация библиографии таким образом, чтобы научный работник сразу мог найти все сведения о полученных достижениях других ученых в той области, которую он изучает; единая система обозначений и терминологии в науке; унификация формата изданий; краткие рефераты работ, опубликованных в журналах; составление таблицы констант.

Преподавание в университетах и лабораториях надолго приковывает внимание Мари. Она стремится улучшить методы. Провозглашает необходимость «целенаправленной работы», координирующей деятельность исследователей, и предлагает установить связь между руководителями научных учреждений,

создать настоящий генеральный штаб, призванный управлять всей научной деятельностью на европейском континенте.

Всю жизнь ею владела одна мысль — о тех дарованиях которые скрыты в слоях простых бедных людей и которым суждено остаться безвестными. В каком-нибудь крестьянине или рабочем, быть может, кроется писатель, художник, ученый или музыкант.

Вынужденная ограничивать свою практическую деятельность, Мари посвящает себя более широкому развитию международных научных стипендий.

«*В чем заинтересовано человеческое общество?* — пишет она в одной из своих докладных записок.— *Разве не его долг способствовать расцвету научных дарований? Разве оно так богато ими, что может приносить в жертву те, которые готовы проявиться? Я же думаю, что совокупность способностей, необходимых для настоящего научного призвания,— явление бесконечно ценное и тонкое, редкое сокровище; было бы нелепо и преступно давать ему гибнуть, а нужно заботливо ухаживать за ним, предоставляя все возможности для его расцвета...*»

Наконец — какой парадокс!..— ученая-физик, всегда чуждавшаяся материальной выгоды, становится ради своих коллег борцом за «научную собственность»: она стремится обосновать авторское право ученых, право вознаграждения за бескорыстные научные труды, легшие в основу промышленной технологии. Ее мечта — найти для лабораторий средство против бедности в виде субсидий на научные исследования за счет прибылей капиталистов.

Один раз Мари оставляет на время практические вопросы и едет в 1933 году в Мадрид председательствовать при обсуждении проблемы «Будущность культуры» с участием писателей и артистов всех стран, «дон-кихотов по духу, сражающихся с ветряными мельницами»,— как сказал о них Поль Валери, по чьей инициативе оно было собрано. Мари удивляет товарищей по конгрессу своей целеустремленностью и оригинальностью выступлений. Члены конгресса кричат об опасности «специализации», «стандартизации» и возлагают на науку часть ответственности за «кризис культуры», охвативший весь мир. Интересно видеть, как Мари Кюри, по своей натуре самый типичный Дон-Кихот из всех присутствующих здесь дон-кихотов, с таким же убеждением, как защищала раньше любовь к науке, защищает теперь личное дерзание и предприимчивость — одним словом, сильные чувства, которые всегда и управляли ею в жизни.

Тем, кто с этим не согласен, она говорит:

«Я принадлежу к числу людей, которые думают, что наука — это великая красота. Ученый у себя в лаборатории не просто техник: это ребенок лицом к лицу с явлениями природы, действующими на него, как волшебная сказка. Мы не должны допускать, чтобы люди думали, будто прогресс науки сводится к разным механизмам, машинам, хотя и в них есть своя красота.

...Не думаю я также, что дух смелой предприимчивости рискует исчезнуть из нашего мира. Если я вижу в окружающем меня нечто жизненное, то это как раз дух смелой предприимчивости, по-видимому, неискоренимый и родственный любознательности....»

Борьба за международную культуру, соединенную с уважением к различным национальным культурам, защита свободы личности и таланта, где бы они ни обнаружились, борьба за «укрепление великой духовной силы науки во всем мире». Борьба за «моральное разоружение», за мир во всем мире. Таковы сферы борьбы, которую ведет мадам Кюри, не льстя себя суетной надеждой на скорую победу.

Мари Кюри — Еве Кюри, июль 1929 года:

«Я полагаю, что работа в международных организациях — это задача очень нелегкая, однако приступить к ней необходимо, отдавая все свои силы и будучи готовым на любые жертвы; при всем своем несовершенстве дело Женевы — очень большое дело и заслуживает поддержки».

* * *

Две, три, четыре поездки в Польшу...

Не ради отдыха, забвения тревог едет мадам Кюри к своим близким. С того времени, как Польша стала свободной, Мари не дает покоя большой проект: создать в Варшаве Институт радия как центр научных исследований и лечения рака.

Но одного ее упорства недостаточно, чтобы преодолеть все затруднения. Выздоравливающая после долгого порабощения Польша бедна: бедна и деньгами, и техническими средствами. А у Мари нет времени самой хлопотать и изыскивать средства. Нужно ли называть союзницу, которая по первому зову становится с ней плечом к плечу? Броня, хотя и обремененная года-

ми, но такая же энтузиастка и такая же деятельная, как и тридцать лет тому назад, берется за это дело. Она и архитектор, и ходатай, и казначей. В скором времени всю страну наводнили плакаты и марки с изображением Мари. Требуются деньги или, вернее, кирпичи: «Покупайте по одному кирпичу, чтобы построить Институт имени Марии Склодовской-Кюри!» — взывают тысячи почтовых открыток, воспроизводящих факсимиле собственноручного заявления ученой: «Мое самое пламенное желание — создать в Варшаве Институт радия». Это предприятие пользуется щедрой поддержкой государства, города Варшавы и наиболее значительных польских учреждений.

Запас кирпичей все увеличивается... И в 1925 году Мари приезжает в Варшаву на закладку института. Торжественная встреча: воспоминания прошлого, обещания на будущее... Горячая любовь всего народа сопутствует той, которую один из ораторов называет «первой фрейлиной нашей прелестной владычицы Польской республики». Университеты, академии, города присуждают Мари самые пышные почетные звания... В один из солнечных дней президент республики закладывает первый кирпич в фундамент института, мадам Кюри — второй, примас города Варшавы — третий...

Никакой официальной натянутости при торжествах! Глава государства Станислав Войцеховский не только из любезности восхищается совершенством, с каким Мари говорит на родном языке после стольких лет отсутствия. А разве он не был в Париже товарищем Марии Склодовской? Воспоминания, воспоминания:

— А Вы помните, что тридцать лет назад Вы дали мне дорожную подушечку, когда я возвращался в Польшу с тайной миссией? — спрашивает президент. — Она мне очень пригодилась!

— Я даже помню, — со смехом отвечает Мари, — что Вы забыли мне ее вернуть!

Пан Котарбинский, очень известный и очень старый актер, вскочив на сцену Народного театра, приветствует мадам Кюри комплиментом, тот самый Котарбинский, которому веселый подросток Маня сплела когда-то в Зволе венок из полевых цветов.

Годы идут, из отдельных кирпичей вырастают стены. Но это не конец трудам Мари и Брони. Каждая из них отдала на это дело бóльшую часть своих сбережений, а все же не хватает денег на покупку такого количества радия, чтобы начать лечение от рака.

Мари не унывает. Обследует горизонт и останавливает взгляд на западе... на Соединенных Штатах, где уже один раз ей помогли так щедро,— на миссис Мелони. Великодушная аме-

риканка знает, что институт в Варшаве так же дорог Мари, как ее собственная лаборатория. Миссис Мелони совершает новое чудо, собрав деньги, необходимые на покупку грамма радия, — второго грамма, подаренного Америкой мадам Кюри. Все начинается сызнова! В октябре 1929 года, так же как в 1921 году, Мари садится на пароход и направляется в Нью-Йорк. Она едет благодарить Соединенные Штаты от имени Польши. Так же как в 1921 году, ее изводят всякими чествованиями. В этот приезд она является гостьей президента Гувера и живет несколько дней в Белом доме.

«Мне подарили маленького слоника, выточенного из слоновой кости, очень миленького, а также еще одного — совсем крошечного, — пишет она Еве. — *Кажется, слон — это символ республиканской партии, и Белый дом переполнен слонами всяких размеров...»*

Америка, охваченная экономическим кризисом, имеет более серьезный вид, чем в 1921 году. Но прием, оказанный Мари, не стал менее горячим. В день рождения мадам Кюри получает сотни подарков, присланных неизвестными друзьями: цветы, книги, вещи, денежные чеки на нужды ее лаборатории и даже гальванометры, ампулы с радоном, образцы редкоземельных элементов. Накануне отъезда Мари под дружеским руководством Оуэна Д. Юнга посещает университет Св. Лаврентия, на фронтоне которого высечено из камня горельефное изображение мадам Кюри. Она присутствует на юбилее Эдисона; во всех речах и даже в послании с Южного полюса от капитана Бэрда звучат приветствия Мари Кюри.

29 мая 1932 года Мари Кюри приезжает в Варшаву на открытие Института радия. В присутствии президента Республики Мосьцицкого коллега и друг мадам Кюри профессор Рего открывает в Варшаве Институт радия — внушительного вида здание, обширное благодаря практическому уму Брони и гармоничное благодаря ее вкусу. Уже несколько месяцев назад в него стали поступать больные для прохождения курса радиотерапии.

Мари в последний раз видит Польшу, старинные улицы родного города и Вислу, которой любуется при каждом своем приезде, глядя на нее с тоской, почти с угрызениями совести. В своих письмах Еве она снова и снова описывает ее воды, берега и камни, привязанная к ним самым сильным из инстинктов:

«Вчера утром я пошла одна прогуляться в сторону Вислы... Река лениво вьется в своем широком ложе, серо-зеленая вблизи и голубая вдали, где отражается в ней небо. Очаровательные

песчаные отмели блестят на солнце, то там, то здесь выступая из воды и направляя прихотливое течение реки. Ослепительно сверкающие кромки вдоль края отмелей указывают границу наиболее глубоких мест. У меня появляется непреодолимое желание побродить по этим великолепным лучезарным пляжам. Я сознаю, что такой вид моей реки не соответствует виду судоходной, уважающей себя реки. Когда-нибудь придется немного сократить ее фантазию в ущерб красоте...

Есть краковская песенка, где говорится о Висле: «В этой польской реке столько очарования, что всякий, способный это понимать, будет любить ее до гроба». В отношении меня это, по-видимому, верно.

Какой-то непонятный, но сильный инстинкт влечет меня к этой реке.

До свидания, дорогая; поцелуй свою сестру Ирен. Обнимаю вас обеих от всего преданного вам сердца.

Твоя Мэ».

* * *

Во Франции...

По почину барона Ротшильда в 1920 году создается Фонд Кюри, автономное учреждение, имеющее право получать пожертвования, субсидии для развития научной и лечебной работы Института радия.

В 1922 году тридцать пять членов Медицинской академии вручили своим коллегам следующую петицию:

«Мы, нижеподписавшиеся, полагаем, что Академия оказала бы себе честь, если бы избрала мадам Кюри своим членом-корреспондентом в знак признательности за ее участие в открытии радия и нового способа лечения — кюри-терапии».

Петиция была революционной. Академики не только соглашаются избрать женщину членом, но, порывая с обычаями, сами хотят этого. Шестьдесят четыре члена знаменитого сообщества подписывают свой манифест, давая этим урок своим собратьям по Академии наук. Все кандидаты на свободное место отказываются от него в пользу мадам Кюри.

Блестяще прошедшее избрание состоялось 7 февраля 1922 года. Президент Академии месье Шошар с высоты трибуны обращается к Мари:

«Мы приветствуем в Вашем лице крупного ученого и мужественную женщину, посвятившую свою жизнь бескорыстному

научному труду, патриотку, которая и во время войны, и в мирные времена всегда делала больше, чем требовал долг. Вы оказываете благотворное моральное воздействие своим примером и славой Вашего имени. Мы благодарны Вам за это. Мы гордимся Вашим пребыванием среди нас. Вы первая из французских женщин стали академиком, но разве была другая, достойная того же?..»

В 1923 году Фонд Кюри решает торжественно отпраздновать двадцать пятую годовщину со дня открытия радия. Правительство тоже участвует в этом празднестве, и по его инициативе обе палаты единогласно принимают решение об ассигновании мадам Кюри как «национальной награды» ежегодной пенсии в сорок тысяч франков, право на которую по наследству перейдет к Ирен и Еве Кюри.

Через двадцать пять лет после заседания Академии наук от 26 декабря 1898 года, когда зачитывалось сообщение Пьера Кюри, мадам Кюри и Ж. Бемона «О веществе большой радиоактивной силы, содержащемся в уранините», в тот же день 26 декабря, но 1923 года огромная толпа заполнила большой амфитеатр Сорбонны.

Французские и иностранные университеты, научные общества, общественные и военные организации, парламент, высшие школы, студенческие землячества, печать прислали делегации на это торжество. На эстраде разместились: президент Французской республики Александр Мильеран; министр народного образования Леон Берар; ректор Академии и председатель Фонда Кюри Поль Аппель; профессор Лоренц, выступающий от имени иностранных ученых; профессор Жан Перрен, выступающий от факультета естествознания, и доктор Антуан Беклер от Медицинской академии.

В группу «важных персон» замешались седой мужчина с серьезным лицом и две пожилые женщины, вытирающие на глазах слезы, — это Юзеф, Эля и Броня, явившиеся, чтобы присутствовать на торжестве Мани. Слава, свалившаяся на голову младшей Склодовской, нисколько не отразилась на братских чувствах. Никогда еще волнение и гордость не красили так эти три лица.

Андре Дебьерн зачитывает научные сообщения об открытиях в области радиоактивных тел. Руководитель научных исследований Института радия Фернан Гольвек демонстрирует с помощью Ирен несколько опытов с радием. Президент Французской республики преподносит Мари Кюри национальную пенсию «как скромное, но искреннее свидетельство всеобщего восхищения, уважения и благодарности», а Леон Берар остро-

умно замечает, что правительство и палаты, предлагая и принимая этот закон, должны были оставить без внимания или, по выражению юристов, «признать недействительными скромность и бескорыстие мадам Кюри».

Последней встает мадам Кюри, приветствуемая громом аплодисментов. Тихим голосом, стараясь никого не забыть, она благодарит всех, кто ее чествовал. Говорит о Пьере Кюри. Заглядывает в будущее. Не в свое, в будущее Института радия, горячо убеждает оказывать ему помощь и поддержку.

* * *

Я изобразила Мари Кюри в закатную пору ее жизни, когда она стала предметом восхищения широких слоев народа, когда ее принимали главы государств, посланники и короли на всех широтах земного шара.

В моих воспоминаниях о всех торжествах и приемах в ее честь всегда господствует все тот же образ: бескровное, безучастное, почти равнодушное лицо моей матери.

Когда-то она высказала мысль: «В науке мы должны интересоваться вещами, а не личностями». Прошедшие годы научили ее, что народы, даже правительства, интересуются вещами через посредство личностей. Волей-неволей она усвоила, что ее личная история послужила к чести науки, способствовала расцвету научных учреждений. Она стала средством для пропаганды любимого ею дела.

Но в ней самой ничто не изменилось: все тот же страх перед толпой, все та же робость, от которой холодеют руки, пересыхает в горле, а главное, такая же безнадежная неспособность к суете сует. Несмотря на все старания, ей не удалось войти в соглашение со славой. Она и впредь не будет одобрять того, что называется проявлениями фетишизма.

Во время одного из своих путешествий она мне пишет:

«Я нахожусь вдали от вас обеих и являюсь предметом многих манифестаций, которые я не люблю и не могу оценить, потому что они меня утомляют, — от этого я сегодня с утра чувствую себя немного грустно.

Когда я сошла с поезда в Берлине, с того же поезда сошел боксер Демпси, и собравшаяся толпа с приветственными криками бежала вслед по платформе. А в сущности, есть ли разница между шумными приветствиями в адрес Демпси и в мой собственный? Мне кажется, что такой способ приветствия нельзя одобрить, кто бы ни был предметом манифестации. Впрочем, я не представляю себе ясно, как это должно происходить и в

какой степени допустимо смешивать человека с той идеей, какую он представляет...»

Разве неумеренные приветствия открытия двадцатипятилетней давности могли удовлетворить ту страстную студентку, которая еще жила в этой престарелой женщине? В унылом тоне ее высказываний слышится возмущение преждевременными похоронами, какими является «известность». Не раз она проговаривается: «Когда они мне говорят о моих «блестящих работах», мне кажется, что я умерла, что я вижу себя в гробу. — И добавляет: — Также мне кажется, что те услуги, какие я еще могла бы оказать, их не интересуют, что, если бы я исчезла, им было бы легче расхваливать меня».

В этом сопротивлении, в этом отрешении и заключается сила исключительного воздействия мадам Кюри на людей. В противоположность популярным личностям — политическим деятелям, монархам, театральным или кинематографическим актерам, которые с момента появления на эстраде делаются сообщниками своих обожателей, Мари таинственно «отсутствует» на торжествах с ее участием. То потрясающее впечатление, какое производит эта неподвижная, одетая в черное фигура, конечно, получается от полного отсутствия какого-либо контакта между публикой и ею.

Из всех людей, пользовавшихся почетом, быть может, ни один не появлялся с таким замкнутым выражением лица, с таким отсутствующим видом, в буре приветствий не казался столь одиноким.

ОСТРОВ СВ. ЛЮДОВИКА

Всякий раз по возвращении Мари из блестящего путешествия обе дочери встречают ее на вокзале. В руках ученой все тот же большой коричневый кожаный саквояж, когда-то подаренный обществом польских женщин; он набит бумагами, папками, футлярами для очков. В сгибе локтя у Мари зажат целый сноп увядших цветов, приподнесенных где-то в пути, и, хотя он ее стесняет, она не решается его бросить.

Передав дочерям вещи, Мари взбирается на четвертый этаж своего дома на острове Св. Людовика. Пока она просматривает почту, Ева, став на колени, распаковывает вещи.

Среди знакомых предметов одежды она находит докторскую мантию, эмблемы вновь полученной степени доктора honoris causa, футляры с медалями, пергаментные свитки и — самое драгоценное из всего прочего — меню банкетов, которые Мари

старательно хранит. Так удобно на оборотной стороне этих карточек из толстого и крепкого картона писать карандашом физико-математические расчеты.

Наконец в шорохе шелковой бумаги появляются на свет подарки для Ирен и Евы и купленные самой Мари сувениры, выбранные из-за их своеобразия и скромности. Их сберегут навсегда.

Кусочки окаменелых деревьев из Техаса послужат в качестве пресс-папье; дамасские клинки из Толедо будут играть роль закладок в научных книгах; шерстяные коврики, вытканные руками гуралей, покроют столики. По вороту черных кофт Мари приколоты скромные украшения — кусочки серебряной руды, собранные в Большом каньоне, на которых индейцы выгравировали молнии в виде зигзагов, гранатовые броши из Богемии; золотое филигранное ожерелье; старомодная, очень хорошенькая брошь из аметистов — вот единственные драгоценности моей матери. Не думаю, чтобы за все дали триста франков.

Странный вид у этой семейной квартиры на набережной Бетюн — большой, неудобной, прорезанной коридорами и внутренними лестницами, а мадам Кюри прожила в ней двадцать два года! Внушительные комнаты этого здания XVII века тщетно ждут парадных пышных кресел и диванов, соответствующих их пропорциям и стилю. В громадной гостиной, где можно разместить человек пятьдесят гостей, а редко бывает больше четырех, стоит на вощеном красивом паркете, который поскрипывает и потрескивает при каждом шаге, унаследованная от доктора Кюри мебель красного дерева. Никаких плюшевых штор, сквозь тюлевые занавески просвечивают высокие окна с всегда поднятыми жалюзи. Мари не выносит матерчатых украшений. Она любит блестящие поверхности, оголенные окна, не скрадывающие ни одного солнечного луча. Она желает любоваться чудесным видом: слева — Сеной, набережной, а справа — древним ледорезом.

Мари слишком долго жила в бедности, чтобы уметь устраивать красивое жилище, и теперь у нее нет ни желания, да, впрочем, и времени менять обстановку, которая останется такой до конца ее жизни. Однако постоянный приток всяких подарков способствует украшению пустых и светлых комнат. Тут и акварельные рисунки различных цветов, поднесенные анонимным поклонником; и копенгагенская ваза, самая большая и самая красивая из изготовленных на этом фарфоровом заводе; и коричневый с зеленым ковер — подарок одной румынской фабрики; и серебряная ваза с пышной надписью... Единственным собственным приобретением Мари является черное фортепьяно, купленное для Евы, на котором младшая дочь упражняется ча-

сами, причем мадам Кюри никогда не жалуется на поток ее арпеджио.

Только одна комната из всех имеет вид действительно обжитой — это рабочий кабинет Мари. Портрет Пьера Кюри, застекленные шкафы с научными книгами и кое-какая старинная мебель придают ему благородный тон.

Эта квартира, выбранная самой Мари из множества других в целях своего спокойствия, — самое шумное жилище, какое можно себе представить. Гаммы пианистки Евы, резкие звонки телефона, стремительный галоп черного кота, любителя кавалерийских атак в коридорах, громкий звон колокольчика на входной двери, назойливые свистки буксирных пароходов на Сене отдаются усиленным эхом от высоких стен.

* * *

Еще до восьми часов утра шумная деятельность служанки, далеко не вышколенной, постоянно подгоняемой распоряжениями мадам Кюри, поднимает на ноги всю квартиру. Без четверти девять скромный лимузин останавливается на набережной и дает тройной сигнал. Мари бросается надевать шляпку, манто и торопливо спускается по лестнице. Пора в лабораторию.

Благодаря государственной пенсии и постоянному пособию от американских благодетелей исчезли материальные заботы. Доходы мадам Кюри, хотя некоторые и сочли бы их смехотворными, вполне обеспечивали ей комфорт, которым она плохо умела пользоваться. Она никогда не могла усвоить привычку прибегать к услугам горничной. Если она заставляла шофера ждать себя более нескольких минут, то чувствовала себя виноватой. Когда Мари входила вместе с Евой в магазин, она не глядела на цены, а по наитию, безошибочно указывала рукой на самое простое платье, на самую дешевую шляпку, единственное, что ей приходилось по вкусу.

Мадам Кюри не жалеет денег только на деревья, на цветы, на виллы. Выстроила себе две дачи: одну в Ларкуесте, другую на Средиземном море. С возрастом она стала искать более горячего солнца на юге и более теплого моря, чем в Бретани. Ей доставляло много радости спать на чистом воздухе на террасе своей виллы в Кавальере, любоваться видом на бухту и Иерские острова, сажать у себя в саду на крутом берегу эвкалипты, мимозы, кипарисы. Два ее друга, мадам Сальнав и мадемуазель Клеман, с некоторым страхом любуются ее проделками: Мари купается в протоках между скалами, плавая от одной скалы к другой, и подробно описывает свои достижения дочерям:

«Купание здесь хорошее, но до удобных мест надо идти довольно далеко. Сегодня купалась у скал, выступающих в Лавиже, — но сколько надо карабкаться! Уже три дня море спокойно, и я убедилась, что могу далеко заплывать. При спокойном море заплыв на триста метров меня нисколько не пугает, я, несомненно, способна и на большее».

По-прежнему она мечтает уехать из Парижа и жить зимою в Со. Она купила там участок с намерением строить дом. Проходят годы, но окончательное решение не принимается. И каждый день в час завтрака она пешком возвращается домой, переходит мост Турнель почти таким же быстрым шагом, как и прежде, и, немного запыхавшись, поднимается по лестницам старинного здания на острове Св. Людовика.

* * *

Когда Ева была еще ребенком, а Ирен, юная ассистентка мадам Кюри, жила и работала с матерью, разговор вокруг круглого обеденного стола часто сводился к научному диалогу между ученой матерью и старшей дочерью. Технические формулы лезли в уши Евы, которая толковала их по-своему. Так, например, девочка с удовольствием слушала, как ее мать и старшая сестра употребляли в разговоре некоторые алгебраические формулы: бэбэ прим (Bb^1) и бэбэ квадрат (Bb^2). Ева думала, что все эти бэбэ *, должно быть, прелестны. Но почему они «прим» и почему «квадрат»? У кого какие преимущества?

В одно прекрасное утро 1926 года Ирен спокойно объявила родным о своей помолвке с Фредериком Жолио, самым блестящим и самым кипучим из сотрудников Института радия. Весь уклад жизни в доме нарушился. В квартире, населенной лишь женщинами, вдруг объявился мужчина, молодой человек вторгся туда, куда вообще не проникал никто кроме Андре Дебьерна, Мориса Кюри, Перренов, Борелей и Моренов. Молодожены жили сначала на набережной Бетюн, а затем сняли себе отдельную квартиру.

Мари, хотя и была довольна счастьем дочери, все же огорчалась нарушением привычной жизни со своей постоянной сотрудницей по работе и плохо скрывала тайное смятение.

Но затем, благодаря ежедневной близости, она лучше узнала Фредерика Жолио — своего ученика, ставшего зятем; лучше

* «Бэбэ» в переводе с французского «младенец», «малютка». — *Прим. перев.*

оценила исключительные достоинства этого красивого молодого человека — говорливого, преисполненного энергией, и тогда убедилась, что все к лучшему. Два ассистента вместо одного больше могли помочь ей в ее заботах, в обсуждении текущих работ, в осуществлении ее проектов, а вскоре они сами стали выдвигать предложения и новые идеи. Чета Жолио усвоила привычку четыре раза в неделю приходить завтракать к мадам Кюри.

И снова вокруг круглого стола заговорили о «бэбэ квадрат» и «бэбэ прим».

* * *

— Мэ, ты поедешь в лабораторию?

Серые глаза, с недавнего времени прикрытые очками в черепаховой оправе, а сейчас разоруженные, ласково остановились на Еве:

— Да, сейчас. Но раньше побываю в Медицинской академии. Впрочем, заседание академии только в три часа, и, думаю, у меня еще будет время... Да, я съезжу на цветочный рынок и, может быть, заеду на минуту в Люксембургский сад.

Троекратный гудок «форда» у подъезда. Через несколько минут Мари уже ходит между рядами горшков с цветами и ящиками с перегнойной землей, выбирает растения для посадки в саду лаборатории и, завернув их в газетную бумагу, осторожно кладет на сиденье в автомобиле.

Она знакома с садовниками и садоводами, но почти никогда не бывает в цветочных магазинах. Не знаю, по какой причине, может по привычке к бедности, она дичится очень дорогих цветов. Преданные друзья мадам Кюри — Жан Перрен, Морис Кюри — часто врываются к ней с большими букетами в руках. И совершенно так же, как если бы она смотрела на какие-нибудь драгоценности, она удивленно, немного робко смотрит на большие махровые гвоздики и прекрасные розы.

Половина третьего. Мари выходит из машины у ограды Люксембургского дворца и спешит на свидание у «левого льва». Среди сотен детей, играющих в саду, есть маленькая девочка, которая, завидев Мари, бежит к ней во всю прыть своих малюсеньких ножек: Элен Жолио, дочь Ирен. По виду мадам Кюри — бабушка сдержанная, не склонная к нежностям. Но она тратит много времени на всякие обходные маневры, чтобы поговорить несколько минут с малюткой, одетой в ярко-красное платьице и спрашивающей деспотическим тоном: «Мэ, ты куда идешь? Мэ, почему ты не останешься со мной?»

Часы на Сенате показывают без десяти минут три. Надо расставаться с Элен и ее пирожками из песка. В строгом зале заседаний на улице Бонапарта Мари занимает свое обычное место рядом со своим старым другом, доктором Ру. Она единственная женщина среди шестидесяти своих почетных коллег, участвующая вместе с ними в работе Президиума Медицинской академии.

* * *

— Ах! Как я устала! — говорит почти каждый вечер Мари Кюри с бледным лицом, осунувшимся и постаревшим от усталости. Ее задерживают в лаборатории до половины восьмого, иногда и до восьми. Автомобиль довез ее до дома, и преодолеть три этажа показалось ей труднее, чем обычно. Она надевает ночные туфли, накидывает на плечи курточку из черного ратина. Бесцельно бродит по дому, еще более безмолвному в конце дня, и ждет, когда горничная доложит, что обед подан.

Напрасный труд, если бы дочь стала говорить ей: «Ты слишком много работаешь. Женщина в шестьдесят пять лет не может, не должна работать, как ты, по двенадцать или четырнадцать часов в день». Ева отлично знает, что мадам Кюри не способна работать меньше, что такой довод был бы для нее страшным признаком одряхления. В этих условиях все пожелания дочери могли сводиться только к одному — чтобы у матери хватило подольше сил работать по четырнадцать часов в день.

С тех пор как Ирен перестала жить на набережной Бетюн, мадам Кюри и Ева обедают вдвоем. Множество обстоятельств прошедшего рабочего дня занимают ум Мари, и она не может удержаться, чтобы не обсуждать их вслух. Так, от вечера к вечеру, из ее не связанных между собой замечаний вырисовывается таинственная, волнующая картина напряженной деятельности лаборатории, которой Мари предана душой и телом. Хотя Ева никогда и не увидит всех этих приборов, но они становятся для нее чем-то дружественным, близким, как и сотрудники лаборатории, о которых Мари говорит тепло, почти нежно, с большим упором на притяжательные местоимения:

— Я очень довольна «моим» молодым Грегуаром. Я знала, что он очень способен... *(Кончив суп.)* Представь себе, что сегодня я застала «моего» китайца в физическом кабинете. Мы говорили по-английски, и наш разговор продолжался бесконечно. В Китае неприлично возражать, и, когда я высказываю гипотезу, в неточности которой он перед этим убедился, он все-таки любезно поддакивает мне. А я должна сама догадываться, что у него есть возражения. Перед моими учениками с Дальнего

Востока мне приходится стыдиться своих плохих манер. Они более цивилизованные, чем мы! *(Приступая к компоту.)* Ах, Евочка, надо бы пригласить к нам на вечер «моего» поляка нынешнего года. Боюсь, как бы он не пропал в Париже.

В такой Вавилонской башне, как Институт радия, различные национальности сменяются одна другой. Но среди них всегда есть хоть один поляк. Если мадам Кюри не может дать университетскую стипендию своему соотечественнику в ущерб более способному кандидату, она за свой счет оплачивает занятия молодого человека, приехавшего из Варшавы, но он никогда не узнает об этом.

Мари неожиданно меняет тему разговора. Наклонившись к дочери, она говорит другим голосом:

— Теперь, дорогая, расскажи мне что-нибудь. Какие новости в мире?

С ней можно говорить обо всем, в особенности о вещах по-детски наивных. Она разделяет восторг Евы, которой удалось развить скорость автомобиля до семидесяти километров в час. Сама мадам Кюри, хотя и осторожная, но страстная автомобилистка, ревниво следит за спортивными возможностями своего «форда». Анекдоты о ее внучке Элен, какое-нибудь по-смешному сказанное ею слово вызывают у Мари неожиданно молодой смех до слез.

Она умеет говорить и о политике без резкости. «Ах, этот оптимистический либерализм!» Когда французы хвалят преимущество диктатуры, она мягко возражает: «Я жила под политическим гнетом. Вы — нет. Вы не понимаете, какое вам выпало счастье жить в свободной стране...» Сторонники насилия встречают у нее отпор: «Вам никогда не убедить меня, что было полезно отправить Лавуазье на гильотину!..»

У Мари не было времени уделять серьезное внимание воспитанию своих дочерей. Но благодаря ей Ирен и Ева ежедневно пользуются одним несравненным благом: счастьем жить рядом с исключительным человеком — исключительным не только по таланту, но и по своему гуманизму, по своему внутреннему отрицанию всякой пошлости, всякой мелочности. Мадам Кюри избегает даже такого проявления тщеславия, какое было бы вполне простительно: ставить себя в пример другим женщинам. «Нет необходимости вести такую противоестественную жизнь, какую вела я, — говорит она своим чересчур рьяным поклонницам. — Я отдала много времени науке, потому что у меня было к ней стремление, потому что я любила научное исследование... Все, чего я желаю женщинам и молодым девушкам, это простой семейной жизни и работы, какая их интересует».

* * *

Вечерами во время тихих обедов случается, что Мари и Ева заводят разговор о любви. Эта женщина, пострадавшая так трагически, так несправедливо, не питает большого уважения к страсти. Она охотно присоединилась бы к словам одного крупного писателя: «Любовь — чувство не почтенное».

«Я думаю, — пишет она Еве, — *что нравственную силу мы должны черпать в идеализме, который, не развивая самомнения, внушает нам высокие стремления и мечты; я также думаю, что обманчиво ставить весь интерес к жизни в зависимость от таких бурных чувств, как любовь».*

Она умеет выслушивать всякие признания, хранить их в полной тайне так тонко, как если бы она их никогда не слышала. Умеет бежать на помощь своим близким, если им угрожает несчастье или опасность. Но разговоры с ней о любви никогда не удаются.

В ее суждениях и философии все личное упорно исключается, и Мари ни при каких обстоятельствах не открывает дверей в свое горестное прошлое с целью извлечь из него какие-нибудь поучительные случаи или воспоминания. Это ее внутренний мир, куда никто, даже самый близкий человек, не имеет права доступа.

Обеим дочерям она дает понять только свою тоску из-за того, что стареет вдали от своих двух сестер и брата, к которым по-прежнему питает нежную привязанность. Сначала изгнание, а потом вдовство лишили ее былой ласки, теплоты, семейного уюта. Она пишет грустные письма своим друзьям, жалуясь, что видится с ними слишком редко: Жаку Кюри, живущему в Монпелье, брату Юзефу, Эле, наконец Броне — тоже с разбитой жизнью: она потеряла обоих детей, а в 1930 году и мужа Казимежа Длусского.

Мари — Броне, 12 апреля 1932 года:

«Дорогая Броня, я тоже грущу оттого, что мы разлучены. Хотя ты чувствуешь себя одинокой, у тебя все же есть утешение: в Варшаве вас трое, и ты можешь рассчитывать на поддержку и заботу о себе. Поверь мне, родственные узы все же единственное благо. Я это знаю потому, что его лишена. Пусть это послужит для тебя утешением и не забывай свою парижскую сестру: давай видеться почаще...».

Если после обеда Ева собирается уйти из дому, поехать на какой-нибудь концерт, Мари приходит к ней в комнату и ложится на диван. Смотрит, как одевается дочь.

Их мнения о женском туалете и эстетике различны. Но Мари уже давно отказалась от навязывания своих взглядов. Из них двоих скорее Ева подавляет мать, категорически настаивая, чтобы Мари меняла свои черные платья раньше, чем они вытрутся до основы. Споры обеих женщин остаются часто академическими, и мать, уже примирившись, весело, с юмором делает дочери замечания:

— О, бедняжка, какие ужасные каблуки! Нет, ты никогда не убедишь меня, что женщины созданы для хождения на ходулях... И что это за новая мода делать вырез на спине. Спереди еще куда ни шло, но целые гектары голых спин?! Во-первых, это неприлично; во-вторых, риск заболеть плевритом; в-третьих, просто некрасиво! Если первые два аргумента не могут убедить тебя, то третий должен подействовать. А вообще—платье красивое! Но ты слишком часто ходишь в черном. Черный цвет не для твоего возраста....

Самую бурную реакцию вызывает у Мари косметический грим. Когда Ева оценивает окончательные результаты продолжительной работы над своим лицом, она слышит иронический голос матери: «Ну-ка, повернись ко мне, я полюбуюсь!» Мадам Кюри оглядывает ее беспристрастно, по-научному. Она — в ужасе.

— Что с тобой поделаешь, я не возражаю против этой мазни в принципе. Я знаю, что так было всегда. В древнем Египте женщины выдумывали и похуже... Могу сказать тебе только одно: я нахожу это ужасным. Без всякого смысла ты коверкаешь брови, раскрашиваешь рот...

— Мэ, уверяю тебя, что так лучше.

— Лучше!! Так слушай, я, чтобы успокоиться, приду тебя поцеловать завтра утром, когда ты будешь еще в постели и не успеешь нанести на лицо всю эту пакость. Я люблю, когда ты без косметики... Теперь, дочка, можешь удирать... Можешь удирать, дочка. До свидания... Ах, да! Нет ли у тебя чего-нибудь почитать?

— Конечно! Что тебе хочется?

— Не знаю... Ну, что-нибудь полегче. Только в твоем возрасте можно читать грустные, тяжелые романы.

Несмотря на разные литературные вкусы, у них с Евой есть и общие любимцы: Коллет, Киплинг... В «Книге джунглей», в «Рождении дня», в «Сидо», в «Киме» Мари неустанно перечитывает великолепные, сочные описания природы, которая всегда являлась для нее источником бодрости и силы. Она

знает наизусть множество стихов французских, немецких, английских, русских, польских поэтов...

Взяв выбранный Евой том, она уединяется у себя в кабинете, усаживается в обитую красным бархатом качалку, подкладывает под голову мягкую пуховую подушечку и перелистывает несколько страниц.

Но через полчаса, может быть, через час она откладывает книгу. Встает, берет карандаш, тетради, оттиски статей. И, как обычно, будет работать до двух, до трех часов ночи.

Вернувшись домой, Ева видит сквозь круглое окошко узенького коридора свет в комнате матери. Она проходит по коридору, толкает дверь... Каждый вечер картина одна и та же. Мадам Кюри, окруженная листами бумаги, логарифмическими линейками, брошюрами, сидит на полу. Она никогда не могла привыкнуть работать за письменным столом, усевшись в кресло, по традиции «мыслителей». Ей требуется неограниченное пространство, чтобы разложить свои записи, таблицы, чертежи, диаграммы.

Она поглощена трудным теоретическим расчетом и не поднимает головы при появлении дочери, хотя и чувствует ее присутствие. Выражение лица сосредоточенное, брови сдвинуты. На коленях тетрадь, карандашом она набрасывает знаки, формулы. Губы что-то шепчут.

Можно разобрать, что это цифры. И так же, как шестьдесят лет тому назад в классе арифметики у пани Сикорской, мадам Кюри, профессор Сорбонны, считает по-польски.

ЛАБОРАТОРИЯ

— Мадам Кюри у себя?

— Я к мадам Кюри. Она приехала?

— Не видели мадам Кюри?

Такие вопросы задают юноши и девушки в белых лабораторных халатах, встречаясь в вестибюле Института радия, через который должна пройти Мари. Пятьдесят научных сотрудников каждое утро ждут здесь ее появления. Всякий стремится, «чтобы не беспокоить ее после», спросить совета, получить на ходу какое-нибудь указание. Так образуется то, что Мари в шутку называет «советом».

Совет ждет недолго. В девять часов старенький автомобиль появляется со стороны улицы Пьера Кюри, заворачивает на аллею. Дверца автомобиля хлопает. Появляется мадам Кюри. Группа ожидающих радостно окружает ее. Робкие, почтительные голоса докладывают о том, что такое-то измерение закончено,

сообщают новости о растворении полония, вкрадчиво замечают: «Если бы мадам Кюри зашла посмотреть на камеру Вильсона, то увидела бы нечто интересное».

Мари хотя и жалуется иногда, но очень любит этот вихрь энергии и любознательности, налетающий на нее с самого утра. Вместо того чтобы ускользнуть, бежать к собственной работе, она остается, как была — в шляпе и манто, в кругу своих сотрудников. Каждое из этих лиц, жадно смотрящих на нее, каждый взгляд напоминает ей о каком-нибудь опыте, который она обдумывала в одиночестве.

— Месье Фурнье, я думала над тем, о чем вы говорили... Ваша идея хороша, но способ ее осуществления, какой вы предлагаете, не выполним. Я нашла другой, который должен удаться. Я сейчас зайду к вам, и мы поговорим. Мадам Котель, какие получились у вас результаты? Вы уверены в точности расчетов? Вчера вечером я проверила их, и у меня получились несколько иные результаты. Ну, да там увидим...

В ее замечаниях нет ни беспорядочности, ни недоговоренности. В течение нескольких минут, которые она посвящает кому-нибудь из научных сотрудников, мадам Кюри целиком сосредоточивается на данной проблеме, известной ей во всех подробностях. Через минуту она уже говорит с другим о другой работе. Ее ум чудесно приспособлен к такой своеобразной гимнастике. В лаборатории, где молодые люди напрягают все свои силы, она похожа на чемпиона по шахматам, который играет одновременно тридцать — сорок партий.

Люди проходят, здороваются, останавливаются. Дело кончается тем, что Мари садится на ступеньку лестницы, не прерывая заседания, мало пригодного для ведения протокола. Сидя на лестнице и глядя снизу вверх на сотрудников, стоящих перед ней или прислонившихся к стене, она ничуть не похожа на классический тип начальника. И тем не менее!.. Это она сама, тщательно изучив способности каждого, подобрала младших сотрудников лаборатории. И почти всегда она же предлагает им темы работ. К ней приходят ее ученики в минуты отчаяния, твердо веря, что мадам Кюри обнаружит ошибку в опыте, которая увела их на ложный путь.

За сорок лет научной работы эта седоволосая ученая накопила огромный запас знаний. Мадам Кюри является ходячей «энциклопедией» по радию: владея в совершенстве пятью языками, она перечитала все печатные работы об исследованиях в этой области.

В явлениях, уже известных, она открывает возможность дальнейших исследований. Благодаря своему здравому суждению Мари обладает бесценным даром — разбираться в запутан-

ных клубках известного и неизвестного. Расплывчатые теории и соблазнительные, но необоснованные гипотезы некоторых ее учеников встречают отрицание и в выражении ее красивых глаз, и в твердых, как металл, аргументах. С какой уверенностью работаешь у такого учителя, и смелого, и мудрого!

Группа у лестницы мало-помалу редеет. Получившие от Мари указания на текущий день исчезают со своими записными книжками. Мадам Кюри провожает кого-нибудь из них в «физическую» или «химическую» и, наконец, освободившись, идет в свою лабораторию, надевает черный рабочий халат и уходит с головой в собственную работу.

Увы, этот покой длится недолго. Кто-то стучит в дверь. Появляется один из научных работников, держа в руках исписанные листы бумаги. За ним на очереди другой сотрудник... Сегодня понедельник — обычный день заседаний Академии наук, и авторы сообщений, которые должны быть зачитаны сегодня во второй половине дня, приносят их мадам Кюри на просмотр.

Для чтения этих рукописей Мари уходит в очень светлую, небольшую комнату, которую посторонний человек вряд ли без колебаний признает кабинетом известной ученой. Большой дубовый письменный стол, полка для бумаг, книжные шкафы, старенькая пишущая машинка, кожаное кресло, похожее на сотни других таких же кресел, придают комнате приличный вид. На столе мраморная чернильница, стопка брошюр, бокал, откуда щетиною торчат ручки и остро очиненные карандаши, какая-то хорошенькая художественная вещица — подарок студенческого общества... и — о чудо! — восхитительная матово-коричневая маленькая урна из археологических раскопок.

Нередко случается, что руки, подающие мадам Кюри тексты сообщений, дрожат от волнения. Авторы знают, что суд будет суровый! По мнению Мари, изложение их никогда не бывает достаточно четким, достаточно изящным. Она устраняет не только технические погрешности, но переделывает фразы целиком, исправляет синтаксические ошибки. «Ну вот, теперь, я думаю, сойдет», — говорит она, возвращая ни живому, ни мертвому юному ученому его «мазню».

Но когда Мари довольна работой своего ученика, то ее улыбка, слова: «Очень хорошо... Превосходно»,— вознаграждают работника за его труд, и, окрыленный, тот летит в лабораторию профессора Перрена, так как обычно он докладывает Академии сообщения сотрудников Института радия.

* * *

Тот же Жан Перрен говорит всем: «Мадам Кюри не только знаменитый физик, но и лучший руководитель лаборатории из всех мне известных».

В чем же секрет успеха Мари? Прежде всего удивительный, достойный подражания патриотизм по отношению к Институту радия. Она — пламенный служитель и защитник достоинства и интересов этой любимой ею обители.

Она сама терпеливо добывает радиоактивные вещества в количестве, необходимом для проведения исследований в широком масштабе. Дипломатический обмен любезностями мадам Кюри с директорами бельгийского завода радия «Рудное объединение Горной Катанги» заканчивается неизменно одним и тем же: «Рудное объединение» любезно посылает мадам Кюри тонны отработанной руды, а Мари с восторгом сейчас же принимается за извлечение желанных элементов.

Из года в год Мари обогащает свою лабораторию. Вместе с Жаном Перреном она бегает по министерствам, требует субсидий, ассигнований на научные работы. Таким путем она добивается в 1930 году особого кредита в пятьсот тысяч франков.

Временами она чувствует себя утомленной и несколько униженной этими хлопотами и тогда описывает Еве свои ожидания в приемных, свои переживания, а в заключение говорит с улыбкой:

— По-моему, в конце концов нас выставят за дверь, как нищих.

Научные работники лаборатории Кюри под руководством такого надежного кормчего вторгаются в еще не исследованные области учения о радиоактивности.

С 1919 по 1934 год физики и химики Института радия опубликовали четыреста восемьдесят три научные работы, из них тридцать четыре дипломные и диссертации. Из этих четырехсот восьмидесяти трех исследований только тридцать одно падает на долю мадам Кюри.

Здесь необходимо дать пояснения. В последний период своей жизни мадам Кюри думает больше о будущем, может быть чересчур жертвуя собой, и отдает лучшую часть своего времени обязанностям директора, руководителя. Сколько работ она бы выполнила, если бы могла, подобно окружающей ее молодежи, посвящать каждую минуту научной работе?

И кто может сказать, как велика роль Мари в работах, предложенных и руководимых ею день за днем? Мари не задает себе таких вопросов. Она радуется победам, одержанным той коллективной личностью, которую она зовет даже не «моей ла-

бораторией», но тоном затаенной гордости просто «лабораторией». Она произносит это слово так, как будто на земле не существует никакой другой лаборатории.

* * *

Человеческие, гуманные качества этой одинокой ученой помогают ей стать вдохновительницей других. Не очень общительная, мадам Кюри, продолжая и после многих лет ежедневного сотрудничества обращаться к своим коллегам «мадемуазель» или «мосье», умеет внушить к себе глубокую преданность.

Стоит Мари, увлекшись научным спором, задержаться где-нибудь в саду, на скамейке, как встревоженный, нежный голос одной из ассистенток возвращает Мари к действительности: «Мадам, вы простудитесь! Мадам, умоляю вас, идите в помещение!» Если Мари забывает пойти позавтракать, чьи-то руки тихо подкладывают ей ломтик хлеба и фрукты...

И простые служащие лаборатории также испытывают на себе силу ее обаяния, единственного в своем роде. Когда Мари наняла шофера, то институтский «мастер на все руки» Жорж Буато — и чернорабочий, и механик, и шофер, и садовник — плакал горькими слезами от одной мысли, что теперь не он, а кто-то другой будет возить мадам Кюри с улицы Пьера Кюри на набережную Бетюн.

Чувство привязанности к соратникам, малозаметное внешне, помогает Мари выделять в этой большой семье самых больших энтузиастов своего дела, людей с наиболее возвышенной душой. Я редко видела мать такой подавленной, как при известии о неожиданной смерти одного из ее учеников в августе 1933 года:

«Прибыв в Париж, я была крайне огорчена, — пишет она. — *Молодой химик Раймон, которого я так любила, утонул в Ардеше. Его мать пишет мне, что годы, проведенные им в лаборатории, были лучшими годами его жизни. А ради чего, раз это имело такой конец? Сколько в нем было прекрасной юности, прелести, благородства и обаяния — все исчезло из-за какого-то дрянного купания в холодной воде».*

Своим ясным взглядом она видит изъяны и достоинства, неумолимо отмечает недостатки, которые будут всегда мешать научному исследователю стать большим ученым. Больше, чем тщеславных, она боится неудачников. Материальный ущерб, причиненный неловкою рукой при монтаже какой-нибудь установ-

ки, приводит ее в отчаяние. Об одном малоспособном экспериментаторе она сказала своим близким: «Если бы все были такими, как он, мало веселого произошло бы в физике!»

* * *

Если кто-нибудь из сотрудников защищает диссертацию, получает диплом или удостаивается премии, то в честь его устраивается «лабораторный чай». Летом такие собрания организуются в саду, под липами. Зимою мир и тишина в библиотеке, самом большом помещении института, вдруг нарушаются звоном посуды. А какова посуда! Стеклянные химические стаканы служат и чашками для чая, и бокалами для шампанского, шпатели заменяют чайные ложки. Студенты обслуживают и угощают пирожными своих товарищей, руководителей, весь небольшой состав служащих. Среди присутствующих мы видим и Андре Дебьерна, руководителя конференций, и Фернана Гольвека, ответственного за научную работу, и оживленную, разговорчивую Мари, которая защищает руками свой стакан чая от окружающей толчеи.

Но вдруг наступает тишина. Мадам Кюри собирается поздравить сегодняшнего лауреата. Несколькими теплыми фразами она характеризует оригинальность его работы, раскрывает те трудности, какие он преодолел. Гром аплодисментов сопровождает ее заключительные слова: любезный комплимент в адрес родителей героя торжества или же, если это иностранец, в адрес далекого отечества. «Когда вернетесь Вы на Вашу прекрасную, знакомую мне родину, где меня принимали так хорошо, Вы сохраните, я надеюсь, добрые воспоминания об Институте радия. Вы сможете там подтвердить, что работаем мы много, стараемся делать как можно лучше...»

Некоторые из таких «чаепитий» особенно взволновали Мари. На одном из них отмечали защиту докторской диссертации ее дочерью Ирен, а на другом — ее зятем Фредериком Жолио. Мадам Кюри видела, как под ее руководством расцветают дарования этих двух служителей науки. Изучив явления ядерного распада, Ирен и Фредерик Жолио открывают искусственную радиоактивность: определенные вещества, например алюминий, подвергнутые облучению, превращаются в новые, еще не известные в природе радиоактивные изотопы, которые сами становятся источником излучения. Нетрудно угадать последствия этого замечательного открытия для химии, биологии, медицины. Быть может, недалеко то время, когда для целей радиотерапии будут заводским способом получать вещества, имеющие нужные радиоактивные свойства!

На заседании Физического общества, где молодые супруги излагают результаты своих работ, Мари слушает внимательно и гордо, сидя среди публики. Встретив Альбера Лаборда, бывшего когда-то ассистентом Пьера Кюри, она обращается к нему с необычным оживлением: «Здравствуйте! Как они хорошо говорили, не правда ли? Вот мы и вернулись к прекрасным временам старой лаборатории!»

Мари слишком взволнована, возбуждена, чтобы оставаться дольше на этом вечере. Она идет домой пешком, по набережным, в обществе нескольких коллег. И без конца говорит об успехе «своих детей».

* * *

По другую сторону сада, на улице Пьера Кюри, сотрудники профессора Рего, которых Мари зовет «соседями визави», на основе своих исследований разрабатывают терапевтические методы борьбы против рака. С 1919 по 1935 год восемь тысяч триста девятнадцать больных прошли лечение в Институте радия.

Клод Рего тоже патриот своей лаборатории. Он лез из кожи, чтобы получить все необходимое для его дела: радий, аппаратуру, помещения, больницу. Ввиду огромного количества больных и неотложных материальных нужд ему пришлось брать радий в долг: «Рудное объединение» доверило ему десять граммов! Пришлось взывать к правительству о субсидиях и прибегать к частным пожертвованиям. Барон Анри Ротшильд и братья Лазар внесли основной пай. Некий необычайно щедрый и деликатный покровитель науки, прибегший к сложным мерам предосторожности, чтобы скрыть свое имя, подарил Фонду Кюри три миллиона четыреста тысяч франков.

Так был создан самый крупный научный центр Франции по изучению и применению радиотерапии. Он приобрел огромный научный вес: более двухсот врачей с пяти континентов обращаются с просьбой пройти в нем стажировку для изучения нового способа лечения рака.

Мадам Кюри не принимает никакого участия в биологических и медицинских работах института, но внимательно следит за ними. Она в отличных отношениях с профессором Рего, прекрасным товарищем по работе, человеком исключительно честным и бескорыстным. Подобно Мари, он ненавидит славу. Так же как она, всегда отказывается от благодеяний по отношению к себе. Если бы он имел частную практику, он нажил бы большое состояние, но эта мысль даже не приходила ему в голову.

Хотя успехи радиотерапии в руках квалифицированных специалистов восхищали обоих содиректоров института, их мучило одно и то же обстоятельство. Они были свидетелями, бессильными и полными отчаяния, недобросовестного использования радия невежественными врачами, которые вслепую применяли радиоактивные вещества, даже не подозревая об опасности подобного «лечения». Публике предлагались лекарства или косметические средства «на основе радия», иной раз даже с упоминанием имени Кюри.

Но бросим их судить... Скажем просто, что моя мать, семейство Кюри, профессор Рего и Институт радия никогда не имели никакого отношения к подобным авантюрам.

* * *

«Взгляните, нет ли чего важного...» — обращается усталая Мари к милой и интеллигентной секретарше мадам Разэ, указывая на вчерашнюю почту.

Адрес на конвертах часто бывает краток: «Париж, мадам Кюри» или «Франция, мадам Кюри, ученой». Добрая половина корреспонденции содержит просьбы об автографе или нелепые письма.

В ответ посылается карточка, на обратной стороне которой напечатано: «*Не имея желания давать автографы и делать надписи на своих фотографиях, мадам Кюри просит извинить ее*». Что касается людей экзальтированных: всяких непризнанных изобретателей, психически больных, преследуемых навязчивой идеей, обожателей или врагов, которые изводят разноцветные чернила на четырех, а то и на восьми страницах, для них ответ один — молчание.

Кроме таких, есть и другие письма... Добросовестная Мари диктует секретарше ответные письма заграничным коллегам по науке, ответы на отчаянные просьбы людей, воображающих, что она может излечить всякую болезнь, облегчить любое страдание. Остаются еще письма поставщикам аппаратуры, сметы, накладные, ответы на циркуляры высшего начальства: целая уйма административной переписки, которую Мари распределяет по сорока семи папкам. Однако этих сорока семи папок недостаточно для всех связей мадам Кюри с внешним миром. Ее изводят просьбами о личном свидании.

Во вторник и пятницу она с утра надевает лучшее черное платье. «Надо быть в приличном виде. Сегодня мой приемный день», — говорит она мрачно, нахмурив брови.

В вестибюле лаборатории ждут желающие поговорить с Мари, в их числе и журналисты, заранее огорченные заявлением

мадам Разэ: «Мадам Кюри вас примет только в том случае, если вам нужно получить от нее какие-нибудь технические сведения. Интервью по личным вопросам она не дает».

Хотя Мари бывает крайне вежлива, но ничто не располагает собеседника продолжить разговор: ни маленькая суровая приемная, ни жесткие стулья, ни нервный тик в пальцах ученой, ни то, как Мари мрачно поглядывает на стенные часы...

В понедельник и в среду, едва проснувшись, Мари уже волнуется, нервничает. В пять часов у нее лекция. После завтрака она запирается у себя в кабинете на набережной Бетюн. Она готовится к лекции, набрасывает на листе бумаги ее план. В половине пятого идет в лабораторию и снова уединяется в маленькой комнате отдыха. Она волнуется, напряжена и недоступна. Вот уже двадцать пять лет, как Мари преподает. И всегда, каждый раз, как ей предстоит войти в малый амфитеатр, где ее ждут двадцать или тридцать студентов, встающих при ее входе, ее охватывает робость.

Неутомимая, нечеловеческая деятельность! В «свободные минуты» Мари пишет статьи и книги: «Изотопия и изотопы», короткую прочувствованную биографию Пьера Кюри, научную работу — итог своей лекционной деятельности...

* * *

Эти блестящие плодотворные годы были и временем драматических событий: мадам Кюри угрожала слепота.

Еще в 1920 году врач предупредил ее, что в результате катаракты на обоих глазах она мало-помалу очутится в темноте. Мари скрыла от других этот ужасный диагноз. Не падая духом, сказала об этом только дочерям и тут же указала им на возможность излечения: операцию через два-три года... А до этого потускнение хрусталиков создает между нею и окружающим миром постоянный туман.

Мари — Броне, 10 ноября 1920 года:

«Самые большие неприятности причиняют мне глаза и уши. Мое зрение очень ослабло, и этому, вероятно, мало чем поможешь. Что касается слуха, то меня преследует постоянный шум в ушах, иногда очень сильный. Это меня сильно тревожит: моя работа может затормозиться или я просто не смогу ее продолжать. Быть может, радий и помог бы чем-нибудь в моих недомоганиях, но никто этого не знает точно.

Вот мои несчастья. Не говори об этом никому. Главное, берегись, чтобы об этом не пошел слух. А теперь поговорим о другом...»

«Не говори об этом никому»... Это лейтмотив всех разговоров Мари с Ирен и Евой, с братом, сестрами — единственными поверенными в ее тайны. У нее одна навязчивая мысль — не допустить, чтобы по чьей-нибудь нескромности распространилась эта новость, чтобы в какой-нибудь газете появилась заметка: «Мадам Кюри — инвалид».

Врачи Морас и Пти стали ее сообщниками. Больная назвалась вымышленным именем. Это «мадам Карре», пожилая, неизвестная дама, больная двойной катарактой, а не мадам Кюри. Ева заказывает очки для мадам Карре.

Если Мари, блуждая, как в тумане, непроницаемом для ее глаз, собирается перейти улицу или подняться по лестнице, то одна из дочерей берет ее за локоть и незаметным пожатием предупреждает об опасности или препятствии. За столом надо подсовывать ей прибор, солонку, в то время как она шарит по скатерти якобы уверенной рукой.

Но как разыгрывать эту жестокую трагикомедию в лаборатории? Ева посоветовала ей довериться своим непосредственным сотрудникам, чтобы они заменяли ее у измерительных приборов и микроскопов. Мари сухо ответила: «Никто не обязан знать, что у меня испорчены глаза».

Для таких тонких работ мадам Кюри изобрела «технику слепца». Она пользуется сильными лупами, ставит на шкалах приборов цветные, хорошо заметные метки. Выписывает огромными буквами свои заметки для справок при чтении лекций, и ей удается разбирать их даже в плохо освещенной аудитории — амфитеатре.

Чтобы скрыть свою болезнь, она прибегает к бесчисленным уловкам. Например, кто-нибудь из учеников должен показать ей негатив, на котором есть тоненькие нацарапанные черточки-отметки. Мари путем хитрых, очень ловких расспросов добивается от ученика необходимых ей сведений, чтобы мысленно представить себе вид данного снимка. Только тогда она берет в руку стеклянную пластинку и притворяется, что видит эти черточки.

Несмотря на все предосторожности, сотрудники лаборатории подозревают, какая драма происходит. Но лаборатория молчит, делая вид, что ничего не знает, разыгрывая свою роль не хуже, чем Мари.

Мари Кюри — Еве, 13 июля 1923 года:

«Милочка, я предполагаю оперироваться в среду 18-го, утром. Достаточно, если ты приедешь накануне. Ужасная жара, и я боюсь, что ты сильно устанешь.

Нашим друзьям по Ларкуесту скажи, что я не в состоянии одна справиться с корректурой, которую мы читали с тобой, и что ты нужна мне, так как от меня требуют срочно закончить эту работу.

Целую. — Мэ.

P. S. Говори им как можно меньше!»

В клинике страшно жарко, Ева с чайной ложечки кормит неподвижную, ничего не видящую мадам Кюри с забинтованными лицом и головой. Настроение подавленное из-за неожиданных осложнений, из-за кровотечений, длившихся несколько недель и заставлявших терять надежду на выздоровление. Еще две операции в марте 1924 года. Четвертая операция в 1930 году... Едва освободившись от повязок, Мари учится смотреть своими оперированными глазами, лишенными хрусталиков и неспособными к аккомодации.

Несколько месяцев спустя после первой операции она пишет Еве из Кавальере:

«Я привыкаю передвигаться без очков и сделала успехи. Участвовала в двух прогулках по горным тропинкам, каменистым и не очень удобным для ходьбы. Все обошлось благополучно, и я могу ходить быстро, без неприятных эксцессов. Больше всего мешает мне раздвоенность зрения, от этого мне трудно различать встречных людей. Каждый день я упражняюсь в чтении и в письме. Пока это дается труднее, чем ходьба. Конечно, тебе придется помочь мне в составлении статьи для Британской энциклопедии...»

Мало-помалу Мари одерживает победу над злой судьбой. Благодаря сильным очкам она приобретает почти нормальное зрение, выходит из дому одна, сама водит автомобиль, а в лаборатории ей снова удаются тонкие измерения... Последнее чудо чудесной жизни: Мари воскресает из мрака, вновь обретает столько света, сколько нужно, чтобы работать до конца.

Коротенькое письмо мадам Кюри к Броне в сентябре 1927 года открывает тайну этой победы:

«Временами я теряю мужество и говорю себе, что мне надо бросать работу, ехать в деревню и заниматься садоводством. Но множество забот держит меня здесь, и я не знаю, когда смогу поступить таким образом. Не знаю и того, смогу ли жить без лаборатории, даже если буду писать научные книги...»

«Не знаю..., смогу ли жить без лаборатории...»

Чтобы понять это признание, надо видеть Мари у приборов в то время, когда, закончив свои дневные дела, она может наконец отдаться своей страсти. Независимо от важности той или другой операции осунувшееся лицо Мари выражает высшее увлечение работой.

Трудная работа стеклодува, которой Мари владеет артистически, или точно проведенное измерение способны вызвать у нее чувство огромной радости. Одна из сотрудниц Мари — мадемуазель Шамье впоследствии опишет эту будничную мадам Кюри с ее пленительными чертами, не увековеченными ни одной фотографией.

«...Она сидит у аппарата и выполняет измерения в полутемной комнате, нарочно нетопленной, чтобы избежать колебаний температуры. Последовательность действий в данной операции — пуск аппарата, включение хронометра, взвешивание и тому подобное — осуществляются мадам Кюри поразительно точно и гармонично. Ни одному пианисту не исполнить с большей виртуозностью того, что делают руки мадам Кюри. Это совершенная техника, где погрешность сведена практически к нулю.

Если мадам Кюри, быстро закончив контрольные расчеты, убедится, что отклонения меньше допустимой величины и подтверждают точность взвешиваний, лицо ее выражает искреннюю, нескрываемую радость».

Когда мадам Кюри садилась за какую-нибудь научную работу, весь остальной мир переставал существовать. В 1927 году, когда Ирен тяжело болела, что очень беспокоило и угнетало Мари, кто-то из друзей зашел к ней в лабораторию справиться о здоровье дочери. Его встретил леденящий взгляд и лаконичный ответ. Едва он вышел из лаборатории, как Мари в негодовании сказала ассистенту: «Не дают даже спокойно поработать!»

Та же мадемуазель Шамье описывает мадам Кюри, всецело занятую очень важным опытом: получением актиния X для исследования спектра альфа-частиц — последней работы Мари:

«Требуется получить чистый актиний X в таком химическом состоянии, чтобы он не давал эманации. Для выполнения этой операции требовалось более суток. Мадам Кюри, не обедая, остается в лаборатории и по вечерам. Но выделение элемента идет медленно: значит, придется работать ночью, чтобы получаемый источник радиоактивности не успел потерять часть своей силы.

Два часа ночи. Остается произвести последнюю операцию: в течение часа центрифугировать жидкость на специальной установке. Вращение центрифуги создает утомительный шум, но Мари сидит рядом с ней и не желает уходить из помещения. Она смотрит на аппарат так, как будто одним страстным желанием получить удачный результат можно ускорить осаждение актиния X. Для Мари в этот момент не существует ничего, кроме центрифуги: ни ее завтрашний день, ни ее усталость. Это полное отрешение, сосредоточение всех мыслей на выполняемой работе».

Если опыт не дает ожидаемого результата, у Мари вид человека, сраженного неожиданным несчастьем. Она сидит на стуле, скрестив руки, сгорбившись, с пустым взглядом, и в это время похожа на старую, очень старую крестьянку, молчаливую, убитую горестной утратой. Сотрудники, глядя на нее, думают, что произошел какой-нибудь несчастный случай, какая-то трагедия, спрашивают, в чем дело. Мари мрачно дает исчерпывающее объяснение: «Не удалось осадить актиний X...», — а то и прямо обвинит врага: «На меня сердит полоний!»

Но при каждом успехе она становится оживленной, веселой. Счастливая, она мирится с Наукой, готова смеяться и приходить в восхищение.

Если кто-нибудь из коллег, воспользовавшись ее хорошим настроением, попросит продемонстрировать какой-нибудь опыт, она с готовностью подведет его к счетчику частиц и сама будет восхищаться свечением минерала виллемита под действием излучения радия.

При этом серые глаза ее блестят от удовольствия. Можно подумать, что Мари созерцает произведения Боттичелли или Вермеера.

— Ах, как красиво!.. — шепчет Мари.

КОНЕЦ МИССИИ

Мадам Кюри нередко заговаривает о смерти. Внешне спокойно обсуждает это непреложное событие и представляет себе реальные его последствия. Не смущаясь, говорит: «Ясно, что долго я не проживу»,— или: Меня беспокоит судьба Института радия после того, как меня уже не будет на свете».

Но на самом деле в ней не было ни истинной безмятежности, ни примирения. Всем своим существом она гонит мысль о конце. Те, кто ею восхищается издали, воображают прожитую ею жизнь бесподобной. С точки же зрения Мари, прожитая ею жизнь — пустяк по сравнению с планами на будущее.

Тридцать лет тому назад Пьер Кюри, предвидя смерть, ускоренную несчастным случаем, с трагическим пылом уходит весь в научную работу. Мари, в свой черед, принимает вызов смерти. Для защиты от ее наступления Мари лихорадочно воздвигает вокруг себя укрепления из проектов и необходимости выполнения долга. Не обращает внимания на возрастающую с каждым днем слабость, на угнетающе действующие постоянные недомогания: плохое зрение, ревматизм в одном плече, раздражающий шум в ушах.

Разве в этом дело? Есть вещи поважнее. Мари только что построила в Аркейе завод для переработки радиоактивных минералов. Она с увлечением проводит в нем первые опыты. Она занята работой над своей книгой — научным памятником, какого после ее смерти не сможет создать никто. А вот исследования по семейству актинидов идут недостаточно успешно! А не надо ли ей заняться изучением «тончайшей структуры» альфа-частиц? Мари встает рано, бежит в лабораторию, возвращается домой вечером, после обеда...

Она работает с большой поспешностью и с присущей ей неосторожностью. В отношении самой себя она не соблюдает элементарных мер предосторожности, выполнения которых строго требует от своих учеников: трогать пробирки с радиоактивными веществами только пинцетом, ни в коем случае не прикасаться к ним, пользоваться свинцовыми щитами во избежание последствий облучения. Она, конечно, позволяет исследовать кровь и у себя, так как это общее правило в Институте радия. Формульный состав ее крови отклоняется от нормы. Не удивительно! Уже тридцать лет Мари Кюри имеет дело с радием, вдыхает его эманацию. На протяжении четырех военных лет она, кроме того, подвергалась опасным излучениям рентгеновских аппаратов. Небольшое изменение состава крови, не-

приятная болезненность в кистях рук, обожженных радием, то сохнувших, то мокнущих, в конце концов уже не такое жестокое наказание за столь рискованные действия!

В декабре 1933 года приступ острой боли заставляет Мари обратиться к врачу. Рентгеновский снимок обнаруживает довольно крупный желчный камень. Та же болезнь, что унесла и старика Склодовского! Мари боится операции и во избежание ее устанавливает для себя определенный режим и вылечивается.

Уже давно она не обращает внимания на внешние удобства жизни и все откладывает осуществление своих заветных планов — постройку дачи в Со и перемену зимней квартиры в Париже, а теперь вдруг развивает бурную деятельность. Просматривает сметы и, не колеблясь, идет на крупные расходы. Решено летом выстроить дачу в Со. А в октябре Мари уедет с набережной Бетюн и займет квартиру в новом современном доме, построенном в Университетском городке.

Она чувствует слабость, но старается убедить себя, что здоровье ее неплохое. Ездит в Версаль кататься на коньках, отправляется к Ирен в Савойю, чтобы походить вместе с ней на лыжах. Радуется, что ее тело еще сохранило гибкость и подвижность. На пасху она, пользуясь приездом Брони, совершает путешествие на юг в автомобиле.

Эта затея имела гибельные последствия. Мари захотелось ехать не прямо, а с заездами в стороны, чтобы показать Броне красивые места. Когда, наконец, она добралась до своей виллы в Кавальере, то вся измучилась и продрогла. В вилле было холодно, и наспех затопленные калориферы прогрели дом нескоро. Мари, дрожа от озноба, сразу впадает в отчаяние. Она рыдает в объятиях Брони, как больной ребенок. Ее одолевает страх, что из-за какого-нибудь бронхита у нее не хватит сил закончить свою книгу. Броня ухаживает за сестрой и успокаивает ее. На следующий день Мари преодолела упадок духа, и он больше не возобновлялся.

Несколько солнечных дней ободрили и успокоили ее. При возвращении в Париж она чувствует себя уже гораздо лучше. Врач находит, что у нее грипп и (как все врачи за последние сорок лет) что она переутомлена. Небольшую температуру, держащуюся все это время, Мари считает пустяком. Броня уезжает в Варшаву со смутным чувством тревоги. Перед отходом варшавского поезда на платформе, где они так часто прогуливались раньше, сестры целуются в последний раз.

Состояние здоровья Мари колеблется — то лучше, то хуже. В дни, когда она чувствует себя крепче, она ходит в лабораторию. В дни подавленного состояния, слабости сидит дома и

пишет книгу. Несколько часов в неделю посвящает новой квартире и вилле в Со.

8 мая 1934 года она пишет Броне:

«Я чувствую все возрастающую потребность иметь собственный дом с садом и горячо желаю, чтобы мне это удалось. Затраты на постройку можно свести к доступной мне сумме, и я смогу начать закладку фундамента».

Но коварный враг действует быстро. Лихорадочное состояние и озноб усиливаются. Еве приходится терпеливо пускать в ход дипломатию, чтобы мать согласилась принять доктора. Под предлогом, что люди этой профессии надоедливы, что им она не может платить (ни один врач не брал гонорара от мадам Кюри), Мари все время отказывалась от постоянного врача. Эта ученая, этот друг прогресса, отказывается от лечения как простая крестьянка.

Профессор Рего сам заходит к Мари с дружеским визитом. Он предлагает посоветоваться со своим другом — доктором Раво, а тот рекомендует пригласить профессора Булена, главного врача городских больниц. Последний же, только взглянув на бескровное лицо Мари, сразу говорит: «Лежать в постели. Вам нужен отдых!»

Сколько раз мадам Кюри слышала такие восклицания! И не обращала на них внимания. Она продолжает переутомляться, бегая по лестницам с этажа на этаж на набережной Бетюн, почти каждый день работает в Институте радия. В солнечный майский день 1934 года после полудня она остается в «физической» до половины четвертого, усталыми руками касается пробирок, приборов — своих неизменных спутников. Обменивается несколькими фразами с сотрудниками: «У меня жар, — говорит она слабым голосом, — поеду домой». Еще раз обходит сад, где яркими пятнами выделяются вновь распустившиеся цветы. Вдруг она останавливается перед чахлым кустом роз и зовет механика:

— Жорж, взгляните на этот куст: необходимо заняться им теперь же!

К ней подходит один из учеников, умоляет ехать домой на набережную Бетюн. Она слушается, но, перед тем как сесть в автомобиль, еще раз оборачивается и говорит:

— Так не забудьте, Жорж, о кусте роз...

Ее тревожный взгляд, брошенный на хилое растение, был и последним прости лаборатории.

* * *

Она уже не встает с постели. Малоэффективная борьба с неведомой болезнью, называемой то гриппом, то бронхитом, ведет к утомительным способам лечения. Мари подчиняется им с неожиданной, пугающей кротостью, позволяет перевезти себя в клинику для полного обследования. Два рентгеновских снимка, пять или шесть анализов ставят в тупик специалистов, приглашенных к больной. По-видимому, ни один из органов не затронут, никаких характерных симптомов определенной болезни. Но поскольку давнишние рубцы и небольшой воспалительный процесс дали затемнения на снимках легких, доктора предписывают Мари компрессы и банки. Когда же она, нисколько не поправившись, возвращается на набережную Бетюн, окружающие начинают осторожно поговаривать о санатории.

Ева робко намекает, что поездка необходима. Мари неожиданно соглашается. Она надеется на чистый воздух, думает, что ее выздоровлению мешают городской шум и пыль. Строятся планы. Ева поедет с матерью и проживет с ней в санатории несколько недель, затем приедут из Польши ее сестра и брат, чтобы не оставлять ее одну, на август приедет Ирен. А к осени Мари поправится.

В комнате больной сидят Ирен и Фредерик Жолио, говорят с мадам Кюри о работах в лаборатории, о доме в Со, о правке гранок ее книги, которую она недавно кончила писать. Один из молодых сотрудников профессора Рего, Ежи Грикуров, который заходит почти каждый день справляться о здоровье Мари, расхваливает ей всю прелесть и пользу санатория. Ева занимается устройством новой квартиры, выбирает цвет обоев, занавесок и обивки.

Несколько раз Мари с легким смешком говорит, посматривая на дочь:

— Может быть, мы делаем много шума из ничего?

Но у Евы для таких случаев заготовлены возражения и шутки, и ради успокоения Мари она изо всех сил тормошит подрядчиков. Вместе с тем она надеется умилостивить судьбу: хотя врачи и не смотрят на дело пессимистически, да и в доме никто не выказывает тревоги, Ева без всяких на то оснований уверена в худшем.

В солнечные ясные весенние дни Ева сидит часами у постели обреченной на бездействие матери. И перед Евой обнажаются цельная душа Мари, ее чуткое и благородное сердце, ее безграничная нежность, почти невыносимая в такой момент. Она становится прежней «милой Мэ». А главное, остается все

той же юной девушкой, которая сорок шесть лет тому назад писала по-польски в письме:

«Люди, так живо чувствующие, как я, и не способные изменить это свойство своей натуры, должны скрывать его как можно больше».

В этом — разгадка ее стыдливой, чрезмерно чувствительной, скрытной, легко ранимой души. Всю свою жизнь Мари подавляла в себе желания признаться в слабости и, может быть, позвать на помощь, готовые сорваться с ее уст.

Даже теперь она не изливает душу, не жалуется или, может быть, чуть-чуть, едва заметно. Говорит только о будущем... О будущем лаборатории, института в Варшаве, о будущем своих детей: она знает, что через несколько месяцев Ирен и Фредерик Жолио получат Нобелевскую премию. Мечтает о своей жизни в новой квартире (чего ей не дождаться) или в своем доме в Со (который так и не будет никогда построен).

Мари слабеет. Прежде чем перевозить мать в санаторий, Ева просит четырех корифеев медицинского факультета собраться на консилиум: лучших, самых знаменитых врачей во Франции. Я не называю их имен, чтобы это не казалось их осуждением или черной неблагодарностью с моей стороны. Они полчаса обследовали женщину, страдающую непонятным недугом, колеблясь определили его как возобновление туберкулезного процесса и посчитали, что пребывание в горах победит болезнь. Они ошиблись.

Трагически спешные приготовления к отъезду. Чтобы беречь силы Мари, к ней пускают только самых близких. Но она сама нарушает предписание, велит провести тайком к себе в комнату свою сотрудницу мадам Котель и отдает ей несколько распоряжений: «Актиний надо поместить в защитный контейнер и хранить его до моего возвращения... Мы с вами вновь займемся этой работой после моего отдыха».

Несмотря на сильное ухудшение состояния здоровья, врачи советуют ехать немедленно. Путешествие мучительное, несказанно трудное. Доехав до Сен-Жервэ, Мари теряет сознание и поникает на руках Евы и сестры милосердия. Когда же, наконец, ее помещают в лучшую палату санатория в Санселльмозе, снова делают рентгеновский снимок и анализы, обнаруживается — дело не в легких, и переезд был бесполезен.

У Мари жар, температура выше сорока градусов. И этого от нее нельзя скрыть, так как Мари сама с добросовестностью ученого проверяет высоту столбика ртути. Она почти не говорит об этом обстоятельстве, но в ее поблекших глазах отража-

ется страх. Спешно вызванный из Женевы профессор Рох сравнивает результаты анализа крови за последние дни и обнаруживает быстрое падение числа белых и красных кровяных шариков. Он ставит диагноз злокачественной острой анемии. Поддерживает Мари в ее навязчивой мысли о желчных камнях. Уверяет ее, что никакой операции не будет, и назначает энергичное, но безнадежное лечение. А жизнь уходит из утомленного организма.

Начинается тяжкая борьба, когда тело не хочет погибать и сопротивляется с неистовым ожесточением. Ухаживая за матерью, Ева ведет борьбу иного рода: в еще ясном сознании мадам Кюри нет мысли о смерти. И это чудо надо сохранить. В особенности надо уменьшить физическую боль, подкрепить и тело, и душу. Ни тягостных способов лечения, ни запоздалого переливания крови, уже бесполезного и пугающего. Никаких нежданных сборищ у постели умирающей, так как Мари, увидав собравшихся родных, была бы убита внезапным сознанием ужасного конца.

Я буду всегда хранить в памяти имена тех, кто помогал моей матери в эти трагические дни. Доктор Тобе, директор санатория, и доктор Пьер Ловис отдавали Мари не только свои знания. Вся жизнь санатория как будто остановилась, застыла от душераздирающей вести: умирает мадам Кюри.

Весь санаторий полон сочувствия, готовности помочь. Оба врача сменяют друг друга в палате больной. Они подбадривают Мари и облегчают ее состояние. Заботятся о Еве, помогают бороться, лгать и, хотя она их об этом не просила, обещают ей облегчить последние страдания Мари снотворным.

Утром 3 июля мадам Кюри в последний раз сама измеряет температуру, держа термометр в дрожащей руке, и удостоверяется в резком падении температуры, как это всегда бывает перед кончиной. Она радостно улыбается, когда Ева уверяет ее, что это признак выздоровления, что теперь она поправится. Глядя в открытое окно и повернувшись лицом к солнцу, с выражением надежды и страстной жажды жизни, Мари говорит: «Мне принесли пользу не лекарства, а чистый воздух, высота...»

Во время агонии она тихо стонет от боли и с удивлением жалуется в полубреду: «Я не могу ничего выразить словами... Я отсутствую...» Она не произносит ни одного имени известных ей людей. Не зовет ни старшей дочери, прибывшей накануне с мужем в Сanселлмозе, ни Евы, никого из близких. Крупные и мелкие заботы о своей работе случайно всплывают в ее удивительном мозгу и проявляются в бессвязных фразах: «Параграфы глав надо сделать совершенно одинаковыми... Я думала об этом издании...»

Она очень пристально вглядывается в чашку с чаем, и, пытаясь мешать его ложкой, впрочем не ложкой, а как бы шпателем, спрашивает:

— Это приготовлено из радия или мезотория?

Мари отошла от людей. И навсегда присоединилась к тем любимым вещам, которым посвятила свою жизнь.

Теперь речь ее несвязна, и вдруг, когда врач собирался сделать ей укол, у нее вырывается слабый вскрик протеста:

— Не хочу. Оставьте меня в покое!

* * *

В последние часы ее жизни обнаружилась вся сила, вся огромная сопротивляемость только с виду хрупкого организма, вся крепость сердца, скрытого в уже холодеющем теле и продолжающего биться неутомимо, непрестанно. Еще шестнадцать часов доктор Пьер Ловис и Ева держат застывшие руки этой женщины — ни живой, ни мертвой. На утренней заре, когда солнце окрасило в багрянец горы и стало подниматься на изумительно чистом небе, когда яркий свет величественного утра залил комнату, постель, худые щеки и стеклянные, ничего не выражающие пепельно-серые глаза, сердце, наконец, перестало биться.

Науке еще предстояло сказать свое слово о теле усопшей. Ненормальные симптомы, анализы крови, свидетельствующие о заболевании, отличном от известных науке злокачественных анемий, указали истинного виновника: радий. Позже профессор Рего писал:

«Мадам Кюри может считаться одной из жертв длительного общения с радиоактивными веществами, которые открыли ее муж и она сама».

В Санселльмозе доктор Тобе сделал официальную запись:

«Мадам Мари Кюри скончалась в Санселльмозе 4 июля 1934 года. Болезнь — острая злокачественная анемия. Костный мозг не дал реакции, возможно, вследствие перерождения от длительной аккумуляции радиоактивных излучений».

Событие выходит за пределы затихшего санатория, расходится по всему миру и то здесь, то там вызывает острую боль: в Варшаве — у Эли; в Берлине, в поезде, мчащемся во Францию, — у Юзефа Склодовского и Брони — той Брони, которая

напрасно стремилась попасть вовремя и в последний раз увидеть милое лицо; в Монпелье — у Жака Кюри; в Нью-Йорке — у миссис Мелони; в Париже — у преданных друзей.

У бездействующих приборов Института радия рыдают молодые ученые. Один из любимых учеников Мари, Жорж Фурнье, потом напишет: «Мы потеряли все».

Отрешенная от боли, волнений, почитаний, Мари Кюри покоится на кровати в Санселльмозе, в том доме, где люди, ей подобные, люди науки и преданности своему долгу, ухаживали за ней до самого конца. Никого постороннего не допускали потревожить ее покой, хотя бы только взглядом. Никто из любопытных не будет знать, какой сверхъестественно красивой она покидала мир. Вся в белом, седые волосы над открытым огромным лбом, лицо умиротворенное, строгое и мужественное, как у рыцаря, — она представляла собой самое прекрасное, самое благородное из всего существующего на Земле.

Ее шершавые, жесткие, глубоко прожженные радием руки уже не страдают обычным тиком. Они вытянуты вдоль покрывала, окостенели и до ужаса недвижимы. Ее так много работавшие руки...

В пятницу 6 июля 1934 года, в полдень, мадам Кюри переселяется в жилище мертвых — скромно, без пышных проводов, без надгробных речей политических и государственных деятелей. Ее погребли в Со в присутствии родных, друзей и любивших ее сотрудников. Гроб Мари поставили на гроб Пьера Кюри. Броня и Юзеф бросили в могилу горсть польской земли. На могильном памятнике прибавилась надпись: «Мари Кюри-Склодовска. 1867—1934».

Через год книга, которую Мари закончила перед смертью, явилась последним ее посланием «влюбленным в физику».

В Институте радия, продолжавшем свою работу, этот огромный том присоединился в светлой библиотеке к другим творениям науки. На сером переплете имя автора: «Мадам Кюри, профессор Сорбоннского университета. Лауреат Нобелевской премии по физике. Лауреат Нобелевской премии по химии».

А название — одно строгое лучезарное слово:

РАДИОАКТИВНОСТЬ.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРИИ КЮРИ

1867 г., 7 ноября. — В Варшаве в семье учителя Владислава Склодовского родился пятый ребенок — дочь Мария.

1883 г., июнь. — В Варшаве Мария Склодовская оканчивает гимназию с золотой медалью.

1884 г. — После годового отдыха шестнадцатилетняя Мария Склодовская начинает давать уроки. Активное участие в деятельности «Вольного университета».

1885—1891 гг. — Для оказания помощи уехавшей в Париж сестре Броне Мария Склодовская служит гувернанткой в зажиточных буржуазных семействах. Она усиленно занимается самообразованием, обучает грамоте деревенских ребятишек. Вернувшись в Варшаву, Мария начинает самостоятельные занятия в лаборатории Музея промышленности и сельского хозяйства. Отъезд в Париж.

1891—1894 гг. — Мария Склодовская становится студенткой Сорбонны. Напряженные занятия на факультете естествознания. Мария, проявив выдающиеся способности и огромное трудолюбие, получает два диплома лиценциата — по физике и математике.

1895 г., 26 июля — Бракосочетание Пьера Кюри и Марии Склодовской. Мария начинает работать в лаборатории Пьера Кюри в Институте физики и химии.

1897 г., 12 сентября. — Мария Кюри родила первую дочь — будущего лауреата Нобелевской премии

Ирен Жолио-Кюри. Мария Кюри начинает изучать открытое в 1896 г. А. Беккерелем явление радиоактивности. Она устанавливает, что излучение соединений урана — свойство атомов урана.

1898 г. — Мария Кюри замечает, что радиоактивность некоторых минералов, содержащих уран и торий, во много раз сильнее, чем следовало ожидать. Она делает предположение, что эти минералы содержат новый радиоактивный элемент. Напряженная совместная работа супругов Кюри привела к блестящему результату: они открыли полоний (июль), а затем радий (декабрь).

1899—1900 гг. — Пьер и Мария Кюри продолжают исследования радиоактивности. Они устанавливают, что лучи, испускаемые радием, принадлежат к трем видам — открывают α-, β- и γ-излучение. Отклонение предложения Женевского университета. Пьер начинает преподавать в Сорбонне, а Мария — в Севре.

1900—1906 гг. — Работа по выделению чистых солей радия. Открытие физиологического воздействия радия на организм. Начало промышленного производства радия. Мария Кюри публикует ряд научных трудов по радиоактивности. Радий делается предметом исследования крупнейших ученых мира. Присуждение Пьеру и Марии Кюри и Анри Беккерелю Нобелевской премии по физике (1903 г.). Присуждение супругам Кюри медали Дэви Лондонским Королевским обществом.

1906 г., 19 апреля. — Трагическая гибель Пьера Кюри. Национальный траур по великому французскому ученому.

1906 г., 13 мая. — Мария Кюри назначается профессором факультета естествознания Сорбонны — впервые в истории французской высшей школы женщина получает профессорскую кафедру.

1906—1914 гг.	— Мария Кюри продолжает исследования, прерванные смертью Пьера, преподает в Сорбонне и Севре. Она создает и читает первый и единственный в мире курс лекций по радиоактивности. Редактирует и выпускает в свет «Труды Пьера Кюри». Присуждение Марии Кюри Нобелевской премии по химии (1911 г.). Кампания клеветы против М. Кюри. Тяжелое заболевание. Строительство Института радия.
1914—1918 гг.	— Война. Мария Кюри создает двести двадцать передвижных и стационарных рентгеновских установок. Применение эманации радия в медицинских целях.
1919—1934 гг.	— Мария Кюри продолжает свои исследования в Институте радия. Триумфальные поездки за границу. Общественная деятельность. Создание Института радия в Варшаве. Успехи в науке дочери Марии Кюри — Ирен и зятя Фредерика Жолио. Избрание Марии Кюри почетным членом Академии наук СССР (1926 г.). Тяжелая болезнь ученой.
1934 г., 4 июля.	— Кончина Марии Кюри.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Бикар П. Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия. Госатомиздат, 1962.

Кедров Ф. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Изд. 2-е. М., Атомиздат, 1975.

Коттон Э. Семья Кюри и радиоактивность. М., Атомиздат, 1964.

Кюри М. Исследование радиоактивных веществ (радий, полоний, актиний, уран, торий и др.). М., 1905.

Кюри М. Радиоактивность. М.—Л., 1947.

Пьер и Мария Кюри. Серия «Жизнь замечательных людей», вып. 5. М., «Молодая гвардия», 1959.

Кюри П. Речь при получении Нобелевской премии. Труды Ин-та истории естествознания и техники. Т. 19. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Несмеянов А. Н. Памяти Пьера Кюри. Там же.

Старосельская-Никитина О. А. Жизнь и творчество Пьера Кюри. Там же.

Шаскольская М. П. Жолио Кюри. Серия «Жизнь замечательных людей», вып. 1. М., «Молодая гвардия», 1966.

Шпольский Э. В. Жизнь и деятельность Пьера Кюри (1859—1906). — «Успехи физ. наук», 1956, т. 58, вып. 4.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЛИЦАХ, УПОМЯНУТЫХ В КНИГЕ

Амага Э. (1851—1915) — французский физик, академик с 1902 г.

Аппель П. (1855—1930) — французский математик, президент Академии наук с 1914 г.

Аснык А. (1838—1897) — польский поэт и драматург.

Беккерель А. (1852—1908) — французский физик, лауреат Нобелевской премии за работы по радиоактивности.

Бер П. (1833—1886) — французский физиолог и политический деятель.

Бергсон А. (1859—1941) — французский философ-идеалист, академик с 1914 г., лауреат Нобелевской премии 1927 г.

Бернар К. (1813—1878) — французский физиолог.

Бертло М. (1827—1907) — французский химик.

Блан Л. (1811—1882) — французский утопический социалист, историк, журналист, деятель Революции 1848 г.

Больцман Л. (1844—1906) — австрийский физик.

Борель Э. (1871—1956) — французский математик, академик с 1921 г.

Брандес Г. (1842—1927) — датский критик и публицист.

Бранли Э. (1846—1940) — французский физик (электромагнитные волны), академик с 1911 г.

Бушар Ш. (1837—1915) — французский медик, академик с 1873 г.

Валери П. (1871—1945) — французский писатель,

Войцеховский С. (1869—1953) — государственный и политический деятель буржуазно-помещичьей Польши. В 1919—20 гг. министр внутренних дел, в 1922—26 гг. президент Польши.

Гейне Г. (1797—1856) — немецкий поэт, публицист, критик.

Дарбу Ж. (1842—1917) — французский математик, академик с 1884 г.

Дарвин Ч. (1809—1882) — английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путем естественного отбора.

Дебьерн А. (р. 1874) — французский химик, сотрудник Кюри, открывший актиний.

Дестре Ж. (1863—1936) — бельгийский писатель и политический деятель.

Дьюар Дж. (1842—1923) — английский химик и физик.

Дрейфуса дело — Дрейфус (1859—1935) — осужден несправедливо за якобы шпионскую деятельность в 1894 г. французским судом. В 1906 г. оправдан. Его дело вызвало волну антисемитизма во Франции. В защиту его поднялись все прогрессивные люди.

Жерне Д. (1834—1910) — французский физик-механик, академик с 1906 г.

Зюсс Э. (1831—1914) — австрийский геолог и палеонтолог.

Кельвин У. (1824—1907) — английский физик, работавший в области учения об электричестве и магнетизме.

Киплинг Р. (1865—1936) — английский поэт и прозаик.

Конт О. (1798—1857) — французский философ.

Коппе Ф. (1842—1908) — французский писатель.

Красиньский З. (1812—1859) — польский поэт.

Крукс У. (1832—1919) — английский физик и химик.

Лавуазье А. (1743—1794) — французский химик, академик с 1772 г. Сторонник конституционной монархии. В 1794 г. казнен по приговору революционного трибунала.

Ланжевен П. (1872—1946) — французский физик.

Ланкестер Э. Р. (1847—1929) — английский зоолог и эмбриолог.

Лапик Л. (1866—1952) — французский физиолог, академик с 1930 г.

Лафонтен Ж. (1621—1695) — французский баснописец.

Липпманн Г. (1845—1921) — французский физик-оптик, академик с 1886 г., лауреат Нобелевской премии 1908 г.

Лодж О. (1851—1940) — английский физик.

Маскар Э. (1837—1908) — французский физик и метеоролог, академик с 1884 г.

Монтэнь М. (1533—1592) — французский философ и писатель.

Мюссе А. (1810—1857) — французский поэт.

Оже В. (род. 1899) — французский физик.

Ожешко Э. (1841—1910) — польская писательница.

Пастер Л. (1822—1895) — французский химик и биолог.

Пенлеве П. (1863—1933) — французский математик, государственный и политический деятель, академик с 1900 г.

Перрен Ж. (1870—1942) — французский физик, академик с 1923 г., лауреат Нобелевской премии 1926 г.

Пикар Э. (1856—1941) — французский математик, академик с 1889 г.

Прус Б. — псевдоним польского писателя Г. Главацкого (1847—1912).

Пуанкаре А. (1854—1912) — французский математик.

Пуанкаре Л. (1862—1920) — французский физик.

Рамзай У. (1852—1916) — английский химик, лауреат Нобелевской премии 1904 г.

Резерфорд Э. (1871—1937) — великий английский ученый, лауреат Нобелевской премии 1908 г.

Ренан Э. (1823—1892) — французский писатель, историк и филолог-востоковед. академик с 1878 г.

Рентген В. (1845—1923) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1901 г.

Роден О. (1840—1917) — французский скульптор.

Ру Э. (1853—1933) — французский медик-микробиолог.

Словацкий Ю. (1809—1849) — польский поэт и драматург.

Сеньобос Ш. (1854—1942) — французский историк.

Спенсер Г. (1820—1903) — английский философ и социолог.

Сюлли-Прюдом — псевдоним французского поэта и критика, академика с 1881 г. Рене Франсуа Армана Прюдома (1839—1907).

Томсон Дж. Дж. (1856—1940) — английский физик, лауреат Нобелевской премии 1906 г.

Урбен Ж. (1872—1938) — французский химик, академик с 1921 г.

Фридель Ш. (1832—1899) — французский химик и минералог, академик с 1878 г.

Эдисон Т. (1847—1931) — американский изобретатель.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Кюри Ева

МАРИЯ КЮРИ

Редактор Р. А. Зеленко
Художественный редактор А. Т. Кирьянов
Технический редактор Н. А. Власова. Корректор
М. В. Кудрявцева

Сдано в набор 4.V.1976 г. Подписано к печати 20.VIII.1976 г.
Формат 70Х100/32. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л.
13,22+0,5 вкл. Уч.-изд. л. 19,2+0,56 вкл. Тираж 200 000 экз.
(1 завод 1—100 000). Цена 94 коп. Зак. изд. 76060.
Зак. тип. 442.

Атомиздат, 103031. Москва, К-31, ул. Жданова, 5.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Цена 94 коп.

Атомиздат